



О-Г-И-ПРОЗА

О-Г-И-ПРОЗА

Фридрих Горенштейн Шампанское с желчью

**Фридрих Горенштейн
Шампанское с желчью**

МОСКВА | ОГИ

МОСКВА | ОГИ

фридрих горенштейн

шампанское с желчью

Фридрих Горенштейн

**ШАМПАНСКОЕ
С ЖЕЛЧЬЮ**

МОСКВА 2004

О·Г·И

УДК 821.161/1
ББК 84(2Рос=Рус)6
Г63

Идея серии: Д. Ицкович
Художественное оформление: А. Ирбит
В оформлении обложки использован фрагмент
работы В. Цеслера и С. Войченко «Девушка с гепардом»

Горенштейн Ф.Н.

Г63 Шампанское с желчью: Роман; повести и рассказы /
Ф.Н. Горенштейн. — М.: ОГИ, 2004. — 304 с.

ISBN 5-94282-137-2

Фридрих Горенштейн (1932—2002) — русский писатель и сценарист, автор романов «Искушение», «Псалом», «Место», множества повестей и рассказов; по его сценариям поставлено пять фильмов, в том числе таких, как «Раба любви» и «Комедия ошибок».

В сборник «Шампанское с желчью» вошли затерянные в периодике рассказы и повести писателя, а также пронзительный и светлый роман о любви «Чок-Чок».

УДК 821.161/1
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 5-94282-137-2

© Ф.Н. Горенштейн, наследники, 2004
© В. Цеслер, С. Войченко, работа на
обложке, 2004
© ОГИ, 2004

ЧОК-ЧОК

Философско-эротический роман

* * *

Играй, прелестное дитя,
Летай за бабочкой летучей,
Поймай, поймай ее шутя
Над розой колючей,
Потом на волю отпусти.
Но не советую тебе
Играть с уснувшим змием —
Завидуя его судьбе
Готовы
Искусным пойманный перстом.

* * *

Как широко,
Как глубоко!
Нет, Бога ради,

.....

А. С. Пушкин. Отрывки

* * *

Увы! напрасно деве гордой
Я предлагал свою любовь!
Ни наша жизнь, ни наша кровь
Ее души не тронет твердой.
Слезами только буду сыт,
Хоть сердце мне печаль расколет.

.....

.....

А. С. Пушкин. Анне Н. Вульф

«По свидетельству А. П. Керн, эти стихи были написаны для альбома А. Вульф, причем Пушкин „два последних стиха означил точками“. Однако в устной передаче Керн сохранились и последние, нескромные стихи».

(Примечание издательства «Наука». Ленинград, 1977)

.....

Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.

*А. С. Пушкин. К*** (А. П. Керн)*

Девятилетний Сережа Суковатых, сын известного в городе гинеколога Ивана Владимировича Суковатых, был приглашен на день рождения к восьмилетней Бэлочке Любарт.

Бэлочкин день рождения почти совпадал с новогодним праздником, она родилась тридцатого декабря, и, когда Мери Яковлевна, Бэлочкина мама, включила электричество, то радостно, сказочно засверкали игрушки на елке и большое хрустальное блюдо с горячим яблочным пирогом. Мери Яковлевна, со сверкающими камушками в ушах, уселась за фортепиано, положила на клавиши белые, полные пальцы и, сверкая зеленым камнем на одном из пальцев, заиграла и запела приятно и душевно песенку собственного сочинения:

В семье родилась Бэлочка,
 В семье она росла,
 Зимой и летом стройная,
 Красивая была.
 Тра-ля-ля. Тра-ля-ля.
 Тра-ля-ля-ля-ля.

В этот момент в комнату из коридора снежной королевой вошла Бэлочка в сверкающем, усыпанном блестками, как снежинками, коротеньком белом платьице и в таких же сверкающих белых башмачках. На голове у Бэлочки была белая сверкающая корона, а в руках плетеная корзинка, обтянутая куском усыпанного блестками белого шелка.

Мери Яковлевна запела:

Теперь она нарядная
 На праздник к нам пришла
 И много, много сладостей
 Детишкам принесла.
 Тра-ля-ля. Тра-ля-ля.
 Тра-ля-ля-ля-ля.

Бэлочка тотчас принялась вынимать из корзинки пакетики с подарками — конфетами, коржиками, изюмом и орешками. Каждый, кто получал подарок, должен был платить: танцевать, петь или читать стихи. Пока очередь не дошла до Сережи, он напряженно, мучительно перебирал, обдумывал, что бы такое сделать, чтоб выделиться, отличиться и привлечь внимание Бэлочки, которую любил, едва увидав и пожав ее мягкую влажную липкую ладошку.

Бэлочка была полненькая, с толстенькими ляжечками и даже маленький двойной подбородочек у нее уже намечался, подбородочек сладкоежки. Она была похожа на мать: имела такие же густые, темные волосы и ярко-голубые глаза, большие и выпуклые. Только темные волосы Бэлочки, по-детски свободно спадающие, повязаны были красной шелковой ленточкой, а Мери Яковлевна поднимала тяжелую волну своих волос кверху и укрепляла их серебряной заколкой, украшенной красными гранатовыми камнями.

Мери Яковлевна, доцент кафедры дошкольного воспитания местного пединститута, была женщина еще молодая, красивая, белолицая, белошеяя, веснушчатая. Впрочем, веснушки свои она не любила. Весной и осенью веснушки густо покрывали ее лицо и тыльные поверхности кистей. Теплой же весной и летом, когда надо было носить открытые платья, они появлялись также и на груди и на плечах. Мери Яковлевна вела со своими веснушками бесконечную борьбу, употребляя и ртуть, и сулему, и перекись водорода.

— У тебя, Мери, кожа замечательная, а ты своими мазями разрушаешь ее верхний слой, — говорил отец Сережи Иван Владимирович.

Сережин отец был вдов, жена его, Сережина мать, умерла в ранней молодости от опухоли мозга, и Сережа ее не помнил. А отец Бэлочки, Григорий Ионыч Любарт, погиб под Будапештом и Бэлочка его помнила смутно, как какой-то силуэт. Мери Яковлевна посещала Ивана Владимировича как гинеколога на дому, поскольку он имел частную практику, но некоторое время они были также близки как мужчина и женщина.

— Эти твои желтоватые и коричневые пятнышки, — говорил Иван Владимирович о веснушках Мери Яковлевны, — эти

erphelidis, — говорил он, разглядывая ее голое полноватое тело, утомленно лежащее, белеющее на белой смятой недавней страстью простыне, — эти твои веснушки для меня как вторичные половые признаки.

— Ты, Ваня, теряешь чувство меры, — говорила Мери Яковлевна.

— Потеряно чувство меры, потеряно чувство Мери, — шутил Иван Владимирович.

Связь свою они скрывали, особенно от детей, Сережи и Бэлочки, которые учились в разных школах и вообще имели разные интересы.

Сережа был не по летам рослый, физически развитый, спортивный мальчик, и хоть учился он хорошо, Иван Владимирович опасался, что улица может на него дурно повлиять. Недавно Ивана Владимировича вызывали в школу, показали какую-то свинчатку, у Сережи отнятую, сказали, что от него, случается, пахнет табаком и что его видели несколько раз среди тех уличных подростков, что собираются у лодочной станции общества «Торпедо», которой заведует известный в городе спортсмен и хулиган Кашонок. У Сережи уже есть уличная кличка — «Сука».

— Это как же, дружище, — позвав Сережу в кабинет, говорил Иван Владимирович, — ведь это к чему приведет, если так продолжится? Кем ты станешь, скажи мне?

— Гинекологом, — ответил Сережа и посмотрел на отца темными черешнями покойной матери.

«Вот так же и она глядела, когда я узнал о ее измене с этим... волейболистом. Милая, интеллигентная, любила меня и вдруг изменила с этим скотом, — он глянул на Сережу, — сейчас очень похож. Чувство вины вообще подходит подобным лицам... Однако я не о том думаю?..»

— Я специально молчал в надежде, что ты сам поймешь, кем станешь, если будешь идти этим путем, — сказал Иван Владимирович. — Ты станешь пьяницей, у тебя будут дрожать руки и ноги. Более того, ты станешь преступником, тупым и бессердечным!

«Не то, не то я говорю. Матери ему не хватает... Как к его сердцу добраться? К ее сердцу я так и не добрался... Страдал,

кричал, грозил, но к сердцу не добрался и не простил. Простил, только когда умирала».

Иван Владимирович потянулся к стоящей на столе металлической банке из-под монпансье с трубочным табаком, но, глянув на Сережу, отдернул руку и взял из пакетика мятную лепешку.

— Я, папа, курить больше не буду, — сказал Сережа, — я хотел попробовать, но мне не понравилось. Горько, противно...

— Дело не в том, понравилось тебе это или не понравилось, а дело в том, что это дурная привычка. Есть дурные привычки, которые нравятся. Никто не застрахован от слабостей, от непоправимых ошибок... — «Опять не то говорю», — подумал Иван Владимирович. — Я имею в виду, что исправить их нельзя, раз они совершены, но можно раскаяться от души, искренне... Я, дружище, не вижу твоего искреннего раскаяния, одни лишь слова. А все от того, что ты себя не уважаешь. Например, каждый человек должен уважать свою фамилию, какова бы она ни была. Наша фамилия — Суковатых, происходит от слова «сук». Сибирская, таежная, честная фамилия. Ты же позволяешь своим уличным приятелям звать себя — Сука, словом грязным, хулиганским. Это что ж, у всех ребят, с которыми ты встречаешься, есть клички?

— У всех.

— И у этого, как его, у твоего друга, с которым тебя часто видят?

— У Афоньки?

— Да, у Афоньки... У Афанасия. У него тоже кличка?

— Тоже.

— Какая, любопытно?

— Жид.

Лицо у Ивана Владимировича исказилось, точно он съел нечто кислое или горькое.

— Какое скотство, — сказал он, поморщившись. — Это, дружище, подло. Это не принято среди порядочных людей. Это какая-нибудь грубая, суеверная старуха, какая-нибудь Дуня, которая водила тебя в церковь, заставляла тебя целовать крест, может быть целованный до тебя таким-нибудь сифилисным,

и заставляла пить воду, ложно именуемую святой, из кружки, которой, возможно, пользовался какой-нибудь туберкулезный... Мерзко! Твой дед, Владимир Сергеевич, земский врач, всегда защищал нацменьшинства, ты же берешь пример не с него, не с меня, отца твоего, не с иных порядочных людей, а с Дуни...

Дуня была домработница и Сережина няня. Была она худа, морщиниста, кожа словно присохла к ее костям, но когда рассказывала Сереже всякие истории и небылицы, глаза у нее светились молодого.

«А в лесу-то, Сережа, — окала Дуня — в лесу-то жил злодей, покоритель людей. И взял он в лес-то к себе девицу — распрокрасавицу Фелицию Ярославну. У-у, О-о-о, — слезы льет Ярославна. — У-у... О-о-о...»

Бабушку Дуню Сережа любил и помнил. Он очень огорчился, когда после случая с церковью отец ее уволил, тем более что о церкви Сережа сам же и проговорился. Теперь вместо Дуни домработницей была Настасья, крепкая девка с румянцем на щеках, происходившая откуда-то из болотистых лесов. Вместо «лапша» она говорила — «лапшина», вместо «жаркое» — «жаренка», на капусту с мясом — «качанья с мясом». Готовила эти и иные кушанья она действительно хорошо, дом, в отличие от бабушки Дуни, содержала опрятно, но была груба, тупа и слушала только отца, который был ею доволен и доверял ей. Сказок она никаких не знала, но отец и этим был доволен, поскольку считал, что сказки бабушки Дуни вызывали у Сережи ночные детские страхи. Сережа в раннем детстве часто вскрикивал и плакал во сне. У Ивана Владимировича были свои, как он говорил, медицинские, принципы воспитания сына. Так, он запрещал покойной жене его убаюкивать, считая, что убаюкивание мальчиков даже двухлетнего, трехлетнего возраста женскими руками может со временем вызвать дурную привычку к онанизму. Что же касается отношения к сказкам бабушки Дуни, то подтверждение своей правоте он нашел позднее у Мери Яковлевны, в ее книжке, выпущенной областным издательством. Эта книжка была расширенным рефератом диссертации «Влияние детских сказок на формирование личности ребенка дошкольного возраста».

«Сказки, сообщаемые детям младшего возраста, — писала Мери Яковлевна, — должны быть совершенно лишены поэтического элемента. С одной стороны, детям этого возраста не доступна поэтическая прелесть этого элемента, в котором чудесное поражает не более истинного, а с другой — элемент этот сильно действует на аффективную сторону и вызывает внезапные перемены в детских настроениях, он может оказать вредное влияние, преждевременно потрясая детскую нервную систему сильными эмоциями».

В подтверждение подобных взглядов Мери Яковлевна с раннего детства сама следила за книжками для Бэлочки и сама их читала перед сном. Книжки, подобранные ею, были разнообразны и поучительны: «Про мышь зубатую и воробья богатого», «Как дети мыли пол», «Егоза Иванович», наконец — Лев Толстой «Мужик и огурцы». Но любимая книжка Бэлочки была: «Жизнь и приключения лесной белочки Чок-Чок», ныне забытого, а некогда популярного дореволюционного писателя Венцеля. Поэтому Бэлочкина кличка Чок-Чок, заимствованная из приятной поучительной сказки, была самой же Мери Яковлевной и придумана. А Сереже, из-за пробелов в воспитании, кличку придумала улица — Сука.

— Ты понял, что это мерзко, дружище? У тебя есть имя — Сергей и фамилия — Суковатых. Точно так же и у этого мальчика, которого вы именуете нехорошим фашистским словом, есть фамилия... Как его фамилия?

— Обрезанцев, — сказал Сережа.

Иван Владимирович вдруг покраснел и закашлялся.

— Посиди здесь, — сказал он глухо и быстро вышел, точно по срочной нужде, закрыв за собой дверь кабинета. Но даже сквозь закрытую дверь, сквозь шум воды из туалета, доносились звуки раскатистого, неудержимого отцовского хохота.

«Не то я делаю, не то, — думал Иван Владимирович, — не умею воспитывать! Надо бы посоветоваться с Мери... Однако придумают! Обрезанцев... Смешно!.. Однако нехорошо, что я смеюсь, Сережа услышит. И вообще нехорошо... Двое мужчин, мужское общество, а Сереже скоро десять лет. Надо бы познакомить его, найти подружку, пока он сам не встретился в этой компании с дурными девицами».

Так возник план познакомить сына с Бэлочкой, дочерью Мери Яковлевны. Мери Яковлевна согласилась.

— Скоро у Бэлочки день рождения — вот и повод.

Так Сережа оказался на предновогоднем дне рождения, в комнате, пропитанной запахом горячего яблочного пирога, полной блеска, веселья и музыки.

Сережа был влюбчив, несмотря на свою физически крепкую комплекцию — потому что обычно в подобном возрасте часто мечтательно влюбляются натуры физически слабые и нежные. Но видно эта слабость и нежность были у него в материнских глазах-черешнях. Он уже несколько раз влюблялся и всегда с мечтами, с печалью, однако разнообразные объекты его любви, очевидно, о ней не догадывались. И Сережа страшился того, чтоб они догадались. Влюблялся Сережа не только в девочек, но и во взрослых женщин, чему способствовала профессия отца. Когда однажды пациентка отца, тетя Мери, поцеловав большим, красивым, ярко-красным ртом Сережу в щеку, а потом еще раз в шею, подарила два карандаша и шоколадку, он долго не мог опомниться, вспоминал волнующий, головокружительный запах этих женских прикосновений, раздражавший и манивший. Запомнил он также скуластую теплую щеку тети Мери, ее пухлый широкий носик с большими ноздрями, ее голубой, веселый, манящий глаз под густой темной бровью. Поэтому Сережа с радостью согласился пойти на день рождения дочери тети Мери и едва увидел эту дочь, как обнаружил в ней многое, уже знакомое, но более понятное, более доступное и потому гораздо более привлекательное. Печаль и мечты прошлых влюбленностей сразу испарились, и Сережа понял: настоящая любовь — это веселье. Хотелось танцевать, петь, дурачиться. Однако, распираемый изнутри этим азартным детским вихрем, Сережа, поскольку он чувствовал на сей раз влюбленность свою серьезно, истинно повзрослому, стал обдумывать, как тут более правильно поступить, и, когда Бэлочка подошла к нему, как подходила она к другим детям, и так же безразлично протянула ему пакет с подарком, он вместо того, чтоб закричать какую-нибудь глупую песенку или запрыгать козлом, вдруг принял позу, как на школьном утреннике, и с пафосом прочел без запинки стишок Пушкина из хрестоматии, за который недавно получил «пятерку».

— «Утро». Стих Александра Сергеевича Пушкина, — многозначительно и высокопарно произнес Сережа:

Румяной зарею
Покрылся восток,
В селе за рекою
Потух огонек.

Росой окропились
Цветы на полях,
Стада пробудились
На мягких лугах.

Мери Яковлевна, которая была специалисткой по детскому чтению и писала о том диссертацию, растроганно, горячо зааплодировала, и вслед за ней зааплодировала Бэлочка. Аплодировали и другие дети, но для Сережи главным было то, что аплодировала Бэлочка. Впрочем, ему нравились и другие аплодисменты, он чувствовал себя героем, на него обратили внимание, а то сперва, когда отец привел его, он, будучи со всеми незнаком, сидел чужаком в углу на стуле, тогда как иные свободно подходили к Бэлочке, обнимались с ней и вообще веселились. Теперь же в детском хороводе, который вела Мери Яковлевна, он был рядом с Бэлочкой, держал ее за теплую влажную ладонку и, подпрыгивая на легких, воздушных ногах, едва не взлетал.

— Баба сеяла горох, — начинала Мери Яковлевна.

— Прыг-скок, прыг-скок, — нестройно, весело отвечал хор детских голосов, и Сережа, опьяненный этим весельем, Бэлочкой влажной ладонкой, красной ленточкой в ее густых волосах, радостно забывался в крике.

— Обвалился потолок, прыг-скок, прыг-скок!

Потом все собрались полукругом у фортепиано, причем Сережа опять оказался рядом с Бэлочкой. Мери Яковлевна взяла несколько шумных аккордов и запела:

Солнце в золоте лучом мне подмигивает,
Через улицу ручей перепрыгивает...

Сереза этой песни не знал, но он умело подхватывал концы слов:

Ах, ручей, чей ты, чей?
Я от снега и лучей,
Я бегу, я смеюсь,
Я сейчас с другим сольюсь.

Потом Бэлочка спела песенку воробья, наклоняя то в одну, то в другую сторону черноволосую головку, перетянутую красной ленточкой, и держа на уровне головки свои ладошки с растопыренными пальчиками:

Чив-чирик-чик-чива-чик
Чив-чирик-чив-чива-чик
Чив-чирик-чик-чива-чик
Ч-и-и-и-к...

Утомленные и возбужденные пением дети собрались у стола и Мери Яковлевна начала резать, раздавать каждому по куску яблочного пирога, все еще горячего, липкого и сладкого. Сереза и тут не отходил от Бэлочки, и Бэлочка тоже не отходила от Серезы. Чтоб передохнуть после возбуждающих игр и песен, Мери Яковлевна предложила детям рассматривать книжки. Каждый получил по три книжки, должен был выбрать наиболее понравившуюся, успеть ее прочитать и своими словами передать содержание. За наиболее удачный пересказ давался приз, но какой, Мери Яковлевна не сказала, чтоб возбудить интерес. Три книжки, доставшиеся Серезе, были: «Джек — пожарная собака», «Былины о Василии Буслаевиче и Соловье Будимировиче», а также «В мире брызг и пены» — о водопадах. Все три книжки понравились Серезе, он никак не мог выбрать. Наконец выбрал «Джек — пожарная собака», начал читать, но вдруг передумал и взялся за «В мире брызг и пены». Он прочел более половины книжки и рассчитывал вновь стать первым, стать героем, вызвать аплодисменты, но неожиданно заметил, что Бэлочка в комнате нет и ее книжки лежат нераскрытыми. Все вокруг сосредоточенно листали, читали

свои книжки, рассчитывая выиграть приз, но Сережа уже не читал. Без Бэлочки стало скучно, печально, он оглядел комнату с привычно, на своем месте стоявшей, и привычно, уже надоедливо, блиставшей елкой; глянул в окно, за которым смеркалось и летел большими хлопьями новогодний снег...

Снова оглядывая комнату, заметил, что нет и Алика Саркисова, мальчика Сережиного возраста. И его книги лежали на столе нераскрытыми. Какие-то искры, полосы, пятна вдруг замелькали перед Сережинными глазами. Отойдя от стола, он начал кружить по комнате, подошел к елке, опять заглянул в окно, точно Бэлочка могла оказаться там, могла падать с неба, плавно и тихо, и он хотел разглядеть ее среди хлопьев.

— Чего ты, Сережа, не читаешь? — услышал он и, обернувшись, увидел тетю Мери, которая смотрела на него, растянув губы в улыбке.

— Я... — начал Сережа, но пересохшее горло мешало говорить.

— Что-нибудь случилось?

— Нет... Я...

— Ты хочешь в туалет? — спросила тетя Мери, понизив голос. — Это в конце коридора, — и большой своей белой рукою со сверкающим зеленым камнем на пальце ободряюще провела по Сережиной щеке.

В коридоре было темно, и когда Сережа шел, то ему показалось, что за пухлой от одежды вешалкой кто-то прятался, шептал и чем-то шелестел, но от Сережиных шагов все это притихло.

Сережа нащупал дверь туалета, вошел и заперся, стоял просто так, потому что в туалет ему не хотелось. Выйдя из туалета, он пошел назад и едва не упал, наткнувшись на связки старых газет, сложенных в углу у вешалки. Опять послышался за вешалкой шелест и шум, словно смех, заглушенный ладошкой. Сережа вернулся в комнату, как и вышел, тоскуя.

Конкурс меж тем кончился, первый приз выиграла школьная подруга Бэлочки Дина Думанская, прочитавшая и изложившая своими словами содержание книжки «Жизнь и приключение белочки Чок-Чок». На этот раз Мери Яковлевна и Бэлочка, наконец появившаяся откуда-то, и все остальные аплодировали

Дине, как они аплодировали раньше Сереже за его пушкинский стишок «Утро». Сережа стоял в стороне недовольный, тоскующий, внутренне протестующий, и не аплодировал. Впрочем, он заметил, что и Алик Саркисов тоже недоволен и тосклив. Однако Бэлочка была весела и, как показалось Сереже, несколько раз на него весело поглядывала, но он, замкнувшись, с тяжелой каменной грудью отворачивался. Наконец Бэлочка, когда Сережа стоял у окна, глядя на снег, сама подошла и спросила:

— Отчего ты сердишься?

— Я не сержусь, — опять пересохшим горлом и, потому прокашливаясь, ответил Сережа.

— Нет сердишься! Ты на меня сердишься.

— Не сержусь!

— Врешь, сердишься, — и своими смеющимися голубыми глазами поймала, приклеила Сережины темные, сердито-печальные.

Так боролись они взглядами, и Бэлочкин, игриво-веселый, победил, покоров Сережин, сердито-тоскливый. Сережино лицо потеряло твердость, ослабело, расплзлось в улыбку.

— Ты проиграл, проиграл, — засмеялась Бэлочка и, зачем-то оглянувшись, сказала тихо: — Пойдем, я тебе что-то покажу... Пойдем, — и поманила пальчиком Сережу вслед за собой в коридор.

В знакомом уже Сереже темном коридоре, у знакомой, пухлой от одежды вешалки, Бэлочка остановилась и, взяв Сережу за руку, потащила в узкую щель между вешалкой и стеной. Сережа шел, пригнувшись, спотыкаясь о связки старых газет, о какой-то старый ящик, еще какую-то старую рухлядь.

— Можешь выпрямиться, — шепотом сказала Бэлочка.

За вешалкой в стене было углубление, очень узкое, но высокое, до потолка, и они стояли, тесно прижавшись, хоть и выпрямившись. Сердце Сережи сильно стучало, уши горели. Он очень волновался, как перед тяжелым экзаменом. Бэлочка была совсем рядом, тепло дышала ему в лицо.

— Чего ты молчишь? — спросила наконец Бэлочка, подышав так минуту-другую.

— Я... Ты... — Сережа начал прокашливаться.

— Я да ты, — засмеялась Бэлочка, — ты доктора сын?

— Да.

— Гинеколога?

— Да, гинеколога.

Бэлочка опять засмеялась.

— Чего ты смеешься? — спросил Сережа, чувствуя все большую неловкость и не зная, что говорить и что делать дальше.

— Ты Пушкина хорошо читал, — вовремя пришла на помощь Бэлочка, — моей маме понравилось.

— Я твою маму и раньше видел, — сказал Сережа, — она к нам приходила... У тебя мама красивая, — добавил он, неожиданно для себя смело.

— Влюбился? — ответила Бэлочка на его смелость еще большей.

Сережа растерялся и не знал, что сказать: соврать, засмеяться небрежно или признаться, что действительно был влюблен.

— В мою маму все мужчины влюбляются, — сказала Бэлочка.

Сереже стало приятно, что Бэлочка и его тоже причислила к мужчинам, и он сам, не понимая, что делает, как бы наблюдая за собой со стороны, положил ей руку на левый бок у полного бедра, прощупав под белой шуршащей материей какие-то косточки, какие-то завязочки, какие-то узелки. Тогда Бэлочка подалась вперед, прижала свой мягкий животик к Сережиному животу, уперлась обеими ладонями в его грудь и из этого не совсем ловкого положения несколько раз поцеловала Сережу в губы своими липкими, сладкими от яблочного пирога губками. В это время по коридору кто-то прошел и, видно, услышал за вешалкой шуршание и, может, даже звуки поцелуев, потому что остановился и повернул голову к вешалке, как это делал недавно Сережа. Бэлочка, распираемая смехом, прижала одну свою ладонь к своему роту, а второй, мягкой, теплой ладонью закрыла Сережин рот. Силуэт постоял в коридоре и пошел дальше к туалету. Но тут Бэлочка не удержалась и выпустила из-под своей ладони короткий, визгливый, похожий на поросячее хрюканье, смешок. Это так развеселило Сережу, что он тоже хрюкнул под теплой Бэлочкиной ладонью, тем более что узнал в силуэте Алика Саркисова. Когда посрамленный Саркисов скрылся в туалете, Сережа и Бэлочка выбрались из-

за вешалки и побежали в комнату, присоединились к поющему под аккомпанемент Мери Яковлевны хоры:

Солнышко, солнышко, погляди
в оконышко.
Выйдут детки погулять, будут
прыгать и играть...

А на прощание, перед тем как веселые возбужденные дети стали расходиться по домам, Мери Яковлевна с чувством спела «Колыбельную», пластично выпевая каждое слово красными губами:

Спи, мой дружок, вырастай
на просторе,
Скоро промчатся года.
Смелой орлицей под ясные зори
Ты улетишь навсегда.
Даст тебе силу, дорогу укажет
Сталин своею рукой.
Спи, мой воробушек, спи, мой
дружочек,
Спи, мой звоночек родной.
Ля-ля-ля-а-а-а...

И все разгоралось, все разгоралось, все светлело в Сержиной душе от этих убаюкивающе-торжественных звуков.

Позднее, возвращаясь с отцом домой по заваленным снегом белым, праздничным, новогодним улицам, Сережа жмурил глаза, отчего городские огни длинными лучами брызгали в разные стороны, глубоко дышал вкусным снежным воздухом, и временами радость, распиравшая его грудь, была так невыносима, что хотелось громко, бессмысленно закричать, как кричат от боли, которую невозможно терпеть.

— Папа! — необычно громко произнес, почти закричал Сережа.

— Что, Сережа? — спросил Иван Владимирович.

— Какой хороший сегодня вечер, — сказал Сережа, шумно, беспокойно дыша и лихорадочно блестя глазами.

«Мой сын впервые в жизни по-настоящему влюблен и счастлив», — подумал Иван Владимирович.

Ему вдруг стало грустно и вспомнилась покойная Сережина мать, когда он впервые встретился с ней, молоденькой семнадцатилетней девочкой, почти ребенком, беспокойным, чистым и восторженным, таким же, как Сережа. «Можно ли было тогда предугадать, что случится потом, — думал Иван Владимирович, — что мы вообще можем увидеть своим близоруким, рассеянным оком? Тут важно людям моего опыта и моего возраста сдерживать эгоистическую гордыню позвавшей, неудовлетворенной души и не отравить чужой свежести своими разочарованиями, своим мрачным полетом фантазии».

«Дождя отшумевшего капли, — вспомнил Иван Владимирович романс, который часто пела Мери Яковлевна. — да, отшумевшего... В звуках отшумевшего — утешение. „Утешься, не сетуй напрасно, то время вернется опять“. Вот оно и вернулось — для Сережи».

И теплое, нежное чувство к сыну, к своему впервые по-настоящему влюбленному, счастливому мальчику заглушило пробудившуюся было жгучую печаль, гордыню личного горя и личных разочарований.

2

Зимним днем — в иную уж зиму, пятнадцатую для Сережи и четырнадцатую для Бэлочка, — в первый день школьных каникул Бэлочка и Сережа решили пойти на каток.

Все было белым в тот день; и от того, что не блистало солнце и не было ветра, тихая эта белизна тускло, однообразно, без отсветов, покойно лежала на всем: на березах, на протоптанной в снегу тропке меж ними, которая вела к речному берегу, терявшемуся под ровной снежной пеленой. Заречная даль размывалась белым маревом, и низко нависало такое же однообразное, как снежная целина, несолнечное, тусклое небо. Единственным поблескивающим пятном был каток — участок, очищенный от снега, недалеко от лодочной станции «Торпедо», от дощатого

барака с белым спортивным флажком на крыше, от вмерзших в лед лодок. Заведующий лодочной станцией и катком Костя Кашонок, кумир местных подростков с железным профилем сверхчеловека, возился у дощатого барака вместе со своим подручным Афонькой Обрезанцевым — что-то прогревали, стучали железом о железо, наполняли морозный воздух металлическим грохотом, смехом и матом. Из-за морозной погоды каток был пуст, только какой-то пожилой человек в сером свитере, обтягивающем костлявые плечи, и такой же серой шапочке, заложив руки за спину, вычерчивал по льду круг за кругом.

— Это кто? — кивнул Афонька в сторону Бэлочки, когда Сережа подошел, чтоб взять напрокат коньки. — Твоя маруха?

— Моя.

— Хороша, — кивнул Афонька Кашонку на стоявшую в отдалении Бэлочку, действительно очень красивую в своей рыжей беличьей шубке и белой пуховой шапочке на темных волосах.

Хоть Сережа давно уже не общался с Афонькой, но закон улицы помнил: о девочках надо было говорить залихватски легко и по-хулигански весело — и потому заставил себя улыбнуться. Но, когда, взяв коньки, он подошел к Бэлочке, она вдруг с интересом, весело улыбаясь, спросила:

— Что Ванька про меня говорил?

— Не Ванька, а Афонька.

— Ну, пусть Афонька... Что он про меня говорил?

— Шутил паскудно... Пойдем кататься.

То, что Бэлочка так улыбалась, неприятно взволновало, ибо казалось, что своей улыбкой она как бы кокетничала с Афонькой.

Те физические и психологические перемены, которые произошли в Сереже и Бэлочке, были естественны, но у Бэлочки, росшей в семье невропатической и при изнеженном воспитании, все началось ранее срока — и менструальный цикл, и вопросы о деторождении...

О деторождении она начала спрашивать лет этак после восьми и так настойчиво, что даже напугала Мери Яковлевну. Поразмыслив и посоветовавшись, Мери Яковлевна решила, что от этих вопросов надо отделяться отговорками или начи-

нать ответ длинными, скучными фразами, которые должны надоесть ребенку прежде, чем речь дойдет до сути. Так она и поступила, но ответы ее лишь создали в психике дочери манящую, таинственную область. И это Бэлочкино напряжение, это Бэлочкино воспаление передалось также Сереже.

К тому же отец Сережи был еще не стар, вдов, и его как гинеколога часто посещали женщины, проходили в кабинет, за запертую дверь которого Сереже давно мечталось поглядеть. Вход в отцовский кабинет самостоятельно, без присмотра был ему запрещен даже и в неприемные часы. Во-первых, потому, что там хранился табак, а во-вторых, из-за определенных книг, стоящих на полках. Уходя на работу или в иное место, Иван Владимирович всегда запирает дверь кабинета на ключ. Второй ключ хранился у Настасьи, аккуратно исполняющей свои обязанности преданной отцу надзирательцы. Так уж, однако, случилось, так уж должно было случиться, что Настасья, убрав однажды кабинет, забыла запереть дверь, поскольку ее позвала соседка по какому-то делу. Длилось это недолго; минут пять Настасья поговорила на лестничной площадке с соседкой, но и пяти минут оказалось достаточно для Сережи, вбежавшего на цыпочках в кабинет и начавшего шарить на столе, а затем и на полках в поисках табака. Шаря и прислушиваясь, не идет ли Настасья, он случайно зацепил и сбросил на пол толстую в зеленом переплете книгу. Книга при падении на пол раскрылась, и Сережа прочел название, написанное старинной вязью: «Строение половых органов». Так и не найдя табака, но зато схватив книгу, Сережа выскочил из кабинета.

Если б речь шла о современной медицинской книге, о каком-нибудь медицинском, гинекологическом справочнике, которым отец постоянно пользовался, то пропажа бы обнаружилась быстро. Толстый зеленый том, сам, как созревший плод, упавший к Сережиным ногам, был, однако, старым антикварным изданием, книгой французского анатома семнадцатого века Рене де Граафа, впервые давшего подробное анатомическое описание мужских и женских половых органов.

«Мужской половой член, — читали совместно, голова к голове Сережа и Бэлочка, — состоит из пещеристой ткани, содержащей множество широких кровеносных сосудов, силь-

но наполняющихся кровью во время эрекции». Здесь же изображался этот мужской половой член в разных видах — проекциях, сбоку, сверху, снизу, аккуратно вычерченный, как в геометрии.

Дело происходило в Бэлочкиной комнате, где Сережа и Бэлочка часто готовили вместе уроки. Бэлочка училась посредственно, и Сережа, который учился хорошо, помогал ей. Особенно в решении задачек. Они и сейчас разложили учебники, раскрыли тетради, которыми приготовились в случае опасности прикрыть запретную книгу. Опасности, однако, не предвиделось. «Дождя отшумевшего капли, — доносился из столовой голос Мери Яковлевны, которая пела свой любимый романс, — тихонько по листьям текли, тихонько шептали деревья, кукушка кричала вдали».

— У мамы меланхолия, — шепотом сказала Бэлочка. — Я слышала, как она ночью вставала и пила капли. У тебя, Сережа, бывает меланхолия?

— Не знаю.

— Бывает, бывает... И у меня бывает. У всех бывает. Знаешь от чего?

— От чего?

— Не скажу, — кокетливо улыбнулась Бэлочка.

— Нет, скажи, скажи. Ну скажи, Чок-Чок.

— Сам знаешь. — Бэлочка засмеялась своим возбуждающим, болезненно-лихорадочным смехом и ткнула пальчиком в схемы половых органов.

«Не знаю, была ли в те годы душа непорочна моя, но многому б я не поверил, не сделал бы многого я...» — пела Мери Яковлевна.

— У мамы неудача в личной жизни, — сказала Бэлочка, — она, бедная, страдает.

И действительно, меж Мери Яковлевны и Иваном Владимировичем какое-то время уже не ладилось, наступило охлаждение, и теперь речь шла вообще об окончательном разрыве, подтверждением чему служил тот факт, что Мери Яковлевна обратилась по женским своим делам к другому гинекологу. Тем не менее Сережа продолжал приходить к ним в дом, и Мери Яковлевна это терпела, хотя, будучи женщиной эгоистичной и

пристрастной, она подумывала, как покончить с подобной слишком затянувшейся дружбой. Дети выросли, стали подростками, и как бы от такого постоянного, тесного контакта чего-либо не случилось непоправимого. Тем более, учитывая Бэлочкины пристрастия, Бэлочкину нервную систему... Еще в раннем детстве невропатолог, осматривавший Бэлочку, узнав о ее ночном недержании мочи и прочем, посоветовал мероприятия, способствующие закаливанию организма, а также содействующие ограждению половых органов ребенка от раздражений. При последующих осмотрах озабоченный невропатолог советовал также беречь девочку от дурных примеров и влияний и, между прочим, «от чтения известных романов и вообще подобных книг». Посоветовал невропатолог показать девочку также опытному гинекологу, учитывая ранний приход менструального цикла. Мери Яковлевна собиралась уже показать Бэлочку Ивану Владимировичу, но отношения их все более ухудшались. Прежде, пока отношения эти еще были сносными, она пробовала все же поговорить с Иваном Владимировичем о слишком затянувшейся дружбе Бэлочки и Сережи, которая, судя по некоторым признакам, может дурно кончиться. Но Иван Владимирович, конечно же, не понял ее.

— Ты, Мери, хочешь, чтоб вместо нормального, естественного развития полового инстинкта дети перешли к ущемленным болезненным фантазиям?

— От фантазий, даже болезненных, нельзя забеременеть, а от естественного полового инстинкта — можно...

Мери Яковлевна намекала на взволновавшую город беременность пятнадцатилетней девочки, Ларисы Бизевой, цыганки, учившейся в Бэлочкиной школе.

Лариса закопала портфель с учебниками на пустыре и сбежала со взрослым тридцатилетним цыганом. Вернулась она спустя три месяца, беременная, причем беременность была тяжелая и потребовалось кесарево сечение для спасения жизни роженицы. Ребенка также удалось спасти, но он родился уродом. Иван Владимирович был хорошо знаком с подробностями этого дела. Конечно, меж этим происшествием и дружбой Сережи с Бэлочкой было мало общего. Однако определенное беспокойство от тесного общения Сережи, мальчика эксцентричного,

как и его покойная мать, с девочкой чувственно-нервной, способной к бурным реакциям даже на незначительные раздражения и с безусловно неустойчивой, ненормальной половой возбудимостью, испытывал и он. Он сам хотел предложить Мери Яковлевне осмотреть Бэлочку, но потом передумал. «Лучше пусть это сделает кто-либо посторонний, а не я, отец Сережи. И в конце концов — любовь это или что иное — кончиться оно должно само, изнутри, как кончаются многие отношения меж подростками. Вмешиваться извне жестоко и опасно».

Так думал Иван Владимирович, но Мери Яковлевна думала иначе, думала противоположно и давно б уже вмешалась извне, если б не знала свою Бэлочку, не знала ее упрямства, не знала ее привязанности к Сереже. Она чувствовала, что простой запрет, без всякого повода, ни к чему не приведет. Поэтому искала повод. И вот повод нашелся. Мери Яковлевна заметила, что, готовя вместе с Сережей уроки в своей комнате, Бэлочка с некоторых пор стала запирает дверь. И в присутствии Сережи Мери Яковлевна сделала Бэлочке выговор, предупредила, что если еще раз заметит запертую дверь, то их совместные уроки прекратятся.

Поэтому, читая сейчас книгу Рене де Граафа «Строение половых органов», Бэлочка двери не заперла, но приготовила множество бумаг, чтоб прикрыть книгу. «Влагалище, — читали Сережа и Бэлочка, — часть женских половых органов, принимающая при совокуплении мужской член. У входа во влагалище полулунная складка — девственная плева. Большие срамные губы и малые срамные губы окружают срамную щель, в переднем углу которой находится клитор...»

«Теперь же мне стали понятны обман и коварство и зло, и многие светлые мысли одну за другой унесло...» — пела Мери Яковлевна в столовой.

Бэлочка, однако, не знала, что Надя, приходящая домработница, послана Мери Яковлевной босиком, чтоб тихо ступала, под дверь Бэлочкиной комнаты.

— Что? — шепотом спросила музицирующая Мери Яковлевна Надю, когда та явилась для доклада.

— Зеленую книгу читают, — тоже шепотом ответила Надя.

— Какую зеленую?

— Толстую.

Этого было достаточно. Не готовят уроки, а читают какую-то толстую зеленую книгу! Однако то, что оказалось у Мери Яковлевны в руках, когда она, одев вместо туфель мягкие домашние тапочки, внезапно вошла, превзошло самые худшие ожидания. Вначале Мери Яковлевна просто оцепенела, но, обрета дар речи, обратилась прежде всего не к Бэлочке, а к Сереже.

— Это Вашего отца книга? — спросила она сдержанно, вежливо, на «Вы» и оттого особенно зловеще.

— Не отвечай ей! — нервно выкрикнула Бэлочка.

— Да, моего отца, — ответил Сережа, потупившись.

— И он разрешает Вам читать подобные книги?

— Разрешает, разрешает, — нервно вмешалась Бэлочка.

— Нет, — глядя на ковер, тихо ответил Сережа.

— Книгу я найду способ передать Вашему отцу сама, — сказала Мери Яковлевна. — А вы, Сережа, больше не должны приходиться к нам в дом и вообще общаться с Бэлочкой!

Затем, повернувшись к Бэлочке, другим уже, домашним тоном, хоть и при Сереже еще, наверняка умышленно при Сереже еще, выкрикнула:

— Я запрещаю тебе встречаться с ним! С этим уличным подростком... Слышишь, мерзавка?!

Сережа ушел подавленный и униженный, плачущую Бэлочку заперли в ее комнате, а Мери Яковлевна приняла таблетку от головной боли, приняла успокаивающие капли и бледная, отчетливо ярко накрашенные губы ее казались совсем уж кроваво-пунцовыми, легла на диван, тем более что чувствовала себя она последнее время вообще дурно из-за женской болезни. Ей точно воздуха не доставало и она дышала шумно, жадно, а по щекам ее текли тихие слезы. «Вот так, — думала Мери Яковлевна, — вот так!.. Вот и допет последний куплет... Везет лошадка дровеньки, а в дровнях мужичок, срубил он нашу Бэлочку под самый корешок... И я, я в этом виновата... Не она, а я мерзавка...»

Опять сильно болел живот. Некоторое время тому у нее ночью уже случался приступ сильной боли в животе. Врач «скорой помощи» предположил аппендицит. В больнице диагноз первоначально подтвердили, но Иван Владимирович, который, к сча-

тью, дежурил в тот день, определил не аппендицит, а эпидимит — воспаление придатков. Ее подлечили, стало легче, и вот опять, наверно на нервной почве, острая боль в том же месте!

К вечеру началось и кровотечение. В прежние времена она всегда в таких случаях звонила Ивану Владимировичу, но теперь отношения меж ними сошли на нет. Она слышала, что у Ивана Владимировича появилась какая-то восемнадцатилетняя любовница, медсестра роддома. Да и у Мери Яковлевны появились иные интересы. Вместе с новым заведующим кафедрой дошкольного воспитания Ефремом Петровичем Ляшенко, мужчиной уже немолодым, но крепкого сложения и высокого роста, она собиралась писать работу на тему: «Опыт ребенка как вспомогательное средство педагогики». Уж был готов договор в республиканском издательстве, где у Ефрема Петровича имелись связи, ибо прежде он как раз в этом учебно-педагогическом издательстве занимал должность главного редактора. Из республиканского города Ефрем Петрович, как слышала Мери Яковлевна, уехал по личным, семейным обстоятельствам, разведясь с женой после того, как они отпраздновали серебряную свадьбу, окруженные тремя взрослыми детьми и пятью внуками. Такое могло создаться впечатление, что Ефрем Петрович человек эгоистичный и безответственный, а меж тем, по мнению Мери Яковлевны, был он добр и деликатен, без всякого неприятного острословия, чем отличался Иван Владимирович. Вспомнилось, как в одном из последних разговоров, когда Мери Яковлевна поделилась своим беспокойством относительно опасных отношений его Сережи с ее Бэлочкой, он объявил, что у нее просто необоснованные предрассудки, чрезмерные требования и преувеличенный педантизм.

— Дело не во мне, не в моем характере, — пыталась сдерживать себя Мери Яковлевна. — Я хотела бы посоветоваться, что нам делать с нашими детьми.

— Давать им поменьше перца и уксуса, — сказал Иван Владимирович.

— Ты опять шутишь и опять некстати.

— Отчего же? Половое созревание сопровождается слабостью пищеварительного аппарата. Надо исключить также чай, кофе, само собой — вино.— Он хотел обнять ее за плечи, но

она отстранилась. Она уже тогда слышала о молоденькой медсестре из роддома.

— Если ты, Иван, отказываешься предпринять совместные действия, то я приму свои меры. Поступай со своим сыном как тебе заблагорассудится, я же думаю о своей дочери. Пусть тебе безразлична судьба Бэлочки, но чтоб отец был так безразличен к судьбе собственного сына!... Или для тебя важнее всего собственные удовольствия, собственное половое разнообразие как с вдовами, так и с молодыми девицами?

Последние слова, особенно намеки на молодую медсестру, новую любовницу Ивана Владимировича, Мери Яковлевна пыталась удержать, еще за секунду до того была уверена, что не скажет, как бы ни была раздражена. Однако не удержалась. Однако сказала.

— Ты, Мери, — медленно, торжественно, как говорят оскорбленные люди, пытающиеся сохранить свое достоинство перед оскорбителем, — начал Иван Владимирович, — ты, Мери, болезненно раздражена, и я имел бы право оскорбиться твоей бестактностью, если б не был твоим гинекологом и не знал причин. В твоём отношении к дочери есть элемент извращения полового чувства, достаточно подробно описанный немецким психологом Эбингом наряду с уранизмом, лесбосской любовью и прочим подобным...

Этот разговор окончательно predetermined их разрыв. И сейчас, лежа на диване, Мери Яковлевна, несмотря на болезненное состояние, с мстительным наслаждением думала, как воспримет Иван Владимирович историю с книгой «Строение половых органов».

В тот же вечер книга была послана с Надей и передана лично в руки Ивану Владимировичу. К книге была приложена записка, сухо и коротко излагавшая суть дела и требовавшая, чтоб дурно воспитанный сын Ивана Владимировича более не посещал ее, Мери Яковлевны, дома и не встречался с Бэлочкой.

Вопреки надеждам Мери Яковлевны Иван Владимирович, однако, быстро справился с порывом отцовского гнева, первоначально действительно им овладевшего.

«Тут не мудрость нужна, не святость, а терпение, — думал Иван Владимирович, глядя на своего сына, которого призвал

в кабинет для разговора. — Он уже не мальчик, а молодой человек и с возрастом все более становится похож на меня, только глаза, как у матери».

— Здесь, в записке, Мери Яковлевна требует, чтоб ты больше не встречался с Бэлочкой.

— Мы будем встречаться, папа! — сказал Сережа.

— Я это понимаю... Вы можете даже встречаться здесь, если захотите.

— Спасибо, папа! — обрадованно воскликнул Сережа.

«В конце концов, мой либерализм — мера вынужденная; впрочем, как всякий либерализм, а потому — единственно возможная, — подумал Иван Владимирович. — Ремнем его уже не отхлестать. Может, надо было раньше, а теперь уже поздно. Угрозы только вызовут в нем злобность и раздражительность».

— Ты, однако, понимаешь, дружище, — сказал Иван Владимирович, стараясь, придать своему голосу побольше холода и строгости, — ты, однако, осознаешь свой проступок?

— Осознаю, — сказал Сережа, подыгрывая отцу в их общей попытке найти разумный выход из неприятной ситуации.

— Я уж оставляю в стороне сам факт заимствования тобой — не хочется употреблять слово «кража», — заимствования чужой книги. Но что, интересно, ты в ней нашел? Тебе было интересно?

— Интересно, — признался Сережа.

— Вот что, дружище! Поверь мне: если ты станешь развивать свой интерес в этом направлении, то вскоре потеряешь всякий другой интерес к девочке, с которой дружишь, и станешь стремиться к тому, что, в общем... и преждевременно и глупо для вас! Я не буду объяснять, да это пока и сложно тебе понять. Те, кто занимается этим профессионально, например я, чувствуют это гораздо сильнее, чем кто-либо. Необходимо отделять одно от другого, пока это возможно, а ты стремишься объединять.

— Что отделять, папа? — в недоумении спросил Сережа.

«Не слишком ли я разоткровенничался перед сыном, — спохватился Иван Владимирович, — хотел погасить соблазны, а вместо этого только разжег. Тяжело все-таки воспитывать без матери. Любящая мать нашла бы слова, как она нахо-

дила их с первых дней, заботясь о здоровье и несложном блаженстве младенца. Ведь капризы и страсти повзрослевших детей, даже подростков, представляют аналогию крикам новорожденного. Мать и младенец едины еще со времен утробной жизни ребенка, отец же отделен, увы! Оттого мать находит слова по инстинкту, нам же приходится искать их рационально. А какая же может быть логика в любви? То, что нам непонятно, то, что мы не способны понять, все это названо нами: тайны жизни. Но объяснять это Сереже невозможно и опасно. Подростки не терпят тайн, всякая тайна их враждебно раздражает, потому что именно в этом возрасте должны закладываться стойкие элементы бодрости и жизненности... Той ясности, которая царит в полдень, когда нет теней. Вот у Пушкина:

Любимец божества, природы старший
сын,
Вещай, о человек! Почто ты в свет
родился?
На то ль, чтоб царь земли и света
властелин
К постыдной цели век стремился?

В этом четверостишье, как и часто у Пушкина, может быть найден и иной, не прямой смысл. Стремление к постыдной цели со времен Адама... У каждой человеческой жизни есть своя история и своя предыстория. В истории своей человек получил множество заповедей. Но в предыстории он получил только одну: плодиться и множиться. У Сережи как раз сейчас предыстория, — трудный возраст. Какова предыстория, такова будет и история, во всяком случае, историю уж нелегко будет переписать, все заповеди придут слишком поздно...»

Сереже нравилось, что отец в разговорах с ним, когда случались такие разговоры, часто задумывался, как бы замолчал на полуслове. Это значило, что он беседует с ним не как с мальчиком, а как с равным. Так Сереже казалось.

— Что от чего отделять, папа? — снова повторил свой вопрос Сережа. — Что с чем не соединять?

Иван Владимирович поднял глаза и посмотрел на сына. Он словно почувствовал себя обвиняемым, допрашиваемым сыном, которому был не в состоянии помочь, потому что не знал, как это сделать, будучи и сам беспомощен перед теми вопросами, что задавал ему Сережа, да к тому же еще будучи растравлен взглядом этих глаз, некогда принадлежавших женщине, принесшей ему столько горя и страданий... И вот теперь, через сына своего, через ребенка своего, эта женщина задает ему вопросы-обвинения! Иван Владимирович почувствовал себя виновным перед ними, но, чтоб эту вину публично не признавать, поступил так, как всегда поступают люди, не желающие признавать свою вину, но обладающие властью и силой.

— Вот что, дружище, — сказал Иван Владимирович, уже другим, жестким и властным тоном, — видно, напрасно я пытался тебя убедить добром, напрасно пустился с тобой в рассуждения, которые ты не понимаешь или не хочешь понимать. Тут моя вина. Я думал, что мой сын уже взрослый человек, в действительности же я имею дело с дурно воспитанной мальчишкой! Ты ведешь себя как не помнящий родства бродяга, как уличный хулиган...

«Однако, что я говорю? — с испугом думал Иван Владимирович. — Ведь все разрушил, что возвел! Разве можно воспитывать сына на таких перепадах», — но при этом говорил совсем иное, не в силах остановиться, и тот гнев, который он преодолел вначале, теперь им полностью овладел, так что и в конечном итоге сбылось задуманное Мери Яковлевны.

— Вместо того чтоб понять мои слова, ты только задаешь мне нелепые вопросы!..

«Как он, однако, похож на свою мать, — мелькнула мысль, — вот так же и она смотрела сухими глазами, когда я был несправедлив».

— Учитывая все это, я беру свои слова назад. Из разговора я окончательно понял, что твои отношения с дочерью Мери Яковлевны стали принимать нехороший оттенок. И я тебе советую, точнее, я тебе приказываю их прекратить. Иначе я тебя выгоню вон из дома... Вон выгоню, негодяй! Не смей трогать мои медицинские книги, которые предназначены не для того, чтоб их читали глупые недоросли. Теперь я займусь твоим воспитанием, я

займись твоим чтением! Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кто ты!.. Будешь читать Пушкина! — он встал, взял с полки один из пушкинских томиков и протянул Сереже: — Каждый день будешь читать у меня Пушкина, учить наизусть! И я буду выстав-лять тебе оценки не так, как в школе! Если ты плохо выучишь, я велю Настасье не кормить тебя... А теперь уходи, — и Иван Влади-мирович, чувствуя все свое тело словно избитое, упал в крес-ло, закрыв глаза и обессиленно запрокинув голову.

— Но что учить, папа? — тихо, нерешительно, подавлен-ный этой внезапно произошедшей с отцом переменой, спросил Сережа.

Еще минуту-другую назад он чувствовал в отце близкого человека, к которому можно прийти, повиниться в своих по-ступках, вместе о них подумать, поразмыслить... Теперь же все внезапно переменялось, в кресле перед ним сидел чужой, злой человек, с которым к тому же надо было хитрить, потому что Сережа полностью от него зависел.

— Читай, что сам выберешь! — уж не так агрессивно ска-зал Иван Владимирович, продолжая сидеть неподвижно с за-крытыми глазами.

Сережа с томиком Пушкина в руках вышел.

В Сережиных отношениях с Бэлочкой стихи и песенки тех лет были весьма важны, они волновали, они проникали в са-мое Сережино затаенное, непроизносимое наяву, а разве что во сне. «Бритвою ты прикоснулся к губе, девушки снятся все чаще тебе...» — выучил он наизусть, а точнее, сам собой вы-учился понравившийся ему стишок Щипачева, популярного лирика. Только слово «девушки» Сережа заменял словом «Бэ-лочка». «Бэлочка снится все чаще тебе».

Бэлочка часто снилась Сереже. Сны были беспокойные, как бред во время сухого плеврита, которым Сережа болел в раннем детстве. Во сне Бэлочке часто грозила опасность, Сережа слы-шал крики, брань, угрозы. Проносились кошки, собаки, какие-то фантастические фигуры, преимущественно темные и мелкие. Однако в ночь после скандала с отцом он увидел Бэлочку, очень ярко окрашенную в разные цвета, как бы цветными стеклами, сквозь которые он, Сережа, смотрел. Потом он увидел Бэлочку в зеркале, как бы удваивающуюся, потому что Сережа смотрел на

нее через призму. И все это сопровождалось песенкой: «Бэлочка». В те годы было множество лирико-сентиментальных песенок, которые волновали молодежь, песенок полуофициальных, неофициальных, которые можно было услышать на танцплощадке или из открытого окна городского ресторана. «Дымок от папиросы, дымок голубоватый...», «Мы с вами в парке встретились случайно...» Но для Сережи, конечно же, лучшая была «Бэлочка». «Бэлочка, пойми же ты меня, Бэлочка, не мучь меня. Бэлочка, мне грустно без тебя, ведь ты весна моя, радость моя». В цветном, волшебном сне Сережа несся под эту сладостную волнующую песенку, несся и не мог остановиться, пока не начал осязать видимую в зеркале Бэлочку. И сразу горячая живая сила принялась в блаженстве истекать из Сережи. Хотелось, чтоб блаженство длилось вечно, но оно вдруг сменилось омерзением — нечто липкое, мокрое, подобно забравшимся под одеяло мокрицам ползло по животу. От этого отвращения, внезапно сменившего блаженство, Сережа проснулся.

Был ранний рассвет, розовый отблеск ласково, успокаивающе мерцал из окна, и лежавший вниз лицом Сережа, повернувшись на спину, понял, что с ним произошло. Сердце его билось быстро, но вскоре начало успокаиваться, и радостные, утренние мысли о Бэлочке, казалось, полились из окна вместе с розовой зарей. «Румяной зарею покрылся восток», — вспомнилось пушкинское из школьной хрестоматии. Пушкинский томик, который вручил отец, лежал рядом на стуле. Сережа перед сном пробовал его листать, но глаза слипались, он так и не выбрал, что выучить наизусть, как того требовал отец. Зная, каков отец в гневе, Сережа понимал, что тот сдержит слово, и если не выучить наизусть какой-либо пушкинский стих, велит Настасье не кормить его обедом. Поэтому Сережа обрадовался, когда розовое окно напомнило ему стишок Пушкина, который он учил еще в третьем классе и который читал на дне рождения в первый день его знакомства с Бэлочкой.

Румяной зарею
Покрылся восток,
В селе за рекою
Потух огонек.

Росой окропились
 Цветы на полях,
 Стада пробудились
 На мягких лугах.

Сереза начал листать томик Пушкина, чтоб найти этот стишок «Утро» и проверить, правильно ли он его помнит, однако такого названия он найти не смог, сколько не искал. Сереза нашел «Осеннее утро» — «Поднялся шум; свирелью полевой оглашено мое уединенье...» Нет, это было непонятно, скучно, и учить это наизусть было никак невозможно. Сереза листал страницу за страницей и вдруг мелькнуло знакомое: «Румяной зарею покрылся восток...» Но называлось у Пушкина это не «Утро», как в детской хрестоматии, а «Вишня» и было не в два четверостишья, а длинное, на три страницы. Дальше-то и началось то главное, что не вошло в детскую хрестоматию.

Туманы седые
 Плывут к облакам,
 Пастушки младые
 Спешат к пастухам.

Молодая пастушка спешила на рынок, но по дороге залезла на дерево поесть вишен. Увидав спешащего к ней пастушка, не удержалась, упала, платьем зацепившись за сучок.

Сучок преломленный
 За платье задел;
 Пастух удивленный
 Всю прелесть узрел.
 Среди двух прелестных
 Белей снегу ног,
 На сгибах чудесных
 Пастух то зреть мог,
 Что скрыто до время
 У всех милых дам,
 За что из Эдема
 Был изгнан Адам.

Стишок прочитался легко и выучился быстро. Когда Иван Владимирович вернулся к обеду из больницы, Сережа тотчас вошел к нему в кабинет, объявил, что готов читать выученное, и прочел с неподвижным лицом, старательно, но глазами при этом поблескивал.

Прельщенный красою,
Младой пастушок
Горячей рукою
Коснулся до ног.

И вмиг зарезвился
Амур в их ногах;
Пастух очутился
На полных грудях.
И вишню румяну
В соку раздавил,
И соком багряным
Траву окропил.

«Как они, однако, хитры в этом переходном возрасте полового созревания!.. Этот мальчишка сумел и Пушкина взять к себе в заговорщики против меня и против тех, кто из лучших побуждений превратил эротические стихи Пушкина в невинный хрестоматийный детский стишок-пейзажик. И глаза, глаза... Так же и она смотрела во время наших примирений. Смотрела и лгала. Нет, мне еще предстоит с Сережей много хлопот и, может быть, много бед... Как его убедить? Может, заплакать, опуститься перед ним на колени, как уже случилось раз у меня с его матерью, опуститься на колени и умоляюще повторять: «Ну пойми меня, ну пойми...» Нет, все бесполезно».

— Иди, дружище, к себе, — сказал Иван Владимирович Сереже мягко и ласково. — Сейчас я приду, и мы сядем обедать.

«Я остался при своем, а он остался при своем, — глядя вслед уходящему Сереже, подумал Иван Владимирович, — все-таки трудно без женщины, без жены воспитывать сына. Сколько еще будет неприятностей!»

Грядущими бедами были переполнены и мысли Мери Яковлевны, пребывавшей к тому же в нервном состоянии из-за женский своих заболеваний, впрочем приходящих в норму, благодаря лечению у нового гинеколога Сатановского. Но если последствия прежнего, как она считала, неудачного лечения у Ивана Владимировича преодолевались, то последствия многолетней, необдуманно допущенной дружбы Бэлочка с Сережей преодолеть не удалось.

Она знала, что Бэлочка продолжает встречаться с Сережей вне дома, она в этом не сомневалась, потому что помнила, как сама встречалась с Бэлочкиным отцом, вопреки запрету родителей, считавших Григория комсомольским голодранцем. Правда, ей тогда было не четырнадцать с половиной, как Бэлочке, а шестнадцать с половиной. В семнадцать она забеременела и даже помнит, при каких обстоятельствах: в лесу на коврике.

Так свободно, несколько даже потеряв контроль над своими мыслями, думала Мери Яковлевна, сидя у трехстворчатого зеркала, накладывая крем от веснушек «Луч», а затем припудривая лицо пудрой «Южная». «Трудно, трудно воспитывать дочь без мужчины, без отца... Просто руки опускаются! Ни угрозы, ни подарки — ничего не действует. Кажется, она думает лишь об одном и повсюду, во всем находит эротическую окраску. Наглые глаза, резкие движения... Безусловно, я виновата, что у нее столь болезненное отношение к половому вопросу. Я еще молода, и у меня нет сил отказаться от личной интимной жизни. И это, в конце концов, так же естественно, как есть, пить и дышать. Я еще молода, а Бэлочка уже подросток, и нет в доме отца, постоянного мужчины, поэтому Бэлочка последнее время относится ко мне не как к матери, а как к надоевшей подружке... Да, многое в ее поведении естественно и, к сожалению, неизбежно. Надо быть с ней поласковой, она требует теперь особого внимания, чтоб преодолеть все эти недифференцированные эмоции, все эти болезненные комплексы. Надо попытаться отнять у нее нездоровый интерес к половому вопросу, придать ему естественное значение природного закона...»

Мери Яковлевна прислушалась. Бэлочка, недавно и сильно запоздав, вернувшаяся из школы и объяснившая свое опоздание сбивчиво и явно неправдиво, сидела теперь у себя в ком-

нате, и через приоткрытую дверь, поскольку Мери Яковлевна запереться ей запретила, было слышно, как она шелестит бумагами. Бэлочка знала, что мать следит за ней, может, даже обыскивает комнату в ее отсутствие, и потому брошюрку, найденную накануне, прятала под матрас. Брошюрку эту Бэлочка нашла в ящике, стоящем в темном коридоре, в углублении за вешалкой, там, где когда-то, давным-давно, в детстве, Бэлочка и Сережа впервые поцеловались.

Связки старых газет и журналов, которые по-прежнему накапливались у вешалки, в конце концов сдавались сборщику утильсырья. Но ящик со всякими давно не нужными вещами продолжал храниться. Были здесь всевозможные мелкие предметы прежней, устаревшей роскоши — люксус, части мужской и женской одежды: галстуки, платочки, перчатки, два веера, брошки, запонки, серьги, коробочки, рамки. Все это из разнообразных материалов: кости слоновой и простой, морской пенки, перламутра, черепахи, янтаря, целлулоида, китового уса, дерева, бронзы, папье-маше, тканей, кожи...

Бэлочка любила время от времени копаться в этом ящике: то янтарные серьги вытащит, то серебряную, потемневшую брошь... И вот накануне, на самом дне ящика, она под кучей хлама нашла вдруг пожелтевшую брошюрку, о которой и сама Мери Яковлевна давно забыла, иначе изъяла бы ее непременно. Брошюрка называлась «Презервативы и гондоны — ассортимент и правила пользования». На титульном листе ее изображен был господин во фраке с завитыми кверху усами. Рядом с ним дама с высоченной прической, в длинном, старомодном, приталенном платье с кружевами на воротнике и рукавах, плотно обтягивающих внизу руки, но вверху раздувавшихся пышно, фонарями. Тут же было двое детей — мальчик в матросском костюмчике и девочка в платьице, отделанном кружевами. Все одинаково улыбались. На титульном листе, под улыбающейся семьей была надпись: «Имейте мало детей и обеспечьте им счастливую жизнь». Брошюрка была с картинками, от которых у Бэлочки дух захватывало. Дыхание учащалось и сердце колотилось торопливо, спешно... Спешило к Сереже. Бэлочкино сердце всегда спешило только к Сереже, туда же, куда спешила и сама Бэлочка. Но встречи их стали теперь

неуютны средь зимней стужи и холода в чужих подъездах, где постоянно приходилось сохранять заячью чуткость во время поцелуев и объятий, или на дальних безлюдных улицах, где целоваться приходилось озябшими твердыми губами. Поэтому то, что Бэлочка задумала — а она уже некоторое время тому кое-что задумала, хотя пока еще не поделилась своим замыслом с Сережей, — то что она задумала, ею решено было перенести во времена теплые, в весенне-летний сезон, когда это возможно было бы осуществить где-либо на удачно подобранном чердаке или даже на траве под кустом. Потому что Бэлочка задумала отдаться Сереже, что, помимо наслаждения, которого она желала, предвидела, о котором мечтала, — помимо наслаждения давало еще возможность им стать как бы мужем и женой, поборов тем самым все препятствия и попытки их разлучить.

Однако больше всего Бэлочка боялась забеременеть, как забеременела Лариса Бизева, и потому, обнаружив старинную брошюрку, помимо удовольствия от разглядывания волнующих картинок, Бэлочка рассчитывала еще вычитать, как обезопасить себя от этого.

Картинки сопровождались надписями. Под изображением какой-то кишки сообщалось, например, что это первый презерватив шестнадцатого века из тонкой козьей кожи. Начало кишки оплетено было ленточкой, которой этот презерватив крепился. Однако за исторической картинкой следовали современные. Возле одной была надпись: «Маленькая тайна оргазма. Партнер и партнерша достигают высшего пункта». Возле другой: «Для абсолютно новых ощущений и для усиленного телесного контакта». Были надписи и попроще: «Натуральный контакт. Сухой». Конец брошюры заполняли отзывы покупателей. «С тех пор как я начал пользоваться гондонами вашей фирмы, жизнь кажется мне сладким сном, полным чудес и чарующей силы. Фадей Фадеевич Козлов, магистр математики. Петербург». «Срочно прошу прислать новую партию ваших презервативов. Преведенная партия произвела на меня самое благоприятное впечатление. Эмиль Адольфович фон Ритах. Военный врач. Рига».

Бэлочка только на минутку достала теперь брошюрку из-под матраса, чтоб проверить, на месте ли она, ибо подробней

намеревалась посмотреть ее в читальном зале детской библиотеки. Когда в читальном зале мало посетителей, эту брошюрку вполне можно рассмотреть вместе с Сережей, прикрыв ее связкой «Пионерской правды» или журналом «Вожатый». Достала на минутку, но увлеклась и... О ужас! Мери Яковлевна снова застала ее за недозволенным чтением, на этот раз, правда, одну.

Ужас был взаимным. Бэлочка сидела съезжившись, закрыв глаза руками, чтоб не видеть лица матери, мокрого от слез, открытого красными пятнами, со злыми, дергающимися губами. Если б Мери Яковлевна, как всегда, бранила ее, это б еще было не страшно, но на этот раз у матери, видимо, так накопело, что она только плакала и стонала. Бэлочка испугалась, расплакалась и дала честное пионерское никогда не читать ничего подобного и вообще измениться, стать такой, как хочет мама. Бэлочка говорила много приятных Мери Яковлевне слов, давала клятвы и прочее, ибо она боялась, что Мери Яковлевна приведет в жизнь свою угрозу, которую однажды во время ссоры в отчаянье высказала — отравиться или повеситься.

— Ты уже клялась, ты уже обещала, я это уже слышала, — глухим, хриплым от слез и горя голосом говорила Мери Яковлевна в ответ на слезы и клятвы Бэлочки.

Повернувшись, Мери Яковлевна ушла в ванную и заперлась там. Испуганная Бэлочка, вообразив, что мама решила утопиться или повеситься на бельевой веревке, стояла перед дверьми, кланчила, просила, умоляла поверить ей в последний раз и даже сама себе верила, что изменится, откажется совершить с Сережей то, что задумала. Мери Яковлевна на ее просьбы и клятвы не отвечала, но постепенно Бэлочка сквозь шум воды стала различать звуки, свидетельствующие, что Мери Яковлевна не топится, а просто моется. Брошюрку, конфискованную у Бэлочки, она, кстати, забрала с собой, и Бэлочке показалось, что мама в ванной сама рассматривает те самые картинки. Тогда Бэлочка вернулась к себе в комнату и начала вновь думать о том, что непременно совершит с Сережей, и о том, что в ближайшие дни скажет ему это. Ее лихорадило, болели голова и живот, она легла на койку, поджав под себя ноги, согнутые в коленях.

Меж тем Мери Яковлевна, выйдя из ванной в своем мохнатом, голубом халате успокоенной и порозовевшей, с влажными еще волосами, думала о Бэлочке уже по-иному, с раскаянием, с упреками себе. «В ее возрасте, — думала Мери Яковлевна, — индивидуальные ассоциации преобладают над общими и внушение ребенку отдельных нравственных принципов должно быть связано с его общим самочувствием. Бэлочкино психическое состояние зависит от состояния физического. Уговоры, ласки, а тем паче наказания бьют мимо цели. Бэлочке необходима перемена обстановки, хороший отдых в Крыму, на Кавказе или пароходом вниз по Волге, как предлагал Ефрем Петрович. Я увлеклась своим и так мало уделяю ей внимания. Она читает недозволенные, вредные книги потому, что я перестала следить за подбором ее книг, как делала это в детстве, когда любимыми ее книгами были: «Мужик и огурцы» Льва Толстого и «Жизнь и приключения белочки Чок-Чок», а не книжки о презервативах или о строении половых органов. Хорошо еще, что она не добралась к тем французским переводным романам, которые хранятся у меня в спальне». Один из романов назывался «Розовые ногти», второй — «Чего не должна знать девственница», из которого в молодости Мери и почерпнула как раз те сведения, которые ей как девственнице были особенно интересны. Времена, однако, переменились. Она не знала, что Бэлочка давно уже добралась до этих книг и пробовала их читать, но они показались ей скучными и непонятными.

«Конечно, Бэлочка выросла, — думала Мери Яковлевна, — ей нужны теперь не те книжки, что в детстве. Прежде всего Пушкин. «Я Вас люблю, чего же боле, что я могу еще сказать...» Разумеется, подростку еще недоступны утонченные описания красот природы или психология человеческих чувств, но общая фабула классического художественного произведения уже доступна».

— Чок-Чок, — позвала Мери Яковлевна, — где ты?

— У меня болит голова, мама, — отозвалась Бэлочка из своей комнаты, — и живот.

Встревоженная Мери Яковлевна вошла к Бэлочке и по лихорадочному блеску ее глаз поняла, в чем дело.

— У тебя?..

— Да, мама. Сильно течет... И из десен тоже.

К счастью, гинеколог Сатановский, которому Мери Яковлевна не так давно показала Бэлочку, предупредил, что в период полового созревания такие усиленные кровотечения при чрезмерной нервной и физической нагрузке не редки. Не только маточные, но одновременно бывает из носа, из десен, даже из легких. Все это сопровождается усиленным сердцебиением, головной болью и болью в животе. «Однако в панику впадать не следует, если подобное и случается. Прежде всего нужен покой, а также то-то, то-то и то-то...».

Поэтому Мери Яковлевна быстро раздела Бэлочку, повела ее в ванную, потом нагрела молоко с медом и приняла прочие меры, которые рекомендовал гинеколог Сатановский. Когда успокоенная, умытая, напоенная горячим молоком Бэлочка легла в постели, Мери Яковлевна присела рядом и, обняв по верх одеяла, сказала тихо:

— Мы, Чок-Чок, обе погорячились, но ты должна помнить, что твоя мама всегда тебя любит и всегда думает о твоём благе.

— Да, — прошептала в ответ Бэлочка, нежась на свежих простынях, — я тебя тоже люблю.

— Я надеюсь, ты выполнишь свои обещания, которые дала мне. Я тоже виновата в том, что происходит с тобой. Но отныне все переменится. Я буду уделять тебе больше внимания, а летом мы поедем с тобой в Крым или вниз по Волге.

«Летом, — с блаженством думала Бэлочка о своем, — летом, когда потеплеет...»

От Мери Яковлевны сладко, возбуждающе пахло пудрой и остро, уксусно, — кремом. Это был крем «Рашель», которым она смазала лицо после ванны, поскольку частое употребление крема «Луч» сушит кожу и может привести к раннему появлению морщин.

— Постарайся уснуть, — сказала Мери Яковлевна, целуя Бэлочку в лоб, — завтра ты, разумеется, в школу не пойдешь, завтра поспишь подольше.

«Летом, когда потеплеет», — засыпая, с блаженством думала Бэлочка.

Вечером у Мери Яковлевны были гости. Слышно было, как гости говорили, стучали стульями, звенели посудой и громко,

заглушая все остальные звуки, хохотал Ефрем Петрович. Понеслись аккорды фортепиано, Мери Яковлевна запела: «Дождя отшумевшего капли...» Потом голос матери зазвучал глухо и состоял он уж не из слов, а из шумов. Из шумов возникло слово «Сереза».

— Сереза, — позвала Бэлочка.

— Бэлочка, — тихо, шепотом отозвался Сереза, — Чок-Чок, — но тотчас же Серезин голос заорал ужасно громко: — Бэлочка! Чок-Чок! — голос был то в отдалении, то у самого уха.

Вначале Серези не было видно, но потом он показался. Очень, однако, маленький, как игрушечный. Вдруг раздался резкий звук, точно кто-то сильно хлопнул в ладоши, отчего Сереза исчез, как мышка.

«Гости ушли, — просыпаясь и глядя в темное, ночное окно, поняла Бэлочка, — дверь хлопнула».

Блестела в окно звезда. Тело было легким, подвижным, летело. Бэлочка видела, как вошла Мери Яковлевна в длинной до пола шелковой рубаше, положила ладонь на Бэлочкин лоб и снова вышла на цыпочках, прикрыв дверь. Стало тихо, и Бэлочка уснула уже без снов и видений, но потом снова проснулась от того же сильного хлопка в ладоши. «Опять кто-то ушел», — поняла Бэлочка. В третий раз проснувшись уже окончательно, Бэлочка увидела ослепительно яркое от солнца окно, откуда лились потоки света — бодрящие, успокаивающие. Ни живот, ни голова больше не болели. Она отбросила одеяло, опустила босые ноги на небольшой, прямоугольный коврик буро-красного цвета, лежавший у кровати.

Ковров в квартире Мери Яковлевны было много.

— Как в восточном доме, — шутил Иван Владимирович. — Оттого, Мери, воздух у тебя в комнатах всегда пересушен, и это дурно влияет на легкие, особенно детей.

Ивана Владимировича давно уже не было в этом доме, а ковры оставались. Ковры висели на стенах и лежали на полу, прикрывали диван в большой комнате и тахту в спальне. Впрочем, ковры были недорогие, с примесью бумаги. Но зато в спальне у Мери Яковлевны лежал огромный ковер с густым ворсом. Изображены на нем были цветочные гирлянды и птицы — белые,

светло-голубые, зеленые на синем поле. Бэлочка любила ложиться на этот ковер, особенно когда оставалась дома одна.

В то утро, встав после болезненной ночи здоровой, Бэлочка прошла в ночной рубашке по пустой, дурно проветренной, так как мать, видимо, спешила, квартире. На кухне были груды невытой посуды, запахи рыбных консервов, вина и коньяка. Несколько пустых бутылок стояли на кухонном столе, рядом с остатками яблочного пирога. Бэлочка взяла кусок яблочного пирога и жуя прошла в спальню матери, чтоб полежать на любимом ковре. Постель Мери Яковлевны была не убрана, смята, ибо Мери Яковлевна действительно опаздывала на лекцию для аспирантов, которая называлась: «Альтруистические эмоции в период первоначального формирования мировосприятия у детей».

Войдя в спальню Мери Яковлевны и обнаружив в ней беспорядок, Бэлочка под влиянием хорошего своего самочувствия, солнечного утра и многого иного, непередаваемого, захотела сделать матери приятное, чтоб Мери Яковлевна вернулась после лекции в чистую, хорошо проветренную квартиру. Она подошла прежде всего привести в порядок смятую постель, наклонилась и вдруг в самом углу, там, где ковер примыкал к постели, увидела нечто небольшое из резины телесного цвета. Двумя пальчиками Бэлочка подняла с ковра телесную, влажную кишку, от которой пахло так же остро, как вчера от матери, употребляющей для лица крем «Рашель». «Презерватив, — узнала Бэлочка, — а когда дверь хлопнула на рассвете, это Ефрем Петрович ушел». Бэлочка легла на смятую постель матери и подумала с радостью: «Завтра же скажу Сереже все, что решила. Завтра, когда пойдем на каток». А презерватив Бэлочка вновь бережно уложила на ковер в том месте, где он лежал.

Вернувшись домой после лекции, Мери Яковлевна застала дочь в своей постели. После вчерашних строгостей по отношению к дочери, а особенно после бурной ночи, которую Мери Яковлевна себе позволила, она чувствовала вину перед Бэлочкой, а то, что Бэлочка лежит не в своей, а в ее постели, приняла за тоску по материнской ласке. Усевшись на край смятой постели, растроганная Мери Яковлевна начала поглаживать дочь

по голове и плечам, целуя ее то в шею, то в щеку, но взгляд ее вдруг, невольно последовавший за Бэлочкиным взглядом, обратился на ковер и лицо стало ярко-пунцовым.

— Иди к себе, — сказала она Бэлочке жестким и сердитым голосом.

— Отчего же, мама? Я так по тебе соскучилась!

— Я запрещаю тебе ложиться в мою постель!

— Отчего же? Раньше ты всегда разрешала.

— Иди к себе, мерзкая, — не в силах сдержать себя от волнения и стыда, крикнула Мери Яковлевна, грубо схватила Бэлочку за плечо и, крепко сжимая его пальцами, отвела Бэлочку в ее комнату и заперла на ключ. Но ключ не оставила в замочной скважине, а второпях забрала с собой, и потому Бэлочка видела, как Мери Яковлевна вынесла из своей спальни завернутый в розовую салфетку презерватив, вошла с ним в туалет и послышался шум воды в унитазе. Странное, мстительное чувство, жестокое чувство испытывала Бэлочка к своей матери, следя за ее стыдом и растерянностью. «Завтра же скажу Сереже», — думала мстительной радостью, точно между тем, что она завтра скажет Сереже, и тем, что происходило сейчас, была какая-то неясная, но прямая связь.

И когда белым днем утомленные и разгоряченные Бэлочка и Сережа шли с катка, она решила: «Сейчас скажу».

На реке уже шумел ветер и мелькал колючий снег, вкруговую несясь к земле и от земли назад к небу, но в березовой роще, которой они шли, царила еще тишина, а снег плотно лежал под ногами.

— Сережа, ты будешь любить меня всю жизнь? — спросила Бэлочка, когда они остановились под большим дубом. В березовой роще росло несколько таких дубов — морщинистых, мощных стариков, похожих у своего подножия на гигантские слоновые ноги.

— Я буду любить тебя всегда, — ответил Сережа, обняв Бэлочку за плечи и по-бараньи прижав свой лоб к ее лбу, так что теплый пар, исходящий из их ртов, смешивался.

— Сережа, мы должны как можно скорее стать близкими людьми.

— Но разве мы не близкие люди?

— Нет, мы должны стать... как муж и жена! — и подняла голову, отчего темные ее волосы, уже не перевязанные, как в детстве, цветной ленточкой, а по-взрослому скрепленные заколкой, рассыпались по плечам. Голубые глаза ее ясно говорили, объясняли, досказывали неясное.

— Я согласен, Чок-Чок, я согласен, — ответил Сережа звенящим голосом, почувствовав сильное давление и стеснение в сердце. Бэлочкино лицо, снежные деревья — все стало приятно неустойчивым.

Ложась спать в тот вечер, Сережа по-прежнему пребывал в болезненно-веселом настроении, которое установилось в нем после слов Бэлочки. Ночь была светла и горяча. Сережа лег, укрывшись лишь простыней, но затем сбросил и простыню, лежал обнаженный у морозного окна, за которым блистала маленькая веселая луна. То, что должно было случиться между ним и Бэлочкой, казалось труднообразимым. Так трудно вообразимо для верующих то блаженство, которое они должны испытать в раю. Сережа непрерывно пытался себе представить, как это должно случиться и что он при этом будет видеть и чувствовать, но всякий раз запутывался, терялся в полусне и то, что должно было случиться, становилось похоже на растение. У него был корень, вставший в землю, у него были ветви, листья, цветы, плоды. Однако едва становилось понятно, каким образом все должно было случиться, как Сережу будил звонок, который был виден в подробностях. Чья-то рука тянула за ручку звонка, проволока наклонялась, рычаг тянул другую часть проволоки, связанной с колокольчиком, колокольчик звенел, Сережа просыпался и опять видел растение, ничего не объяснявшее, а лишь волнующе намекавшее.

Когда же наконец Сережа проснулся окончательно, то не было уж ни звонка, ни растения, ни маленькой, веселой луны в окне. Но вчерашнее, болезненно-веселое настроение осталось, не покидая его все те дни, недели, месяца блаженного ожидания, пока не настал наконец тот день, когда и должно было свершиться задуманное.

Надо сказать, задуманное не только радовало, но и пугало, как пугает все желаемое и неизведанное. Все просто и легко, когда дразнит и манит общее любопытство, а меж Сережей и Бэлочкой было не любопытство, было сильное желание, сильная тяга друг к другу, накопленная годами недетской сердечной дружбы. У Сережи были моменты, когда желание становилось столь сильным, что проникало уже из тела в кости, в позвоночник, словно столбеневающий от напряжения. И в то же время чувствовалась какая-то угроза для них обоих, таких, какими они были прежде, какая-то опасность, от этого напряжения исходящая. Временами Сереже хотелось, чтоб все уже минуло, все уже было преодолено и они вновь смогли бы вернуться к тому, что связывало их до задуманного. Но и к самому острому, самому необычному душевному состоянию можно привыкнуть, можно с ним сжиться, можно его обитать, если оно длительно. Казалось, ожиданию задуманного не будет конца, и Сережа к этому ожиданию привык, и Сереже такое ожидание нравилось. Поэтому, когда Бэлочка наконец сказала: «Через три дня», — это Сережу крайне взволновало и испугало.

Кажется, и сама Бэлочка, говоря это, была беспокойна и, Сереже почудилось, посмотрела на него с вызовом, точно через три дня между ними ожидался острый спор, опасная борьба.

— Я на три дня уезжаю, — объяснила Бэлочка, — уезжаю с мамой и Ефремом Петровичем в лесной санаторий. Но приеду раньше, они еще там останутся. Я придумала... не важно что! Мама мне поверила.

Мери Яковлевна дочери, конечно же, не поверила, просто поняла, что сопротивляться тому напряжению, которое давно уж замечала в Бэлочкиных глазах, бесполезно. При этом она, однако, надеялась на Бэлочкино благоразумие и на Бэлочкин девичий страх, который не позволит ей зайти слишком далеко, обречь себя на стыд и на боль, как это случилось с Ларисой Бизевой, родившей урода в пятнадцать лет, ставшей больной и не способной в дальнейшем иметь детей, обреченной всю жизнь быть несчастливой.

Рассказы об этой Ларисе, умышленно раздуваемые и приукрашиваемые Мери Яковлевной, Бэлочку, безусловно, пугали. Однако ведь Лариса отдалась из любопытства какому-то пожилому тридцатилетнему цыгану, она же, Бэлочка, хочет это сделать со своим Сережей, а против беременности у нее спрятаны под матрасом два презерватива, выкраденные из тумбочки у Мери Яковлевны. Для большей гарантии Мери Яковлевна поселила на квартире на время своего отсутствия Надю, приходящую домработницу, дав ей соответствующие инструкции. Но у Бэлочки и здесь было все предусмотрено. Она знала, что у Нади есть какой-то солдат, к которому та часто уходит, и к тому ж она надеялась Надю подкупить, сэкономив часть денег, которые ей дала Мери Яковлевна на кино и мороженое.

— Ты меня жди эти три дня, Сережа, — сказала Бэлочка, прощаясь с ним перед отъездом, — будешь ждать?

— Буду, буду, Чок-Чок, — ответил Сережа.

Они обнялись, как обнимаются близкие, родные люди перед долгой разлукой. Бэлочка заплакала, и Сережа вдруг заплакал вслед за ней, совсем по-девичьи, не стесняясь слез.

Первый день ожидания был голубой, и Сережа провел его в покое у Бобрового прудика. Желтогрудая птичка с длинным клювом сидела на торчащей из воды мертвой ветке, ожидая добычу. Она камнем падала в воду, раздавался плеск, пугавший Сережины мысли, и те, подобно тонконогим водяным паучкам, разбегались врассыпную по зеркальной водяной глади. От падения птички колыхались на воде лилии. Вынырнув с красноперой, золотистой рыбкой в клюве, птичка улетела недалеко, и поскольку день был теплый, ясный, Сережа видел, как они скрывались в норке, в темном отверстии на желтом глинистом обрыве, где у нее, очевидно, были птенцы. Воцарялся покой, счастливое безлюдье, и бесшумные Сережины мысли-мечты о Бэлочке собирались воедино, как водомерки, сбегавшиеся бесшумно со всех сторон. В движениях ведь всегда утомляют звуки, его сопровождающие. Теперь же вокруг была полная тишина, тихое поглощение Сережей мира и миром Сережи. Но опять прилетала желтогрудая птичка, опять мертво садилась на мертвую ветку и ждала, караулила добычу...

Словно во сне минул для Сережи первый голубой день ожидания, и дневной этот сон сменился ночным бодрствованием. Ночь двигалась медленно, подаваясь со скрипом, сантиметр за сантиметром, минута за минутой. Неподвижная тяжесть ночи утомляла, как утомляет неподвижная тяжесть непосильного, большого предмета, который пытаешься сдвинуть. Потрудившись и утомившись, Сережа расслабился, забылся, признал себя бессильным перед тяжестью ночи и проснулся, когда ночь укатила сама, а в окне горело желтожаркое солнце. Иван Владимирович в белой, растегнутой на груди рубашке и в круглой соломенной шляпе, видно недавно вошедший с жаркой улицы, смотрел на Сережу и улыбался.

— Ты во сне стонал и кричал, — сказал он. — Точно камни ворочал! Лишь под утро успокоился. Пережарился на солнце, что ли?

— Пережарился, — согласился с отцом Сережа.

— Да, день и сегодня жаркий, — сказал отец, — хочешь вишен? Настасья с рынка вишен принесла... Освежает.

Настасья внесла глубокую тарелку влажных крупных вишен и сказала:

— Родителява вишня, сорт такой. Родителява, кисло-сладкая, приятная.

Поев вишен, действительно освежавших, и наскоро позавтракав, Сережа вышел во второй свой день ожидания, понятно только ему и Бэлочке, находившейся ныне в отдалении и, так же как он, окруженной людьми, живущими по какому-то совсем иному, чем они оба, летоисчислению.

У Сережи и Бэлочки был общий календарь, состоящий из трех листков. На этом календаре первый, голубой листок был оборван, сейчас предстояло оборвать второй листок — желтый, потому, что день был желтым от солнечного зноя. Сережа ушел из дома, не зная, где проведет время, но зная лишь, что желтый день этот требует преодоления иного, чем вчера. Шел он долго, не думая о направлении, и очнулся у моста через реку. День был базарный, по мосту во множестве ехали на рынок крестьянские телеги, деревянный настил моста был усеян сеном, навозом, и запах этот долго преследовал Сережу, пока не утих в хлебных полях, где его перебил запах железа

и мазута. Громыхало. Желто-серые от пыли уборочные комбайны двигались среди сухого желтого шелеста. Под навесом возле железной бочки с водой толпились усталые, мокрые, словно искупавшиеся в собственном поту люди, пили шумно, выплескивая остатки воды на себя, отчего одежду их окутывал пар. И Сереже захотелось так же, трудовой усталостью, преодолеть этот желтый день. Поэтому, когда какой-то мужчина крикнул Сереже:

— Эй, малый, где ты ходил? Бочка уж наполовину пустая, — Сережа молча взял ведро и пошел с ним к дальнему колодцу.

Пустое ведро гремело, полное наваливалось на плечо, желтое солнце светило то справа, то слева. Сережа сделал пять ходок и с каждой ходкой желтый день все убывал.

— Сядь, передохни, — сказала Сереже какая-то женщина, потом пригляделась и спросила удивленно: — Разве тебе сюда наряд выписали? Санька, ты где? Ей, Санька.

Из-под кустов из прохлады появился, посмеиваясь, парень года на три старше Сережи, блеснул в сторону Сережи глазами, свистнул, плюнул и, взяв ведро, неторопливо поплелся к колодцу. Впрочем, для Сережи и пяти ходок вполне хватило, чтоб осуществить свой замысел по преодолению желтого дня. С непривычки и от излишнего усердия он едва передвигал ногами и от хлебных полей шел к мосту вдвое дольше, чем от моста к хлебным полям.

Так минул желтый день и наступил последний — зеленый, ибо Сережа решил провести его в огородах и садах, среди поросших густой травой пригородных лугов. Этот зеленый день был не так зноен и не так изнуряющ, время от времени свежий ветерок шелестел в кустарнике и чувствовалась близость реки, которая мелькала то там, то здесь сквозь поредевшие кусты. Сережа присел на траву, с удовольствием вытянул ноги. Было приятно так лежать, казалось, возвращается покой первого голубого дня на Бобровом прудике, только ныло, болело натруженное вчера правое плечо. Он лег поудобней, плечо стало ныть слабей, но тут, нарушая покой, запел вдруг недалекий волнующий женский голос. Поначалу это казалось песней, однако затем в звуке ее голоса почувствовалось нечто иное, воз-

буждающее, тоска ли, радость ли, понять было нельзя, и звук был однообразный, меняющий лишь тембр и высоту, то болезненный, то ликующий, то шепотом, то возрастая, поднимаясь, звеня и опять тише, точно звал на помощь: «А-а-а... О-о-о...»

Сереза приподнялся, стал на колени и угадав направление, откуда исходил звук, осторожно раздвинул кусты. Метрах в пяти от него Кашонок лежал на женщине. Сереза видел его большие шершавые ступни, из которых коряво росли пальцы, и ее маленькие розовые ступни, из которых росли аккуратненькие маленькие пальчики. Сереза смотрел застывшими, оцепенелыми глазами на эти, вперемежку лежащие, спутанные куски тел: мускулистые загорелые икры, белую руку, украшенную браслетами, широкую загорелую спину, оканчивающуюся белизной в форме плавок на округлостях, и под этими округлостями Кашонка мелькало как бы вывернутое наизнанку мокрое, красное мясо... У Серезы от подступившего отвращения стянуло живот, но зрачки его были словно припаяны, и он не мог отвести взгляд от этих перепутавшихся кусков мужского и женского, а особенно от мокрой красной мясистой раны.

— А-а-а... О-о-о!.. — песенно стоналось в разном тембре где-то за налитым мужским плечом, и вдруг из-за плеча показалось красное безумное женское лицо с открытым круглым ртом и закрытыми, как во сне, глазами. Приподнялось на мгновение и опять упало за плечо. Но этого мгновения было достаточно, чтоб Серезина память, Серезино воображение, которое теперь было обострено, как и все в нем, сотворило из этого безумного, потерянного лица другое, красивое, неподвижное, ухоженное, недоступное никому, кроме мужа своего, полковника авиации, который был подстать жене своей — высокой, модно, столично одетой блондинке. Они шли посреди бульвара, подавляя всех и вся своим видом. Она поблескивала большой лакированной сумкой, а он маленькой золотой звездой Героя Советского Союза. Все молчало вокруг, когда они шли, и лишь высокие каблучки ее белых, летних туфель перестукивались, переговаривались с каблуками его офицерских сапог из хорошей кожи.

— Полковник Харохорин с женой, — услышал Сереза шепот с одной из скамеек, когда эти ритмичные переговоры туфелек и сапог затихли вдали.

«Неужели это возможно, — подумал Сережа, — та спесивая на бульваре и эта, подавленная, обезумевшая в кустах — одна и та же?»

Окаменевшие мышцы устали, хотелось пошевелиться, глубже вздохнуть, еще более приглядеться к происходящему, чтоб разобраться, понять нечто его, Сережу, мучающее. Он двинулся ближе, что-то зашелестело, что-то вдруг хрустнуло и Кашонок мгновенно, как постоянно настороженный зверь, сорвался, распутал комбинацию своего тела с телом женщины, вскочил на крепкие ноги свои, свирепо, по-звериному бесстыдно повернулся, показав косорастущие на белом волосы, махнул — ужасающе, неправдоподобного огромного размера — мужским отростком-бичом. Женщина, которую Кашонок, когда вскочил, открыл полностью Сережиному взгляду, также поднялась, села, качнула большими белыми грудями, блеснула синим камушком в ложбине меж грудей. Большого Сережа разглядеть не успел, побежав от Кашонка, все так же мелькавшего свободно свисающим огромным отростком, который он на ходу прятал под синие плавки, скомкано висевшие на правом бедре. Кашонок пытался на бегу растянуть их и застегнуть на левом бедре, попасть пуговицами в петли. И пока он застегивал плавки, Сереже удалось оторваться от него на безопасное расстояние. Однако, справившись с плавками, Кашонок побежал широким спортивным шагом и начал настигать. «Искалечит, — в страхе думал Сережа, — искалечит, убьет!»

Вокруг было безлюдье загорода, лишь вдали мелькали среди огородов какие-то фигуры. «Надо бы крутануть», — подумал Сережа, слыша за плечами дыхание Кашонка и с ужасом ожидая мгновения, когда чужие железные пальцы вцепятся в плечо. Сережа «крутанул», ушел из-под толкнувших лишь, но не успевших сжаться пальцев и побежал назад к огородам. Кашонок что-то кричал, сначала издали, потом голос его начал приближаться и опять стало слышно его дыхание. «Не уйти», — задыхаясь от усталости, с отчаяньем думал Сережа. Огороды, к которым он бежал, были пусты, лишь кое-где мелькали белые женские платочки. Впереди показался бревенчатый мостик через мутный ручей, постоянно текущий из городской бани. Этот мостик над банным ручьем, мокрый,

скользкий, никогда не просыхал, даже в сильную жару, от ручья дурно пахло баннным мылом и грязным бельем. «На мостике догонит»,— в страхе решил Сережа.

Перед мостиком Сережа зажмурился, присел, по инстинкту пригнул голову, а потом вдруг разогнулся, точно кто-то другой распрямил его и воткнул головой в потное, горячее, чужое тело. За спиной всхрапнуло по-лошадиному. Сережа не оглядываясь побежал, балансируя по скользкому мостику, и лишь возле первых городских домов остановился. Кашонок силился подняться с земли, цепляясь руками за воздух. Наконец он встал, согнувшись, прижав руки к животу. «Ну, тепер ь уж в городе не показывайся,— подумал Сережа, — а на лодочную станцию или на пляж — тем более...»

События этого последнего, зеленого дня привели Сережу в состояние ненормальное. Вчерашние видения обрывками, кусками мелькали, когда он шел по Бэлочкиному переулку, когда он подходил к Бэлочкиному дому и когда он поднимался вверх по Бэлочкиной лестнице. «Неужели я и Бэлочка будем так же, как вчера Кашонок с той женщиной под кустами?... Это сырое мясо...» — его передернуло. Вдруг на последней лестничной площадке мелькнуло: «Убежать! Повернуть назад, сказать больным...» Действительно, во рту было сухо, как во время болезни. Он долго стоял перед дверью, не решаясь звонить и борясь с ужасным желанием повернуть назад, сбежать по лестнице вниз, уйти, а там что-либо придумать, как-нибудь миновать то, что тепер ь предстояло, и потом опять встречаться с Бэлочкой, но без этого... «Без этого мяса». Он так и не позвонил, потому что дверь открылась сама собой.

— Я тебя почувствовала, — сказала Бэлочка, появившись в проеме дверей.

Она стояла перед ним очень красивая и очень взрослая, даже как бы выше ростом; в первое мгновение ему показалось, что это не Бэлочка, а Мери Яковлевна. Бэлочка улыбалась густо накрашенным большим ртом, глаза ее были подведены, лицо припудрено, и в ушах блистали камушки. Взяв Сережу за руку, она потащила его на себя, втощила в переднюю, захлопнула дверь. И едва она обвила шею его руками и губами припала к губам, как все страхи и сомнения исчезли, Бэлочкин страстный порыв

передался Сереже. Он обнял Бэлочку крепко, до хруста костей, однако меж поцелуями, задыхаясь, она повторяла шепотом:

— Сильней, сильней, сильней...

Едва захлопнулась дверь и они остались одни в квартире, как Бэлочка почему-то начала говорить шепотом и Сережа, ей подчинившись, шепотом отвечал.

— Пойдем, — прошептала Бэлочка, — пойдем, — и пома-нила его за собой.

Они прошли мимо вешалки, где когда-то, много лет назад, впервые поцеловались, прошли столовую, и Сережа хотел было войти в Бэлочкину комнату, но Бэлочка поманила его дальше и привела в спальню Мери Яковлевны, где пол был застлан большим, мягким ворсистым ковром и стояла широкая, со свежим бельем постель. При виде этой постели у Сережи рывками застучало сердце и словно бы заложило грудь — так, что хотелось прокашляться. Дыхание его стало шумным.

— Сейчас, Сережа, сейчас, — сказала Бэлочка.

Глянув на постель, она, точно вспомнив что-то, подбежала к комоду, стуча каблуками. На ней были туфли Мери Яковлевны, несколько ей великоватые, но делающие ее выше ростом.

Выдвинув один из ящиков, Бэлочка выкула сложенную вчетверо простыню, понесла и положила поверх застланной.

— Ведь будет кровь, — шепотом сказала она, глянув на Сережу своими близорукими темно-голубыми выпуклыми глазами. — Будет кровь! — волнуяще, загадочно, то ли тревожно, то ли радостно повторила она и вдруг запустила свои руки под белую юбочку и вытащила из-под этой белой юбочки розовые трусики, стащила их вниз по пухлым ножкам. Она подняла сперва одну ножку, потом другую и переступила через трусики, одернула юбку, слегка задравшуюся, и при этом мелькнула сухонькой складочкой, не мясной, тяжелой, а маленькой, как бы костяной. Сережа подумал, что так мелькало уж перед ним давно в детском садике, когда девочки садились на ночной горшок.

— Почему ты стоишь? — спросила Бэлочка, глянув на неподвижного Сережу. — Раздевайся... Сними штаны.

Дрожащими руками, лихорадочно, торопливо, точно его принуждали оружием, путаясь и цепляясь, гремя пряжкой

пояса, Сережа начал стаскивать штаны, прыгая неловко на одной ноге, и вдруг упал. Бэлочка засмеялась.

— Ну, хорошо, — сказала, — я отвернусь... Трусы сними тоже и надень это. — Она протянула ему пакетик. — Это презерватив... Я боюсь, Сережа! Если я забеременею, как Лариса, то повешусь, — сказала она, улыбнувшись и опять поглядев на Сережу, точно он убеждал ее в обратном, хотя Сережа с тех пор, как начал стаскивать штаны, не проронил ни слова. — Это очень просто и легко надевается, натяни туда... — Бэлочка засмеялась.

Отвернувшись, Сережа начал неумело натягивать телесную кишку, но она была велика, болталась.

— Сережа! — нетерпеливо позвала Бэлочка.

Он повернулся к ней. Она смело стояла перед ним совершенно голая, тело у нее было несколько полновато, на животике жировые полоски, стояла выставив вперед, навстречу Сереже, две аккуратные грудки с темно-красными, неразвитыми еще сосками и подобрав под себя, спрятав под темный, шелковый треугольничек складочку. Сережа как в забытьи шагнул к ней, мелькнув на мгновение в зеркале и сам себя испугав своим диким, чужим видом. Подбежав к Бэлочке, Сережа неловко толкнул ее, и они оба упали на постель, поперек.

— Подожди, подожди, — шептала Бэлочка, — надо лечь по-другому.

Она ухватилась за спинку кровати, подтянулась на руках, легла посреди постели, и Сережа, вспомнив все, что он знал и представлял о том, что должно сейчас происходить, начал раскачиваться, напрягаясь в поясице и ягодицах, но все попадая мимо складочки в мягкое — в пухлый животик, в пухлые ляжечки... Оба тяжело, шумно дышали, обоим было жарко.

— Нет, — сквозь зубы отзывалась Бэлочка на каждое его неметкое попадание, — нет... Пониже... Нет... — и вдруг взвыла, точно так же, как жена полковника Харохорина под кустами: — А-а-а... О-о-о... — и вывернулась набок, как от удара, но затем снова перекатившись на спину. — Еще, еще, — молила она незнакомым, певучим, чужим, напугавшим Сережу голосом и своими, совсем почерневшими, утратившими голубизну глазами. — Еще, еще...

Однако, Сережа, случайно попавший в сухую складочку и испытавший при этом гораздо меньше удовольствия, чем когда он попадал в пухлые ляжечки или мягкий животик, вторично никак не попал. Во рту его уже был горький привкус, а тело стало скользким, в испарине.

— Еще, еще, — подгоняла, заставляла, требовала Бэлочка.

Бэлочка ли? Сережа глянул на ее лицо и не узнал, оно было чужим, искаженным, злым, неприятным.

— Сними эту гадость, — сердито, нервно крикнула Бэлочка и стащила с Сережиного вялого мужского отростка презерватив, больно при этом ущипнув, так, что Сережа невольно вскрикнул. Но Бэлочка безжалостно, не обращая внимания на его крик, вцепилась руками ему в плечи, как хватают во время борьбы или драки, необычайно сильно для такой девочки, снова причинив боль, и под влиянием этой возбуждающей боли, а также свободы от мешавшего, болтавшегося презерватива, Сережа окреп, вновь начал усиленно раскачиваться, точно бороться с Бэлочкой, размахивая бедрами, попадая по мягкому, по мягкому, а потом раз и другой и третий по твердому, по складочке, которая несколько подалась, несколько размякла.

— А-а-а... — закричала Бэлочка. — О-о-о... Еще, еще, — и вдруг кровь потекла на постель. — Кровь! — крикнула Бэлочка. — Кровь... А-а-а... О-о-о... Еще! Еще...

Но сил у Сережи больше не было и через мгновение-другое Бэлочка поняла, что кровь течет из Сережиного носа. Совершенно обессиленный лежал Сережа рядом с Бэлочкой, также изнеможенной, поблекшей, с мокрыми растрепанными волосами, с мокрым лицом, на котором видны были сырые пятна пудры, с размазанной по щекам губной помадой. Столь долго ожидаемое наслаждение, так давно задуманное счастье обмануло, не состоялось, и оба чувствовали себя точно обманутые друг другом, у обоих нарастало друг против друга раздражение, почти злорада.

Мир вокруг между тем вновь обрстал привычными деталями: опять светило солнце, опять ветер шелестел занавесками на окнах и все вещи знакомо расположились по своим местам. И оттого, что вокруг ничего не изменилось, оттого, что

все вокруг проявило полное безразличие к случившемуся, Сережа испытал приступ такой обжигающей тоски, такого гибельного отчаяния, что в тот момент ему искренне захотелось умереть и смерть показалась счастьем. Наверное, то же чувствовала и Бэлочка. Взяв в охапку свою мятую одежду, прижимая ладонь к носу, Сережа пошел в ванную, помыл лицо, смочил клочки ваты и заткнул левую ноздрю, поскольку из правой течь уже перестало. Когда он вышел, Бэлочка тоже была одета, расчесывала перед зеркалом растрепанные мокрые волосы. Не зная, что говорить, Сережа стоял, глядя, как Бэлочка причешивается. Наконец он сказал:

— Я пойду?

— Иди, — ответила Белочка, не оборачиваясь.

Они прежде никогда так не расставались, спина к спине.

Сережа шел по улице, как в тумане. «Умереть, — думал он, — убить себя, как Коля Борисов. Самопал можно взять у Афоньки...»

Он не помнил, как пришел домой. К счастью, отца дома не было, он был на дежурстве, а Настасья — натура грубая, однозначная — на Серезино заторможенное состояние внимания не обратила. Она подала ему обед, борщ да жаренку, которые он жадно съел, потому что от потраченных сил явилось вдруг жгучее чувство голода. Настасья, видя, как жадно он ест, подала еще. Он съел еще. Потом, утомленный, измученный, лег и уснул.

Иван Владимирович, вернувшись с дежурства, застал Серезу спящим в одежде. Решив, что тот где-то вновь путешествовал за городом и утомился, Иван Владимирович разбудил сына, осторожно коснувшись. Увидев отца, Сережа постарался спокойно улыбнуться, чтоб скрыть происшедшее и свою мысль о самоубийстве. Он покорно разделся, лег под одеяло и тут же вновь мертво уснул. Лишь на рассвете, когда Иван Владимирович проснулся по своей нужде, ему почудилось в спящем сыне что-то тревожное. Он тихо подошел, поправил одеяло, коснулся торчащих из-под одеяла Серезиных ступней. Ступни были холодны как лед. Не будя Настасью, Иван Владимирович сам нагрел воду в кастрюле, налил в грелку и приложил к Серезиным ступням, а потом осторожно помог

Сереее повернуться на спину, ибо спал Сереее на левом боку, сдавив левую часть грудной клетки и затрудняя этим работу сердца.

Утром, за завтраком, тревожно поглядывая на сына, но не решаясь впрямую спросить о том, что того мучает и что от него скрывают, Иван Владимирович попытался начать издаалека и быть с Серееей поласковой, а если тот что-либо совершил неприятное, то Иван Владимирович заранее поклялся проявить терпение, простить и помочь.

— Ты, Сереее, неудачно спал на левом боку, — сказал Иван Владимирович, — так, дружище, нельзя. Сердце наше на нас трудолюбиво работает всю нашу жизнь, и мы должны ему помогать, а не мешать. Знаешь ли, дружище, как хитро устроено наше сердце? — Иван Владимирович в два укуса доел свой бутерброд, запил остатками кофе, вытер рот и руки салфеткой. — Представь себе, дружище, как работает наше сердце. Вот моя рука, а вот это мой пиджачный карман. Если мы ведем руку от донышка пиджачного кармана, то есть снизу вверх, — Иван Владимирович встал и повел свою руку снизу, — вот так, то только приглаживаем карман. Но если проводим руку над карманом сверху вниз, — Иван Владимирович повел руку сверху, — то рука неминуемо попадает в карман. Подобным же образом, дружище, когда кровь течет из сердечного желудочка в артерию, она только приглаживает карман артериального клапана, когда же течет из артерии в сердечный желудочек, то попадает внутрь клапана...

«Кровь, — подумал Сереее, стараясь сохранить на лице своем интерес к рассказанному, — кровь... Самопал можно взять у Афоньки...»

У Сереееи более не было никаких чувств, даже тоски и отчаяния не было, а один лишь расчет, как лучше свершить задуманное, и одна лишь хитрость, как лучше это задуманное скрыть.

— Значит, вниз мимо кармана, а вверх в карман, — сказал Сереееа, чтоб показать, что рассказанное отцом его заинтересовало.

— Наоборот, дружище! Вниз в карман, то есть кровь попадает в артериальный клапан.

«Кровь, кровь, — думал Сережа, — Бэлочка ждала крови... Но кровь текла у меня, из моего носа...» Он вдруг засмеялся нервно, звонко, как не смеялся никогда.

— Разве я что-либо смешное сказал? — Иван Владимирович тревожно посмотрел на сына.

— Да, папа... Вверх, вниз!.. Кровь сверху вниз на постель...

Его вдруг затошнило, стало противно и от съеденного им и от стоящего на столе, захотелось что-нибудь выпить. Он торопливо встал из-за стола и прошел в свою комнату, осматриваясь по сторонам. На полке стояла большая бутылка чернил. Сережа схватил ее, откупорил и начал пить, запрокинув голову...

Позднее, когда Сережа уже лежал в постели, когда ему был сделан успокоительный укол и он засыпал, ровно дыша, хоть и с бледным, покрытым красными пятнами лицом, невропатолог Першиц, срочно вызванный, тихо говорил в столовой Ивану Владимировичу:

— Все утрясется, коллега. Обычная истерия подростка. Наверное, сердечная драма. Возможно, и половые проблемы. Это отчасти и по вашей части. Ведь психика подростка близка к женской. Недаром *hystera* — по-гречески — матка. То, что раньше считалось болезнью только зрелого женского организма и связывалось с болезнью женского полового аппарата, теперь, увы, приходится распространять даже на зрелых мужчин. Тем более на подростков. Три-четыре дня, неделька, и он будет здоров... Пил чернила? Что ж, и уксус пьют, и мел едят, и песок едят от всякого рода подобных потрясений. Конечно, всякое бывает... Бывает и суицидомания...

— Вот это-то меня и пугает! У его матери тоже случалось подобное... Стремление к самоубийству.

— В данном случае не думаю, коллега. Три-четыре дня, неделька, и все утрясется.

Действительно, через несколько дней Сережа был уже физически здоров, хотя мысль об Афонькином самопале не оставляла его.

Мысль эта была глубоко упрятана, но Сережа ее постоянно чувствовал, словно гвоздь, вбитый по шляпку в темя.

Когда через несколько дней Сережа впервые вышел из дому, кто ощущения от раннего утра были свежи, дышалось легко, но в то же время гвоздь в темени неотступно напоминал о себе.

При Сережином пробуждении светило солнце, однако когда он вышел на улицу, солнечный свет померк, сначала время от времени еще вспыхивая, а затем прочно заглушенный низкими дождевыми тучами. В летний, пасмурный, теплый день обостряются запахи, яснее слышны птичьи крики и всюду, во всем, — ожидание, во всем переходное состояние, неустойчивость, неподвижность. Особенно это чувствуется в поле, где неподвижные колосья и высокая луговая трава, чувствуется в лесу, где неподвижные ветки деревьев ожидают дуновения ветра. Или у реки, где неподвижная гладь воды ожидает первой ряби, первых морщин, от которых еще сильнее закричат чайки и закачаются, гремя цепями, лодки. Сережа шел среди этого общего ожидания, сам таким же ожиданием переполненный.

У лодочной станции Афонька с Костей Кашонком возились на пристани, закрепляя парусиновый тент, видно, перед дождем. Едва глянув, Сережа вспомнил, что с Кашонком лучше ему не встречаться. Однако Кашонок посмотрел на него без злобы и усмехнулся.

— Эй, ты, шницель, поди сюда. Я таких ребят люблю. Крепко он меня на калган тогда взял, — сказал Кашонок, повернувшись к Афоньке.

— Поди сюда, Сука, — ободряюще позвал и Афонька.

«Пойду, — решил Сережа, — иначе где же взять самопал?»

— Давай на вась-вась, — сказал Кашонок и протянул Сереже свою твердую, как наждак, ладонь.

Меж тем вокруг уж шумело, клокотало, раздувало пузырям рубахи, рвало, ворошило волосы, рвало, потрошило ветви деревьев.

— Держи! — крикнул Кашонок, потому что парусиновый тент над помостом рвануло к небу, точно он собирался взлететь. — Держи конец! — и бросил мокрый, жесткий канат, за который Сережа и ухватился.

Вместе с Кашонком и Афонькой Сережа, упираясь ногами в помост, приземлил, усмирил тент. Разгоряченный этой борь-

бой, обдуваемый влажным порывистым ветром, Сережа почти забыл — так ему показалось, — ради чего пришел на лодочную станцию, но гвоздь в темени тут же и подсказал, напомнил: за самопалом. Чтоб убить себя. Выбрав момент, когда Кашонок отошел, Сережа приблизился к Афоньке и уже хотел начать разговор о самопале, но Афонькины глаза весело смотрели мимо Сережи куда-то в сторону пляжа.

— Гляди, — крикнул Афонька Кашонку, — твоя полковница бежит!

— Где?

— Туда смотри.

Сережа тоже посмотрел в сторону, куда указывал Афонька.

— Кира! — крикнул Кашонок, сложив ладони рупором у рта. — Товарищ Харохорина!

Лицо Харохориной было теперь не такое, каким видел его Сережа на бульваре, — важное, застывшее, но и не такое, каким видел его Сережа в кустах, — мертвое, пугающее, безумное. Это было лицо озорное, сияющее, играющее, зовущее к себе. Ветер рвал на Кире цветной сарафан, точно пытаясь ее раздеть, а она весело сопротивлялась охальнику, удерживая полы сарафана обеими руками. Но, когда пыталась одну руку использовать, чтоб убрать застилающие глаза темно-русые волосы, ветер рванул сарафан кверху, обнажив длинные стройные ноги, какие Сережа видел только у статуй в парке, мелькнули голубые трусики, притягивающие взгляд так, что у Сережи застучало сердце и он со стыдом ощутил свою вспухшую, горячую промежность. Он тревожно оглянулся, но Кашонок и Афонька смотрели не на него, а на Киру.

— Буря какая, мальчики, — говорила Кира Харохорина волнующим, возбуждающим голосом, — а я, дура, на пляж собралась.

— Буря стороной пройдет, — сказал Кашонок и указал на дальний берег, над которым было темно и блистали молнии. — Все туда пойдет, в камыши.

— Ах, досада, — сказала Кира Харохорина, — а я как раз туда и хотела. Лилий нарвать хочу. Лилии там красивые. — Она засмеялась возбуждающим смехом.

Впрочем, что бы она ни делала, — смеялась ли, говорила ли, просто молчала, — все возбуждало Сережу, и он досадовал на себя, старался не смотреть на Киру, но глаза его сами собой к ней возвращались. Кашонок взял Киру за руку, отчего у Сережи завистливо застучало в висках, и Кира с Кашонком пошла к дощатому бараку лодочной станции.

— Крепка лакшевка, — сказал Афонька, глядя на обутые в сандалии без каблуков ноги Киры Харохориной, легко, волнуяще ступающие рядом с косолапой, крепкой поступью босых ног Кашонка. — Хороша! Муж у ней летун, полковник, Герой Союза. Привез на отдых к тетке, у ней тетка здесь, привез, а сам уехал. Муж ее любит, балует, а она курва... Она деньгам счета не знает. Послала меня за пивом, дала кучу денег, принес пиво и сдачу, удивилась, что столько пива и еще сдача есть. Косте Кашонку куртку кожаную летнюю подарила, совсем новую, и часы летные. Вообще она добрая...

— Афонька, поди сюда, — позвал Кашонок, выйдя из барака.

Афонька подбежал к Кашонку, что-то с ним обсудил и, вернувшись, спросил Сережу:

— Поедешь со мной на тот берег? Киру Харохорину повезем. Кира хочет лилий нарвать, а Косте некогда.

Сереже страсть как хотелось поехать, но что-то пугало.

— Ведь буря, — сказал он, чтоб как-то оправдаться и скрыть свое желание и испуг.

— Буря утихает.

И верно, утихли на берегу деревья, кусты, а волнующий шум ветра перешел в однообразно успокаивающий шелест дождя по листьям и гулкой барабанный бой по парусиновому тенту. Но вода по-прежнему мятежно волновалась, покрытая до самого дальнего, едва виднеющегося берега белыми барашками, белыми, пенистыми раскатами волн.

— Хорошо, — сказал Кашонок, — бузу перетрет. А то водоем уже позеленел от застойной жары, вода уже до дна зацвела.

— Я спасательную шлюпку возьму, — сказал Афонька, — на пляже все равно никого нет. Где Кира?

— Она в бараке переодевается, — ответил Кашонок и пошел к бараку.

— Поехали, Серега! — сказал Афонька, приблизившись, дохнув в лицо луком и пивом, блеснув весело глазами, и вдруг тихо добавил: — Поехали... Мы там Киру Харохорину в два хрена отхарохорим.

У Сережи от этих слов Афоньки, от его блеснувших глаз сильно забилося сердце, но стало и страшно. Он сказал, досадуя на себя, но все-таки сказал:

— Не поеду! — а ехать страсть как хотелось.

— Ну смотри, твое дело хозяйское, — ответил Афонька, начав возиться со шлюпкой, отвязывая ее, гремя цепью.

В это время Кира в желтых маленьких плавочках, тесно сидевших на крепких, хорошо развитых бедрах, и в желтом бюстгалтере, тесно обтягивающем крепкую грудь, подняв над головой кожаную белую сумку, показывая при этом волосатые подмышки, смеясь и взвизгивая от хлеставшего ее дождя, шлепая по лужам босыми ногами с аккуратными пальчиками, покрытыми красным лаком, гремя браслетами на голой руке, поблескивая синим камушком на груди, побежала к тенту, под которым стояли Сережа и Афонька.

— Будьте знакомы, — сказал Афонька, опять весело с намеком блеснув глазами в сторону Сережи, — это Кира Харохорина. А это Сережа Суковатых.

Кира подала Сереже свою крепкую, мокрую ладошку, взглянув кошачьим, зеленоватым глазом, и словно обдала исходящим от нее запахом дождя и духов. Синий камушек на ее груди таинственно поблескивал, точно намекал на что-то.

— Мы где-то уже встречались, — сказала Кира, — а где, не припомню, — и захохотала, захохотала, блестя камушком и гремя браслетами.

Сережа стоял перед ней растрепанный, не зная, что сказать, как себя вести, и жалея, что не переборол себя, не ушел.

— Ладно, Кира, ты мальчика не смущай, — тоже весело, в живом легком ритме сказал Афонька и что-то начал шептать Кире на ухо, отчего она залилась, залилась смехом.

«Надо было уйти, надо было уйти, — с досадой повторял Сережа, все сильнее чувствуя свою вспухшую, затвердевшую промежность, — надо бежать», — думал, но продолжал стоять, как замороженный, и смотреть на Киру.

Пока он так стоял в напряжении, мучаясь с нею рядом, Афонька подогнал к дощатому помосту большую, белую с синей полосой шлюпку. На борту шлюпки была синяя надпись — «Спасательная», а на корме мокро провисал флажок, белый с синей буквой «Т».

— Дождь теплый, — сказал Афонька, сидя на веслах в одних красных плавках, — прыгайте по одному.

Кира ловко прыгнула, держа сумку, в которой была сложена одежда. Взвизгнув от зашлепавших по телу дождевых струй, она поставила сумку под кормовое сиденье и уселась на корме.

— Раздевайся, Сережа, — сказал Афонька.

— У меня плавок нет, я в трусах, — ответил Сережа, пытаясь воспользоваться обстоятельством, уговорить себя не ехать.

— Сойдет и в трусах.

— А в одежде можно?

— Ну смотри... Промокнешь.

— Может, в следующий раз?

— Раз на раз не приходится, верно, Кира? — ответил Афонька и опять засмеялся с намеком. — Едешь или нет?

Сережа решил: «Не еду», но неожиданно прыгнул в шлюпку, прыгнул неловко, едва не упав. Дождь сразу же начал хлестать его, затекая под рубашку, за ворот, вызывая неприятный озноб. Скользя по мокрому днищу шлюпки, согнувшись, Сережа полез на нос. Сильно загребая, Афонька отъехал от берега. Он греб с придыхом: хе-хе-хе... Волны, хлеставшие о борт и обдававшие брызгами, помогали Афонькиным гребкам, и лодку быстро унесло довольно далеко от берега. Берег уменьшился, потерял детали, слился в единую черно-зеленую затуманенную дождем массу. Другой берег, также затуманенный дождем, оставался вовсе неразличим. Вода была со всех сторон: сверху, снизу, слева, справа и все хлестала, все хлестала с одной стороны — в накренившийся правый борт.

— Э, друзья, поменяйтесь местами, — сказал Афонька, перестав грести, подняв весла, — шлюпка тяжело идет, нос перегружен, корма недогружена... Ты, Сережа, садись на корму, а ты, Кира, на нос.

Сереза встал и, балансируя, перелезая через сиденья, спотыкаясь, пошел к корме. Кира пошла ему навстречу. Он видел, как ее фигура приближается, неясная в дождевом мареве, и, не дойдя до Афоньки, сидевшего к нему спиной на веслах, Сереза приостановился, посторонился, прижался к борту, чтоб пропустить Киру, желая и страшась прикосновений. Кира подошла вплотную, но вместо того, чтоб так же пролезть боком, явно умышленно, неловко пошатнулась, поскользнулась на мокром днище, взвизгнула, схватилась за Серезу, и он невольно схватил ее, чтоб удержаться на ногах, не упасть. Сереза ощутил мокрый, округлый окорок ноги, мокрое, тугое бедро, мокрую тугую грудь с соском, выскользнувшим из-под съехавшего бюстгальтера, и, когда они так цеплялись друг за друга, словно боролись, он вдруг почувствовал ее цепкие пальцы, которые крепко, до боли сжали, сдавили его опухшую промежность, его крайнюю плоть.

— Смотрите в воду не попадайте, — сказал Афонька, сидевший спиной к ним на веслах. — Спасай вас потом!

Сереза, почти вырвав свою крайнюю плоть из цепких Кириных пальцев, пробрался на корму, чувствуя приятную боль, от которой по телу, но взволнованному лицу распространялся лихорадочный жар. А Кира как ни в чем не бывало улеглась на носу, раскинула руки и ноги, весело повторяя:

— Ой, мальчики, хорошо!.. Ой, умру!.. Ой, хорошо!..

— Сними одежду, простудишься, — сказал Афонька Серезе.

Сереза снял мокрую рубашку, но мокрые брюки снять не решился, чтоб не обнаружить опухоль в промежности. Поэтому он лишь закатал их до колен.

— Садись, Сереза, на весла, я умаялся, — сказал Афонька.

Сереза обрадованно полез сменить Афоньку, обрадованно схватил весла, решив извести свои силы на усталость и тем обессилить опухоль, которая особенно сладостно жгла после цепких Кириных пальцев. Сереза греб, напрягая живот над опухолью, рывками, шлюпка шла быстро, но неровно, весла то глубоко погружались в воду, так что Серезины мускулы радостно преодолевали сопротивление водной толщи, то — скользили по поверхности воды, не вызывая у Серезы никаких усилий и обдавая его самого и остальных водопадом брызг.

— Вот это мужчина, — засмеялась Кира, — сразу видно: силен в гребле...

Афонька, засмеявшийся в ответ на сказанное Кирой с намеком, посмотрел на нее, а потом обернулся к Сереже.

— Дай я сяду, — сказал он, — а то ты нас еще потопишь.

И Кира отозвалась чем-то, чего Сережа не расслышал и отчего Афонька засмеялся вновь.

«Зачем я поехал, — начал казнить себя Сережа, — ведь я для иного пришел, ведь я иное задумал». Однако вернуть себя к прежнему замыслу он уже не мог, тем более что гвоздь из темени исчез сам собой.

— Ты не обижайся, — сказал Афонька. — Кира тебя дразнит, потому что влюбилась, а ты не понимаешь. Вот выпей — поймешь, — и протянул бутылку. Видно, Кира и Афонька уже прикладывались, пока Сережа греб в дождевом мареве, опустив от усилий глаза. Бутылка была наполовину пуста.

— Пей из горла, стаканов нету, — сказал Афонька.

Сережа приложился к горлу бутылки, глотнул, обжег себе гортань, передохнул и начал уже глотать спокойней. Запахло дымом, Афонька светил папиросой.

— Хочешь сена? — спросил он Сережу.

— Нет, — ответил Сережа, чувствуя, как деревенеет от выпитого лоб и глохнут уши.

— А я закурю, — словно издали сказала Кира, — мне всегда хочется курить перед... — и вдруг открыто, бесстыдно сказала уличное слово.

Сережа от неожиданности как бы поперхнулся, но, слыша Афонькин смех, и сам засмеялся, потому что от выпитого стало легко и радостно, хотелось веселья и криков.

— Берег! — закричал Сережа. — Земля... Е-ге-ге-ге!

Показались заросли березового кустарника, зашуршали камыши.

— Здесь лилий много, — сказала Кира и показала на белые, колышущиеся на воде цветы. — Страсть как лилии люблю!

Шлюпка коснулась берега. Берег был здесь топким, болотистым, пахло мокрым торфом, приятно было ступать босыми ногами по хлюпающей, пружинистой, теплой земле.

— Ой, мальчики, догоняйте! — озорно, как шалая школьница, крикнула Кира и побежала вверх по косогору, скрылась за мокрыми березами.

— Ты первую ходку делаешь? — деловито спросил Афонька Сережу.

— Нет, ты, — торопливо ответил Сережа, стараясь оттянуть желанный, но пугающий момент.

Вдруг Кира вышла из березовых зарослей голая, держа в одной поднятой руке трусики, а в другой бюстгальтер. Грудь ее, большая, но словно литая, также приподнялась вслед за руками, и круглый живот тянулся кверху, обнажая то, что было под ним, под небольшой, темно-русой зарослью, и это опять причинило Сереже знакомо жгучую боль в перенапряженной промежности, хотя Кира на этот раз была в отдалении и не прикасалась к ней пальцами.

— Мальчики, кто мне лилий принесет, — крикнула Кира, — того сильнее любить буду... Мальчики, догоняйте! — и опять побежала, опять скрылась в березовых зарослях.

— Пойди за лилиями, — сказал Афонька, прыгая на одной ноге, стаскивая плавки и затем, мелькая белой задницей, побежал к березовым зарослям.

Там послышались смех, визг, шумное дыхание, треск ветвей, и все оборвалось, замолкло, словно потухло, и так две-три минуты в полной тишине, а потом вновь начало разгораться, шуметь, дышать. У Сережи от выпитой водки по-прежнему деревенел лоб, в ушах точно вата была, и этот полуоглохший Сережа побежал к берегу, чтоб нарвать лилий, побежал, ужасно возбуждаемый криками из-за березовых зарослей и ароматным смолистым запахом березовых листьев.

Скользя у топкого берега, лихорадочно торопясь, несколько раз едва не упав, он, прежде чем войти в темнеющую, глинистую прибрежную воду, все-таки попробовал ее кончиками пальцев, затем торопливо шагнул, провалился в грязь, глубоко обеими ногами, и тотчас острая боль в правой ступне, сбоку у большого пальца проколола его снизу вверх до самой шеи. «Порезал ногу», — подумал он с испугом и досадой. С досадой более, чем с испугом, потому что надо было добраться до лилий, колыхавшихся на воде метрах в трех. После первого ост-

рого укола боль стала слабее, спокойнее, но когда Сережа вытащил из грязи ногу, чтоб шагнуть к лилиям, вместе с поднятой со дна илистой грязью поднялась и красная вода. «Кровь», — тревожно подумал Сережа, продолжая, однако, пробираться к лилиям и каждым своим шагом вызывая со дна потоки грязи и крови. Наконец он достиг первой, ближней лилии, вцепился в скользкий стебель, потянул. Лилия не подалась, лишь поднявшись из воды. Пришлось долго бороться, сжав зубы, рвать, крутить стебель, пока лилия не оказалась в руках. Но до второй лилии было, пожалуй, уже не добраться с поднимающейся в ноге болью, поэтому Сережа повернул назад. Схватившись за ветку растущего у берега березового куста, он рывком выбрался из воды и, продолжая держаться за ветку, опустил ногу в воду, отмыл от грязи. Кровь сочилась из разреза у большого пальца, стоять, а тем более идти можно было, лишь опираясь на пятку.

«Эк, не вовремя! — с тоскливой досадой подумал Сережа. — Осторожней не мог, болван!..» Он сорвал виднеющийся в траве лист подорожника, приложил к ране, но тот с первым же шагом отстал, упал, измазанный кровью; и от вида подорожника и травы, измазанных кровью, у Сережи вдруг закружилась голова и поплыло перед глазами. Переждав и несколько придя в себя, он оторвал от трусов лоскут материи и, приклеив к ране, шагнул. Лоскут, пропитавшись кровью, держался, болеть стало меньше, и можно было даже, ступая на пятку, ускорить шаг.

Когда Сережа, скользя по косогору, добрался к знакомым уже березкам, заглянул, как за занавеску, раздвинув кусты, Кири сидела одна, поджав под себя колени, и курила. Эта спокойная Кирина поза показалась Сереже ужасно соблазнительной, возбуждающей. Вот она, сидящая боком, повернулась к нему лицом, и меж тяжелых литых ляжек под темно-русою зарослью он увидел то самое, свободно вывернутое, мясное. Истома вошла из тела в кости, в позвоночник, опустилась к пояснице, желая наружу, но, не имея выхода, давила и давила вниз, от поясницы к все заглушающей в Сереже опухоли, к такой опухоли, какую прежде, еще минуту-другую назад, нельзя было представить, — вот-вот готовой лопнуть от собственного перенапряжения. Говорить Сережа не мог, ему казалось, что он что-то спрашивает, но голос глох в горле. Поэтому он молча протянул лилию Кире.

— Какое чудо! — умиленно сказала Кира. — Иди сюда, мальчик, я тебя поцелую, — сказала она, отбросив папиросу далеко в кусты. — Иди сюда! — раскрыла объятия.

Стараясь опираться на левую здоровую ногу и не обнаруживать своего ранения, Сережа шагнул к Кире, она подняла руку к лилии и вдруг вместо лилии цепко схватила Сережу за запястье, рывком потянула к себе.

— Трусыними, трусы, — тихо, сквозь зубы сказала она и сама рванула трусы на Сереже вниз, освободила набухшую Сережину промежность.

Как тогда у Бэлочки, представляя, как это должно быть, Сережа быстро, быстро задвигался в поясище, дергая бедрами, попадая в мягкое, мягкое.

— Нет, — засмеялась Кира, — нет... Ноги раздвинь... Нет... Нет... Ах...

«Ах!» — мысленно произнес и Сережа, ощутив в животе пустоту, как случается, когда неожиданно куда-то проваливаешься. Так впервые он словно бы провалился, так впервые познал он женскую глубину, но уже со второго, третьего движения поняв мягкую податливость того, что его прежде пугало, поняв всю несложность и простоту желанного наслаждения, он двигался, двигался, с радостью обнаружив в себе умение и море сил, чтоб так двигаться, и уже господствуя над Кирой, которая давно кричала, молила его: А-а-а!.. О-о-о!..

— Ох-ох-ох, — кричал уже и Сережа.

— Ох-ах-ох, — кричали рядом.

И едва Сережа ощутил присутствие третьего, присутствие Афоньки, как силы, казавшиеся до того безграничными, начали его оставлять и опять пришла боль снизу.

— Кровь, — весело кричала Кира, по ляжке которой текла кровь, — кровь... Ой, мальчики, я опять девочка!

Сережа сполз с Киры вбок. Опухоль его противно, липко размякла. Кира и Афонька, и он сам были уже противны, до слез отвратительны! И если бы было можно, он побежал бы прочь без оглядки, но от себя ведь не побежишь, и к тому же болела нога.

Вместо обмякшей промежности теперь твердела, горячо опухала нога.

— Береговичком порезал, — сказал Афонька, разглядывая Сережин порез, от которого отстал, отслоился пропитанный кровью кусок материи, — раковиной. Они тут в грязи возле берега, не сосчитать сколько! Береговик режет сильнее стекла.

— Этот мальчик мне удовольствие сделал, — сказала Кира, поднимая с травы поломанную, смятую лилию, — меня теперь совесть мучает, я виновата, послала его.

— При чем тут ты, Кира, не маленький он, осторожней надо. Да и вообще не страшно, какой мужчина без шрамов.

— Я теперь перед ним в долгу, — сказала Кира.

— Ну ты-то долг отдашь, за тобой не пропадет, — сказал Афонька и подмигнул Сереже. — Идти можешь? — спросил он. — Тут недалеко, сразу за теми березами, пристань наша и шалашик. Там тебя перебинтуем, чаю попьем.

Сережа поднялся, попробовал шагнуть, но не получилось — застонал от боли.

— Ой, жалко мне тебя, — сказала Кира и подхватила, поддерживала Сережу.

— Помоги, помоги, — сказал Афонька и опять подмигнул Сереже, — а я пока шлюпку к пристани пригоню... Тут недалеко, дойдешь... Мне в прошлом году флотский один, рябчик, мессер воткнул, так я три километра шел с порезом.

Афонька повернулся и пошел к шлюпке, он был уже далеко, греб, пока не скрылся за мыском, поросшим кустарником.

— Пойдем, — сказала Кира Сереже, — на меня опирайся. Так лучше?

— Лучше, — ответил Сережа, опираясь на Киру.

Когда несколько утихла нога, опять начала набухать промежность, и Сережа злился и презирал себя за это.

Дождь между тем затихал, мутный воздух светлел, выглянуло солнце, и сразу же, как по команде, запели птицы. Сережа шел, опираясь на Киру с застывшей болью в ноге и вновь опухшей промежностью, шел, тесно схваченный Кирой, поддерживаемый ею и заботливо ею направляемый. Вокруг было просторное безлюдье, наполненное свежими острыми запахами, смесью речного и полевого воздуха, промытого долгим теплым дождем и теперь подсушенного проглянувшим солнцем.

— Под тем деревцом отдохнем, Сережа, — сказала Кира.

Они подошли к деревцу, молодой, пахучей стройной березке, с блестящих треугольных листьев светлыми слезами падали в траву дождевые капли. Белая, умытая кора, освещенная солнцем, тоже светилась.

— Я перед тобой в долгу, Сережа, — сказала Кира. — Хочешь, я тебе удовольствие сделаю? Ложись на траву, ногу держи осторожней.

И говоря это, она опустилась рядом с ним на колени, наклонилась, щекоча оголенный ею живот его концами своих длинных, темно-русых волос, пахнущих цветочным мылом, и этими тихими, ласковыми движениями ввергла Сережу в острое помешательство, потому что Кира, ласково щекоча, высасывала, пожирала опухоль, как насекомое пожирает насекомое, как хищник пожирает живое.

— А-а-а... О-о-о... — предсмертным хрипом закричал пожираемый Сережа и затих, умер.

Острая спутанность чувств, желание жить и желание умереть, аффект блаженства и предсердечная тоска — все, что испытывает жертва, когда хищник перегрызает ей горло, все это испытал Сережа перед тем, как умереть агнцом-непорочником и воскреснуть козлицем. Так осуществилась суицидомания, влечение подростка к самоубийству.

Пока Сережа, поддерживаемый Кирой, доковылял к пристани, Афонька успел уже и чайник на электроплитке согреть, и еду разложить, которую достал из Кириной сумки: вареную курицу, галеты, огурцы, яблоки. Была тут и непочатая бутылка водки.

— Где это вы, позорники, ходите так долго? — сердито спросил Афонька. — Ты, что ли, Кира, задержала?

Кира посмотрела весело и запела переливчатым голоском:

Мы на лодочке катались золотисто-
золотой.

Не гребли, а целовались, не качай,
брат, головой.

В лесу, говорят, в бору, говорят,
растет, говорят, сосенка,

Влюбилась в молодчика веселая
девчонка...

— Вот позорница! — усмехнулся Афонька и посмотрел на Сережу: — Видал ты когда-нибудь такую позорницу? — он снял чайник с плиты. — Садитесь, места хватит. Шалаш хорош, сухой, сам плел из еловых ветвей. И электропроводка незаконная имеется. Ее уже сколько обрезали, а мы с Кашонком восстанавливаем.

— Я чай не хочу, — сказала Кира, — я чего-нибудь погорячей.

Выпили водки, закусили. Кира Сереже то куриную ножку подсунет, то огурчик.

— Видать, Сережа тебе крепко угодил, — усмехнулся Афонька.

— Угодил, — ответила Кира, — молодость мою мне помог вспомнить, мужа моего первого — Кирюшу... Я Кира, он Кирюша, — сказала и загрустила, — хороший он был, чистый, светлый, на Сережу чем-то даже лицом похож. Но ревнивый, не приведи Господи, какой ревнивый! Работала я тогда секретаршей в райисполкоме, а он там же техником стройотдела. И вот раз вызывает его председатель к себе на ковер для доклада и он, представьте, на том ковре нашел пуговицу. Нашел и подобрал незаметно. Вроде бы шнурок на ботинке развязался — нагнулся и подобрал. Подобрал и что выдумал! Это, говорит, Кира, пуговица от твоего бюстгальтера. Такой, мальчики, был он ревнивый и дурной. Пристал, как Отелло... Помните, мальчики, кино? Только Отелло — платок, платок, а Кирюша — пуговицу, пуговицу. У меня тогда бюстгальтеров было не то что теперь, при полковничке. Тогда, при Кирюше, раз-два и обчелся. Какой тебе, спрашиваю, бюстгальтер, черный или белый? Черный, говорит. Посмотрел — вот, говорит, пуговица заново пришита. Это ты у Тараса Иосифовича раздевалась в кабинете, наследила... Обозвал меня блядью. Я как разревусь... Я тогда чистая девочка была, честная, а он меня блядью. Меня и теперь никто блядью не называет. Что ты смеешься? — вдруг злобно обернулась она к Афоньке. — Ты-то кто? Или Кашонок твой. Вот он, — она указала на Сережу, — он лилию мне принес. Он — Кирюша, а ты сволочь, сволочь!.. А я, — уж пьяно голосила Кира, — я тоже... Полковничек мой, он хороший, чистый, добрый, а я блядь, проститутка!

— Ладно тебе, Кира! — глядя на ее дергающееся лицо, сказал Афонька. — Ладно убиваться-то.

— Ой, мальчики, тяжело, — заплакала навзрыд Кира. — Ой, помереть страсть как хочется! Хотя бы сифилисом заболеть и после повеситься.

Болезненные, истеричные интонации, банальные слова будили в Серее чувство злобы и отвращения к этой женщине, с которой он только что был близок, с которой он впервые испытал телесное наслаждение.

— Мы с тобой, Афонька, уже пропащие, — продолжала пьяно голосить Кира, — мне вот его жалко, Кирюшу. Он чистый, светлый, честный... Я твою лилию, Кирюша, на память оставляю... Высушу...

Серее, мучаемый подступающей злобой и отвращением, приподнялся, дернулся от боли в ноге, грубо вырвал у Киры из рук лилию, разорвал, растерзал, разбросал.

— Чокнулся, что ли? — удивленно посмотрел на Серее Афонька.

— Идите вы! — крикнул Серее и выматерился со злобой и отчаянием.

Кира засмеялась, но более с Сереей не говорила. Назад ехали молча. Серее сидел на корме, мучаясь болью, но без этой боли в ноге ему бы сейчас было гораздо хуже. Тучи исчезли быстро, и день из прохладного с освежающим дождем превратился в слепяще-солнечный, изнуряющий. Кира сидела на носу с лицом безразличным, задумчивым, ангельски-неземным, как бывает у женщин после истерики. Когда пристали к лодочной станции, она попрощалась с Афонькой, даже не взглянув на Серее. Серее сел на просыхающую скамейку у лодочной станции, а Афонька, сбегав к бараку, привел велосипед, помог Серее взобраться на седло и, шагая рядом, повез его домой.

— Ты на меня обиду имеешь? — спросил он на прощание.

— Нет.

— Нога болит?

— Болит.

— Скоро залатают.

Залатали, однако, не скоро. Кожа вокруг раны была раздавлена и разорвана, а сама рана очень загрязнена землей, что

вызывало угрозу инфекции. Иван Владимирович, который оказался, к счастью, дома, первым делом промыл рану марганцовкой и посыпал борной кислотой. «Скорая помощь», где у Ивана Владимировича были знакомые, приехала быстро, и вскоре Сережа уже лежал на операционном столе. Когда ему вводили противогангреновую и противостолбнячную сыворотку, он только зубами скрипел, но когда начали шить рану под местным наркозом и рвущая боль снизу доходила до сердца, он не выдержал, начал материться, да так, что хирург Шварц сказал коллеге:

— Сын ваш, Иван Владимирович, видно, подросток трудный.

— Да уж, без матери воспитываю, — вздохнув, ответил Иван Владимирович.

После операции боль утихла, затаилась под бинтами и лишь время от времени набегала, резала, рвала. Утомленный, измученный Сережа, оказавшись дома в чистом белье и чистой постели, лежал ослабший, с пустой и тихой душой, и все, что с ним стряслось, казалось ему прочитанным в какой-то запретной книге.

5

Меж тем Иван Владимирович получил место в известной клинике, в другом, гораздо большем, городе. Теперь переезд задерживался из-за Сережиного ранения, и потому, когда Сережа поправился, переехали второпях, оборвав все прежние связи, поскольку близок был срок, когда Иван Владимирович должен был приступить к новой работе.

В новом городе Сереже жилось неуютно, все было незнакомым; к тому же его отношения с отцом, и раньше не весьма хорошие, начали еще больше портиться. «Красив, умен, — думал Иван Владимирович о сыне, который все более увлекался медициной, читал книги по анатомии и собирался после школы поступать в медицинский. — Красив, умен, но эгоистичен, эксцентричен, весь в мать!»

И действительно, Сережа переменялся. Отношения с женщинами стали для него ясны и не внушали более трепета. Это

внесло в Серезину душу спокойствие, а в характер — уравновешенность. Так оно внешне выглядело. Он никогда более не спорил с отцом, а если случались размолвки, отвечал спокойно, логично. Однако под этим спокойствием и этой логикой Иван Владимирович чувствовал нечто такое, перед чем он, отец, уже был бессилён.

«Отчего такая беда случилась?» — с горечью думал Иван Владимирович. Он считал себя не самым худшим человеком, считал себя разумным, образованным, не злым. Он умел владеть собой в тех пределах, в каких это было возможно, никогда не допускал по отношению к Серее лицемерия или неискренности. Наконец, он любил Серезу, как некогда самозабвенно любил его мать. «Вот причина, — думал он отчаянно, — это она, это она в нём, его мать. Еврейка, еврейка... Ничего нельзя поделаться, дурная наследственность». И, думая так в отчаянии, стыдясь своих мыслей, но все-таки продолжая думать в этом единственном, способном для него все объяснить направлении, иногда доходил совсем уж до мрачных фантазий, пугавших, ужасавших его, — тогда Иван Владимирович дрожащей рукой наливал себе рюмку коньяку.

Плохие отношения с отцом мучали и Серезу. Когда во время одной из размолвок Иван Владимирович, не сдержавшись, попрекнул сына отцовским хлебом, Сереза твердо решил как можно быстрее получить профессию, отложив медицинский институт на будущее. Он подал в акушерско-фельдшерское училище, был принят и вскоре стал одним из лучших учеников. Учился он охотно, даже с каким-то азартом. Слушал о движении плода в нормальном и патологическом состоянии, о специфике родов при узких тазах, о повороте на ножки... И когда во время практики в городском родильном доме, впервые присутствуя при родах, услышал женские крики, женские стоны, увидел среди разбросанных женских ляжек слизисто-набухающее, увидел мечущиеся, выскальзывающиеся из-под рубашки большие соски, необычайно темного цвета с темно-багровыми околососковыми кружками, то понял, что выбрал самую для себя подходящую профессию. Со временем, правда, подобная острота прошла, сменилась чисто профессиональным интересом, но крайняя впечатлитель-

ность осталась, хоть и не выражалась, как в первый раз, сильным половым влечением.

К смерти, которая прежде казалась ему так близка и так его пугала, он теперь относился спокойно, любознательно, как к предмету интересному, но постороннему, его не касающемуся. Однажды во время его дежурства умерла молодая роженица. Произошел разрыв плодового мешка, плод вышел наружу кусками, в виде кровавой кашицы. Даже много повидавшие медсестры и врачи были подавлены таким исходом, а один из старых опытных врачей-гинекологов вскоре слег с инфарктом, и говорили, что из-за этого случая. Но Сережа испытал волнение чисто познавательное, глядя на происходящее как на процесс, на механику развития особой силы, уводящей к смерти.

В общем, Сережа учился хорошо, получал повышенную стипендию, но окончить училище ему не удалось. В начале пятидесятых был усилен набор молодежи в армию. Вызвали в горком комсомола и Сережу, предложили подать заявление в военно-медицинское училище. «Ну, разумеется, солдатам аборт делать не придется, а в остальном широкий профиль от терапии до хирургии», — так пошутили. Но, пошутив, добавили, что это не предложение, а приказ.

В новом училище, в мужских, курсантских компаниях женщин называли «мясо». «Как у нас с бабами? — Мяса хватает». А у Сережи первое впечатление о половом акте так и сложилось — сырое мясо... Впрочем, жеребьячий порыв к тому времени уже миновал и отношения с женщинами, основанные на одной лишь половой гимнастике, не удовлетворяли.

Сереже нужна была игра, вечеринки с танцами под патефон, объятия на кухне, глупые радостные шутки.

— Ах, каблуком наступили...

— Что? Где этот каблук? Сорвем этот каблук, — и хватал пальцами, комично рвал со своего щегольского, офицерского сапога каблук, которым в тесноте наступил на ножку в женской туфельке.

А «женская туфелька» колокольчиком: ха-ха-хаха... Ип-ип, — так смеялась.

Появился у Сережи и личный друг, чубастый курсант Федя Гуро, гитарист. Собственно, играть на гитаре Федя не умел, но очень обаятельно пощипывал струны, подмурлыкивал, постукивал пальцами по гитаре и потому считался среди женщин хорошим гитаристом. Сочинял Федя и упаднические, пессимистические стихи, также нравившиеся женщинам: «Счастье и жизнь молодую, беспечную мы поменяли на форму с погонами...»

Короче, Федя был по «мясу» профессионалом, а Сережа при нем все же любителем, знающим свое место, учеником и подмастерьем. И потому, когда их вместе после окончания училища послали в дальний гарнизон, на южную азиатскую границу, он не сомневался, что первая, да, пожалуй, и единственная, гарнизонная красавица Валентина Степановна, библиотечкаряша, достанется Феде. Однако Валентина Степановна Федю отвергла и сама проявила благосклонность к Сереже. Федя, в котором выиграло чувство оскорбленного профессионала, начал от Сережи отдаляться, к большому Сережиному огорчению, поскольку он к Феде привык, да и место досталось такое глухое, что нового друга приобрести было непросто. Впрочем, жертвовать ради дружбы любовью он тоже не мог, поскольку и с женщинами было туговато.

Климат в гарнизонном поселке был малярийный, лихорадочный, набивающий сорокаградусную температуру днем и кидаящий ночью в холодную дрожь. Свободных женщин, живущих по своей воле, а не возле обреченных на здешнюю службу мужей, было мало, да и те, как сказал Федя Гуро, «мясо третьего сорта» — посудомойки, уборщицы, поварихи. В небольшом гарнизоне, где все у всех на виду, роман с замужней был делом рискованным и качество здешних замужних этот риск не оправдывало. Все это наряду с климатом ужасно угнетало молодых людей.

Теплый дождь, ласковая болотистая прохлада, белые влажные лилии были невообразимы среди местного пейзажа, состоявшего из всего сухого, выпаренного, безводного. Безводное, просушенное до блеска, густо-синее небо вот-вот, казалось, должно начать шелушиться, трескаться, как трескалась безводная, серо-желтая земля. Даже вода, текущая в уз-

ких арыках, тоже казалась сухой из-за своего серо-желтого, глинистого цвета, мало отличавшегося от цвета берегов и из-за шуршания, сопровождавшего вместо плеска ее течение. Шуршала здесь и растительность, шуршали ящерицы, опасные скорпионы. Жить было здесь тяжело, легче становилось разве что ночью, во сне, когда снились родные прохладные места. На рассвете, однако, эти счастливые сны прерывал не ласковый, убаюкивающий крик петуха, а острый, режущий ишачий крик.

— Ишачья страна, — говорил Федя, — и «мясо» ишачье. Я слышал, местные чучмеки все с ишаками живут. Да и наши некоторые приспособились, — и прижав губы вплотную к Сережиному уху, дуя в ухо заправочкой — сто грамм и кружка пива, — сообщал, что мужа Валюши, капитана Силантьева, застали якобы за скотоложством, после чего Валюша с ним развелась и капитана отправили в ташкентский психгоспиталь.

Впрочем, о причинах Валюшиного развода и отправки капитана в психгоспиталь существовали и иные версии. При полковом медпункте, где работал Сережа, был изолятор в несколько коек. Находящийся в этом изоляторе ефрейтор Николай Тверской, белобрысый паренек из Ярославля, рассказывал как-то Сереже:

— Капитан, значит, солдат, особенно первогодок, в задний проход... В кабине автомобиля себе на колени сажал. Но кого уж употребит, того обязательно домой в отпуск пустит, — добавил Тверской, делая ударение на слове «обязательно» и глядя на Сережу с какой-то затаенной мечтой.

Ефрейтор Тверской сильно тосковал в этой чужой ему азиатской местности по своему Ярославлю, по Волге.

— Места у нас, — говорил он, — эх, места наши ласковые... Вернусь, ничего не надо, только бы смотреть по сторонам да радоваться.

Тверской лежал в изоляторе с диагнозом «энтероколит» и рассчитывал на досрочную демобилизацию, хоть с таким диагнозом вряд ли можно было на демобилизацию рассчитывать. Гарнизонный врач, полковник Метелица, поставивший этот диагноз, не то что в демобилизации, в госпитализации отказал, в отправке в Ташкент. Сережа, однако, считал диагноз ошибочным и даже пробовал о том с Метелицей поговорить, чем чуть

не испортил с ним отношения, ранее весьма хорошие. Скорее всего, у Тверского был не энтероколит, а гнилостная диспепсия кишечника, неполное переваривание пищи из-за ферментной недостаточности. От Тверского всегда несло кислым зловонием, и он жаловался, что в поносе у него попадаются непереваренные овощи. Промедление с госпитализацией могло привести к воспалению печени, но Метелица, человек властный и самолюбивый, защищал честь своего полковничьего мундира.

Может быть, он потому так недоброжелательно относился к отъезду из этих мест, что ревновал всех отъезжающих. Сам он находился здесь, в азиатской глуши, за какую-то провинность, а прежде преподавал в Ленинграде, в военно-медицинской академии. Он был неплохой специалист по огнестрельным ранениям, даже имел в этой области работы, и в гарнизонной библиотеке была его брошюра: «Анаэробные инфекции при огнестрельных ранениях». Но «гражданские» болезни были не его стихией. Он постоянно ставил неправильные диагнозы, больные это знали и по возможности старались обращаться не к нему, а к майору Пирожкову или даже к фельдшерам, что Метелицу также возмущало. И уже за свой поставленный диагноз держался он прочно! Гордился также Метелица своим знакомством с братом Ленина, Дмитрием Ильичом Ульяновым, под руководством которого он, еще молодым пареньком, работал когда-то в Крыму.

— Что говорил брат Ленина, Дмитрий Ильич Ульянов? — обращался он к больным во время обхода. — Лечиться, лечиться и лечиться...

Сереже он, правда, советовал учиться.

— Вам надо учиться дальше, подготовиться в военную академию. Я напишу вам рекомендацию, у меня есть там знакомства. В свободное время не глупостями занимайтесь, а читайте книги. У нас замечательная библиотека, хорошо подобрана. И библиотекарша милая женщина, красавица. Вот только с мужем ей не повезло, столько она, милая, натерпелась...

От Метелицы за ужином с коньячком Сережа узнал третью версию о капитане Силантьеве; дипсомания — запойное пьянство плюс половые извращения. Кусал ее в постели до крови,

руки связывал и насиловал. Она все терпела ради дочери, ради Машеньки, которую отец-пьяница, представьте себе, все-таки любит, и дочь отца тоже... В общем, трагедия. Как выяснилось в госпитале, при анализах — врожденная патология, врожденный сифилис, унаследованный, и Валентина Степановна теперь опасается за здоровье Машеньки. У нее с Машенькой, знаете, сложные отношения, особенно после того, как отца отправили в госпиталь. Машенька теперь не с матерью живет, а у сестры отца в Андижане.

Судя по таким обстоятельным знаниям семейной жизни Силантьевых, Метелица был к Валентине Степановне явно не равнодушен. Но этот одутловатый, с прокуренными зубами, пятидесяти с хвостиком человек вряд ли имел какие-либо шансы у миниатюрной, хорошо сложенной двадцатисемилетней брюнеточки.

Сереза в свободное от службы время часто посиживал в библиотеке: читал книги по программе подготовки в академию. Метелица советовал Серезе при поступлении в академию также представить и какую-либо публикацию, хотя бы журнальную. И по рекомендации Метелицы Сереза начал писать работу об особенностях огнестрельных ран при выстреле с близкого расстояния. Граница была недалеко, Серезе приходилось наблюдать такие ранения и участвовать в их лечении. Он написал о сходстве методов лечения таких ран с лечением ран разможженных и рваных и об особенностях их лечения в местных азиатских климатических условиях. Работа получилась пухлая, с графиками, диаграммами... Валентина Степановна взялась ее отпечатать. Это был их первый душевный контакт. Когда же прибыл из медицинского журнала положительный ответ, то она ликовала и радовалась вместе с Серезей, радовалась за Серезу уже как за близкого человека. Так они сошлись, и хотя Сереза получил меньше, чем ожидал, эта связь все равно бодрила Серезу и ублажала его самолюбие, поскольку первая красавица гарнизона, на которую многие поглядывали, выбрала именно его, ничем пока неприметного лейтенанта.

Когда прибыл авторский экземпляр медицинского журнала, то оказалось, что большая статья превращена в маленькую

заметку, из нее выброшено все, кроме лечения ранений в местных климатических условиях. Это огорчило Сережу, но в конечном итоге событие было все равно радостным, и Валентина Степановна предложила отметить его поездкой в выходной день к горному озеру. Поездка была неблизкой и трудной, по крутой, ухабистой, пыльной дороге, на местном автобусе, трясушемся, как в лихорадке. Но зато можно было побывать в оазисе, где листья были зелеными, небо голубым, а озерная вода не имела привкуса глины. На берегу озера, рядом с домом отдыха местной правящей знати, находилась чайхана, где подавали свежий сладковатый плов, по местному рецепту приправленный изюмом, мягкие, пухлые лепешки с тмином и холодный фруктовый щербет. Сережа радовался, предвкушая удовольствие от этой поездки, но вдруг, накануне выходного позвонила Валентина Степановна и, как показалось Сереже, чрезвычайно взволнованным голосом без всяких объяснений отменила поездку. Валентина Степановна попросила впредь к ней домой не приходить без ее звонка. Взволнованный, расстроенный, теряясь в догадках, Сережа отправился в библиотеку, но там вместо Валентины Степановны работала ее сменщица старушка Вера Тарасовна, которая сказала, что Валентина Степановна «немножко приболела».

«Так всегда, — думал Сережа с горечью, — если жизнь приласкает, то в дальнейшем ожидай подвоха». Без Валентины Степановны он уже скучал, не зная, куда себя деть среди кучи гарнизонных, казарменного типа домов да глухих глиняных заборов местного кишлака. Особенно тоскливы были вечера, время, когда Сережа обычно проводил у Валентины. В тоске Сережа открывал медицинские книги, читал о кровотечениях, о повреждении черепа, о разновидностях шоковых состояний при огнестрельных ранениях... Но — не шло. Тогда он закрывал книги медицинские и открывал философские.

К философии Сережа приобщился со скуки еще до знакомства с Валентиной Степановной. Некоторое количество подобных книг было в гарнизонной библиотеке. По линии армейского политуправления ничего подобного, разумеется, не поступало, но оставалось некоторое количество из старого фонда, каким-то образом, быть может, по недосмотру осевше-

го в дальних гарнизонах. Так, «Натурфилософия» Шопенгауэра, «Психология» Джемса, «Болезни воли» Рибо имели штамп «Офицерская библиотека тридцатого пехотного Полтавского полка». Бог весть как библиотека старого полтавского полка оказалась в нынешнем азиатском гарнизоне! Книги тесной кучей стояли на полке в конце раздела «Философия и естествознание», потесненные грудями Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, Дарвина, Павлова и прочих официальных философов. Кроме Сережи до этих книг никто, пожалуй, не добирался, да и Сережа добрался случайно, обнаружив ссылки на Джемса в старом учебнике психиатрии Корсакова, ибо основы психиатрии необходимы были при сдаче экзаменов.

Телесность чувств, первичность тела — вот что вычитал Сережа у Уильяма Джемса, американского психолога, физиолога, медика и философа, работами своими показавшего отсутствие четких граней меж этими науками. Человеческие чувства, душевная жизнь не могут быть подвергнуты материалистическому дроблению, но не могут быть и уведены в загробный мир спиритизма и метафизики. Физиологичность эмоций — так Джемс еще в прошлом веке объяснял происходящее ныне с Сережей.

Отношения Сережи с Валентиной Степановной были ровные, без перепадов. Это было постоянное желание иметь ее как женщину, но страсти и мечты не было. А тут вдруг, после наполненного недомолвками звонка, появилась и страсть, и мечты, и ревность. Подумалось, что причина — приезд капитана Силантьева. Каким образом? То ли выпустили, то ли сбежал... Всякая дичь подумалась, но под влиянием физиологических эмоций решил он ближайшим вечером проверить свою догадку.

Днем, в зной, хотелось все, что можно, с себя снять, все, что можно, расстегнуть, но вечерами приходилось надевать шнель и теплые носки из верблюжей шерсти. Подобным образом одевшись, Сережа темным холодным вечером отправился к дому Валентины Степановны. Просто так подойти и заглянуть в окно нельзя было, поскольку Валентина жила на третьем этаже пятиэтажного гарнизонного дома для семейных. Но недалеко от дома рос старый тополь, нижние ветви которого

уже высохли и листьями покрыта была лишь верхняя половина. Как раз забравшись по мертвой половине тополя до его живой половины, Сережа и смог заглянуть в окно третьего этажа.

Он сознавал, что делает глупость или пакость, что его положение будет ужасным, если его заметят, но, ясно сознавая все это, он тем не менее продолжал пристально вглядываться в окна Валентины Степановны. Окна были завешаны, однако горел свет и видны были тени. В одной из них он узнал Валентину, вторая была неопределенна, непонятно какого роста, потому что находилась в отдалении. Ясно было лишь одно: между теньями происходит борьба. Тень Валентины размахивала руками, то ли угрожая, то ли защищаясь. Потом она исчезла. То ли наклонилась сама, то ли ее повалили. «Капитан Силантьев вернулся из психгоспиталя, — догадка переросла уже в уверенность, — и насилует ее, связав руки». Вдруг жеребьячье юношеское возбуждение, давно уж не посещавшее, овладело Сережей. Сидя у шершавого древесного ствола, держась побелевшими руками за ветви, слыша свое учащенное дыхание, дрожа от сердцебиения, он вместе с капитаном Силантьевым участвовал во всех этих физиологических откровениях, потому что, думалось, полное, исчерпывающее до дна наслаждение от связи с женщиной возможно лишь, если оно либо запретно, либо преступно. Так страшно до самозабвения думалось. «И вообще, — думалось, — всякая человеческая мысль, которая честна до конца, — преступна, потому и нельзя человека оставлять наедине со своими мыслями. Всегда меж человеком и его мыслями должен быть надзиратель: нравственные принципы, мораль, как во время свидания преступника с близкими».

Так бесстрашно, почти уголовно философствовал Сережа, вглядываясь в темное окно, поскольку кто-то, наверное капитан Силантьев, догадался выключить свет. Сережа воображал себя там, за темным окном, вместе с капитаном над связанной, распростертой Валентиной, потому что физиологические эмоции не подвластны морали, не подвластны даже собственной свободной воле. Когда они на свободе, то зависят только от физиологических процессов в сосудодвигательной системе. А разум? Разум в крайней ситуации изменяет человеку, разум часто склонен к предательству.

Понимая как физиолог бессилие человека перед собственной физиологической эмоцией, награждающей телесным наслаждением, еще Джемс — как религиозный философ — знал, что от физиологии лишь одно спасение — вера. Вера неподвластна предательскому разуму. Вера, которую можно обрести не в церкви, а в душе! Поэтому преступник первым делом старается изломать, растоптать, убить свою, мешающую физиологии, душу, но может вполне сознательно и разумно молиться в церкви до преступления и разумно каяться после преступления.

Впрочем, философские вопросы веры, излагаемые Джемсом, Сережу тогда не затронули, он их проглядел, пролистал и опустил. Но зато его тронуло, заинтересовало то, что Джемс называл психическими обертонами. Состояние сознания постоянно меняется, подобно потоку, никогда не повторяющему прошлое, но несущему в себе то, что минуло, и окружает нынешнюю душевную жизнь кольцами прошлых отношений. Эти прошлые отношения переживаются в качестве дополнительных состояний, придающих некую особую окраску основному нынешнему переживанию. Эти кольца прошлых переживаний, опоясывающих нынешнее, и есть, по Джемсу, психические обертона.

Сережа жил с Валентиной Степановной давно, почти супружески, и его желания последнее время были скорей ослаблены: он даже начал подумывать о перемене и почти приоткрыл перемену. Это была соседка и подруга Валентины Степановны, жившая этажом выше, Дильром Шовкатовна, татарка, темноволосая женщина, плосколицая, узкоглазая, с выщипанными бровями. У нее, по азиатскому обычаю, было много детей, кажется четверо или пятеро, но женская увесистая грудь, женские крепкие бедра, полные руки, крепкая спина, обширный зад — все говорило о постоянном половом влечении, ею испытываемом, которое не в состоянии удовлетворить ее муж, интендантский майор Филиппок, вдвое ее тоньше и ниже ростом. Как-то она по-соседски пила у Валентины Степановны зеленый чай с урюком. Сережа тоже участвовал в чаепитии. Когда Валентина Степановна зачем-то вышла в переднюю, Дильром Шовкатовна наклонилась, подобрала

упавшую чайную ложечку и вдруг сделала рукой движение к Сережиной промежности, причем косые глаза ее в упор, вопросительно, зовуще посмотрели Сереже в лицо. Сережа, не ответив на ее взгляд даже взглядом, наклонился к своей пиале, глотнул чай, и она, криво, презрительно улыбаясь, тоже глотнула чай, причмокнув. Дильром Шовкатовне было лет сорок и эта, по Сережиным понятиям пожилая, толстая женщина, постоянно вытирающая пот с лица, ему никак не нравилась. Однако после ее неожиданного движения и вопросительно-зовущего взгляда он начал к ней приглядываться. Возможно, Валентина Степановна нечто заметила или ощутила нечто женским чутьем, потому что сказала как-то о своей соседке, к которой до того относилась дружески:

— Прежде ни одного молодого офицерики не пропускала, а теперь, когда постарела, так и мальчиками-первогодками не брезгует. Был случай, застали ее на кухне с поваренком...

Дильром Шовкатовна заведовала гарнизонной столовой, а муж ее, Зиновий Андреевич Филиппок, был начальником тыла, то есть занимался снабжением. Жили соседи богато, и при всем внутреннем презрении выпускницы университета к снабженцам, Валентина Степановна старалась поддерживать добрососедские отношения. Даже после того, как у нее к соседке появилось нечто вроде ревности. К тому же Дильром Шовкатовна была женщина добрая, щедрая и прежде, когда капитан Силантьев бушевал пьяный, оставляла Машеньку у себя ночевать. При всей своей человеческой доброте Дильром Шовкатовна имела, однако, явную склонность к половым извращениям — это Сережа чувствовал. Впрочем, на Востоке половые извращения такое же обычное явление, как острые приправы к еде, без которых в здешнем знойном климате пища пресна и неаппетитна.

Все дни после того, как, сидя на тополе и заглядывая в темные окна, Сережа воображал картины насилия капитана над Валентиной Степановной, он думал о ней постоянно, маниакально и тут вдруг — звонок, голос Валентины, привычно знакомый прежде и незнакомо возбуждающий теперь. Валентина Степановна сказала, что очень соскучилась, но обстоятельства не позволяли видеться, а теперь она ждет его в гости. «Обсто-

ительства — это капитан, — подумал Сережа, — наверное, капитана снова отправили в психгоспиталь. Сегодня я заменю капитана».

Едва дождавшись вечера, Сережа пришел все-таки раньше срока и заметил, что Валентина Степановна оказалась этим обеспокоена, куда-то выходила, что-то на лестнице говорила. «Неужели капитан еще здесь? Что за странности, что за тайны?» — думал Сережа, все более возбуждаясь. Вскоре, однако, Валентина Степановна вернулась успокоенная, и сели ужинать с вином. За прошедшую неделю Валентина Степановна переменилась. Осунулась, под глазами круги, в глазах усталость, но все это было ей к лицу, все влекло, все возбуждало.

— Очень соскучилась, — сказала Валентина Степановна, когда они выпили несколько рюмок, — очень скучала, — и потянулась, чтобы чмокнуть его в губы, на что он обычно отвечал хладнокровным поцелуем, после чего Валентина Степановна обычно уходила за ширмочку, аккуратно раздевалась, в порядке укладывая одежду, гасила свет, ложилась в постель, ждала, пока разденется Сережа, и раскрывала перед ним добрые дружеские объятия, удобно раздвинув ляжки. Но ныне, чрезмерно, как показалось Сереже, опьяненный вином — хоть пили они это некрепкое, липкое вино и прежде в том же количестве, — ныне он впился ей в губы, ошарашив таким порывом. Затем, не давая опомниться, схватил, приподнял, понес к постели, срывая часть одежд на ходу и бросая где попало, еще торопливей стаскивал одежду с себя, с хрустом что-то разорвав. Дрожа от возбуждения, он мешал ей удобно улечься, удобно расположить тело — сжал вместо этого, сдавил... Вначале она пыталась говорить, даже сопротивляться, но затем его маниакальное состояние передалось и ей.

— А-а-а!.. О-о-о!.. — впервые за все их с Сережей сожительство закричала она. — А-а-а!.. О-о-о! — и вдруг, точно впад в бешенство, завопила, будто была она не культурная, окончившая университет библиотечарша, а уличная развратная женщина: — Крепче! Крепче! Сильнее! Дальше! Дальше!.. А-а-а.. О-о-о!.. О, как ..., — и вдруг добавила уличное, нецензурное слово. — О, как... О, как... О, как...

В этот момент позвонили в дверь. «Капитан, — с испугом подумал Сережа. — Что теперь будет?»

— Это капитан? — растерянно спросил он.

— Это дочка звонит. Машка, — все еще тяжело дыша, с досадой ответила Валентина Степановна. — Приехала без телеграммы! Покою от нее всю неделю не было. Сегодня велела ей у Дильром ночевать...

Пока они переговаривались, в дверь звонили непрерывно.

— Я ей сейчас, мерзавке, покажу, — сердито сказала Валентина Степановна.

Вскочила, накинув халат, и, шлепая босыми ногами, пошла в переднюю, откуда послышались выкрики, сопение и спор двух голосов.

«Вот глупое положение! — думал Сережа. — Ах ты дурак, дурак. Насчет капитана, насчет насилия — все твое воображение!.. Это она тогда с дочерью ругалась, когда я на тополе сидел. Надо быстрее одеться и уйти. Не хватает еще семейного скандала меж матерью и дочерью».

Сережа выскользнул из-под одеяла и начал торопливо собирать свою разбросанную в порыве страсти одежду. В этот момент Валентина Степановна вернулась. Одна.

— Она больше не придет, — сказала Валентина Степановна, — дерзкая девчонка. Папина дочка! Представляешь, сказала мне, что я специально отправила Силантьева в госпиталь, чтоб жить с любовниками... Ложись, Сережа, ложись! — Она повалилась на него, впилась страстным поцелуем в его губы, желая опять повторить то, что, возможно, переживалось ею впервые.

Но Сережа уже остыл, уже обмяк, уже угас, уже заскучал...

— Мне пора, — сказал он, сделав попытку подняться.

Однако Валентина Степановна держала его цепко, навалившись голым телом на Сережино голое тело и стремясь его вновь возбудить.

— Ты не беспокойся, — уговаривала она Сережу, — Машка больше не явится; завтра я ее назад к сестре капитана отправлю!

И тут же, после этих слов, опять позвонили. Лицо Валентины Степановны из умиленно-ласкового, с которым она угова-

ривала Сережу, тотчас сделалось сердито-каменным. Видно зная свою дочь, она и не ожидала, что все кончится хорошо. Не ожидала, но надеялась.

— Ну, я ей сейчас устрою! — сказала Валентина Степановна и решительным, быстрым шагом направившись в переднюю, быстро, рывком отперла дверь, и Сережа, пытавшийся пробраться к одежде, мелькнув голым телом в упавшей из передней полоске света, бросился назад к постели, затаился под одеялом.

Пробегая, он успел заметить выглянувшее из передней девичье лицо. Не разглядел, но ощутил что-то среднерусское, блондинистое, видимо — в отца. Почувствовал также, что девочка, как и мать, была крайне озлоблена. Она ловко и решительно нырнула под руками матери, загораживающей ей вход в комнату. Сережа из-под одеяла слышал ее где-то уже вблизи от себя.

— Почему не осталась у Дильром Шовкатовны?

— Не хочу!

— Почему не хочешь?

— Не хочу! — как рубила.

— Что ж, — проговорила Валентина Степановна уже помягче, — не хочешь, раздевайся, ложись в свою постель.

«Это еще что за поворот, — думал Сережа, лежа с головою под одеялом, — видимо, лаской берет».

— Ложись, доченька.

— Не хочу! — твердит.

— Что же ты, Машенька, у Дильром Шовкатовны спать не захотела и здесь спать не хочешь? Будешь всю ночь сидеть?

— Буду сидеть! — все так же зло, капризно, спесиво.

— Как же ты, доченька, спать не будешь? Будешь всю ночь сидеть?

— Не буду спать!

— Отчего?

— А кого привела?

— Ложись, ложись, доченька, — не отвечая на вопрос, ласково шепчет Валентина Степановна, и, слышит Сережа, вроде бы начала дочь раздевать.

Сандалики упали с легким стуком, платице снимает, шуршит. Сережа выглянул осторожно, видит: мать и дочь лежат

в постели, мать девочку обнимает и что-то шепчет, объясняет, а та ей тоже шепотом отвечает.

«Вот дело еловое, — думает Сережа, — сколько же они так шептаться будут?.. Мне-то что делать, как выбраться? Вско-чить бы нахально, трусы рывком натянуть, майку, галифе, гим-настерку, ремень через руку, сапоги в другую, фуражку на го-лову и — бегом!..» Лежит, прикидывает, но осуществить задуманное не решается. Сам не заметил, как забылся под ше-пот. Устал все-таки от страстного труда и эмоциональных перепадов. Вдруг Сережа очнулся от легкого толчка в бок. В за-бытьи, в полусне еще подвинулся под давлением теплого, голого грудастого тела.

— Заснула Машенька, — шепчет Валентина Степановна.

И верно, детское посапывание слышится. «Самое время уходить!» — подумалось. Но Валентина Степановна не пускает, спину гладит, целует, Сережину промежность ненасытно ладонью мнет. Невольно начал опять возбуждаться. Но вдруг одеяло прочь улетело, сорванное. Машенька, болезненно-гневная, носится по комнате в одной рубашечке, топая босыми ножками. Подбежала к кровати, зло сопя, потом от кровати по-бежала к буфету. На буфете сидели две Машенькины любимые игрушки: медведь и кукла...

Медведь был обычный, буро-коричневый, которого можно встретить в дебрях любого детского магазина в любом город-ке рядом с целлулоидными пупсами, глупыми матрешками, бе-лобрысыми куклами, чревовещающими «ма-ма», и пионерски-ми барабанами. В раннем детстве Сережа тоже играл куклами и знал еще несколько мальчиков, играющих в куклы. Девочки играют куклой сознательно, воспринимая ее как своего ребен-ка, мальчик же куклой играет, скорее, подсознательно, воспри-нимая ее своею возлюбленной. Вспоминая свои куклы, Сережа иногда подумывал, что именно они пробудили в нем первое половое чувство. Но кукла, сидевшая на буфете, вряд ли такое чувство могла пробудить. Кукла эта была местная, азиатского производства, и произвела ее на свет местная фарфоро-фаян-совая фабрика. Тело куклы было мягким — из шелковых атлас-ных лоскутов, набитых внутри темной, необработанной хлоп-ковой ватой. Но голова была изготовлена из божьего

материала, горшечной глины, хорошо обожженной в печах и покрытой глазурью. Точно так же изготовляли и покрывали глазурью, синей, красной, розовой — горшки, чашки, миски. У куклы, которую звали Машенька, были такие же, как у Маши, синие диковатые глаза, красные напряженные губы и розовые, возбужденные щечки.

Отбежав к буфету, Маша схватила куклу за атласные ноги и, подбежав к кровати, мимо голого плеча матери, ударила глиняной головой куклы Сережу в зубы. Ударила, как кирпичом. Рот мигом наполнился кровью. Валентина Степановна яростно взвизгнула и голая, как была, бросилась на Машу, вцепилась ей в волосы, поволокла в переднюю. Но, видно, и Маша вцепилась матери в волосы, потому что в передней обе упали с грохотом. Сережа, сплевывая в ладонь кровь, вскочил рывком, гимнастерку в одну руку, сапоги в другую. Все, как задумал, да поздно осуществил, в дверь уже не побежишь — сцепившиеся мать и дочь загораживают. Возможно, и на лестнице уже соседи собрались, разбуженные скандальными криками. Шагнул к окну, распахнул...

Был холодный азиатский рассвет, кричали ишаки. Знакомый тополь, снизу до половины сухой, сверху до половины зеленый, манил к себе. Если б разбежаться, можно бы и допрыгнуть, ухватиться за ветви. Но как разбежишься, стоя на подоконнике? Глянул вниз — показалось не так уж высоко, а крики сзади все подгоняют. Бросил вниз одежду, сапоги, они глухо упали... Оттолкнулся, прыгнул в надежде достичь тополя, но лишь пальцами коснулся ветвей — пронесся мимо в свободном полете. Наклонился, чтоб поднять упавшую с головы фуражку, боль в правой ноге горячо вонзилась, — перелом пяточной кости... Так! Но голеностопный сустав, кажется, цел, передвигаться можно... Сделал шаг и потемнело в глазах, опустился на землю. «Нет, перелом всей стопы», — подумалось в отчаянии.

Подобрал Сережу патруль, отвез сначала в полковой медпункт, где дежурил Федя Гуро, злорадно, как показалось Сереже, усмехнувшийся, узнав, при каких обстоятельствах подобрали Сережу. Утром доложили полковнику Метелице, непосредственному начальнику и бывшему Сережиному по-

кровителю. Полковник проявил в данном случае бескомпромиссность, написал докладную и взял обратно свою рекомендацию в военно-медицинскую академию. Дело приняло неприятный оборот; после госпиталя Сереже предстояло отбыть арест на гауптвахте, его послужной список был испорчен. К счастью, подоспело хрущевское сокращение армии, откуда старались уволить все ненужное и запятнавшее себя. Сережа был уволен одним из первых, что его очень обрадовало, поскольку он давно уже подумывал вырваться из этой глуши, уйти из армии и поступить в медицинский институт, но по собственному желанию уволиться было невозможно, и только скандальное обстоятельство вдруг помогло. «И щуку бросили в реку...», — рассказывая о своей удаче, смеялся Сережа. Он подал в московский медицинский, выдержал конкурсные экзамены и был принят.

С Валентиной Степановной Сережа виделся после случившегося всего один раз, когда пришел в библиотеку подписывать обходной лист.

— Счастливой дороги, — сказала Валентина Степановна ровным голосом, без сожаления или обиды, но и без всякого интереса.

— Счастливо оставаться, — так же безразлично ответил Сережа.

Впрочем, он слышал, что Валентина Степановна тоже не остается, выходит замуж за полковника Метелицу и уезжает в Ленинград, где в результате хрущевской «оттепели» полковник опять получал свое место преподавателя в военно-медицинской академии.

6

Став студентом московского медицинского института, Сережа близко сошелся со своим сокурсником Алешей Кашеваровым-Рудневым. Семья Алеши по мужской линии — отец и сам Алеша — была медицинской, по женской линии — Алешина мать Мария Остаповна и старшая его сестра Сильва — принадлежала к миру искусства. Кстати, за спиной этой семьи по медицинской линии действительно была серьезная тради-

ция. Прабабушка Варвара Алексеевна Кашеварова-Руднева, первая в России женщина-врач, была автором капитальных трудов: «Материалы для патологической анатомии маточного влагалища» и «Гигиена женского организма». Муж ее, Алешин прадед Руднев, был профессором Хирургической академии. По линии искусства все было менее серьезно. Сильва — театральный художник; Мария Остаповна, бывшая актриса, писала теперь нравственно-назидательные пьесы для детей и юношества и чем-то напомнила вдруг Сереже давно забытую Мери Яковлевну, мать еще прочнее забытой Бэлочки. «В принципе, — думал Сережа, поглядывая на Марию Остаповну, — в жизни редко встретишь что-либо новое. Чаще вариации уже знакомого, виданного. Вот Алеша — все-таки новое, хоть отдельные черты уже вроде бы и знакомы, но в целом — новое».

Кашеваровы-Рудневы, московская потомственно привилегированная семья, жили в большой арбатской квартире. Тускло поблескивала старина, накопленная прошлыми поколениями — бронза, хрусталь, неяркое, высшей пробы столовое серебро, золоченые рамы картин. Среди картин был, например, Врубель. Не копия, а оригинал, портрет девушки с заостренным овалом бледного лица и мистическими, чувственными большими глазами. Висело также несколько картин Павла Ковалевского, дальнего родственника Софьи Васильевны Ковалевской, профессора математики, с которой Варвара Алексеевна Кашеварова-Руднева была знакома и даже дружна. В большой семейной библиотеке хранилась книга Софьи Васильевны с дарственной надписью, но не по математике, а художественная, поскольку Софья Васильевна увлекалась и художественным творчеством, писала романы. Роман с дарственной надписью назывался «Нигилистка».

Как-то Алеша, искавший на полках одну из нужных ему книг, показал Сереже роман Ковалевской и сказал:

— Вот уж по Крылову! Беда, коль пироги начнет печи сапожник... Никакого художественного дара, только переживания собственной души, в которой проглядывает это, — он усмехнулся и щелкнул пальцами, — это, известное по системе Krafft-Ebing — половое чувство на грани извращения. Как гинеколог я бы мог предположить ювенильные, внецикличе-

ские маточные кровотоечения в период полового созревания, оставившие в душе незаживающий рубец. Ты, верно, слышал, что в пятнадцать лет Ковалевская была влюблена в Достоевского...

К творческой деятельности своей матери Алеша относился скептически, посмеиваясь. Недавно Мария Остаповна окончила пьесу, которую якобы одобрили на радио и где-то в периферийном театре. Пьеса была, как говорила Мария Остаповна, «постановочно удобна и нравственно актуальна». В ней было всего два персонажа: преподаватель в шляпе и преподаватель в кепке, меж которыми велся нравственный спор о воспитании юношества. Побеждал, разумеется, преподаватель в кепке. Другая пьеса Марии Остаповны называлась «Вовка и овцы». В ней с юмором, не лишенным нравственной назидательности, изображалась жизнь мальчика Вовки, сына передового колхозника-пастуха.

Алешиного отца, Михаила Федоровича, Сережа видел лишь несколько раз мельком, когда тот проходил к себе в кабинет. Потом он и вовсе исчез.

— Уехал в Новосибирск, там в институте кафедру получил, — как-то сказал Алеша, — у него с мамой давно не ладится.

Кстати, и сам Алеша в арбатской квартире не жил, у него была маленькая, однокомнатная, однако отдельная квартира в кооперативном доме на Сретенке. Был Алеша невелик ростом, худощав, некрасив, но обаятелен. Часто менял любовниц. Все они ему стряпали. Одна очень хорошо готовила овощные супчики и, когда он с ней расстался, то тосковал по этим супчикам. О другой, нынешней, с восторгом говорил:

— Только познакомился, а уже голубцы лепит!

В большой арбатской квартире постоянно жили только Мария Остаповна и служанка Ксения, девушка лет двадцати пяти с синими кругами под глазами. Алешина сестра Сильва также жила отдельно со своим мужем Петром Павловичем, артистом эстрады, «народным комиком». Иногда, по тому или иному случаю, устраивались семейные обеды, и тогда все сходилось на Арбате. Случалось, на эти семейные обеды приглашали и посторонних. Так, на один из таких обедов Алеша пригласил

Серезу; а Сильва Каролину, чешскую балерину, проходящую стажировку в Большом театре.

Каролина сидела на противоположной от Серези стороне стола, чуть наискосок, и Серезиным глазам было на нее смотреть словно бы больно, как на что-то слепящее, яркое, он не видел ее в подробностях, а лишь в целом. Он заметил, что в ней много белого — в одежде, в глазах, в лице, в волосах. Лишь позднее он начал различать детали и тогда обнаружил, что глаза у Каролины не светлые, а карие и волосы — светло-каштановые. Говорила она по-русски, но с шипящим чешским акцентом, с милыми ошибками и неточностями. Впрочем, в тот первый вечер она говорила мало, да и все говорили мало, поскольку за столом господствовал Петр Павлович Коровенков, муж Сильвы и «народный комик». Когда Ксения подала на блюде жареных уток, Петр Павлович поводил над ним вилкой, остановился над румяным куском, наколот его, положил на свою тарелку и, сделав насмешливо-печальное лицо, произнес:

— Прости, утка! — после чего впился в кусок зубами.

Сильва визгливо захохотала, обнажая металлические пломбы, а потом, наклонившись к Каролине, начала ей шепотом объяснять смысл шутки. Каролина слушала Сильву, по-лебединому грациозно склонив свою узкую маленькую головку с гладкой балетной прической, светло-каштановыми волосами, закрепленными сзади узлом. Поняв смысл шутки, она вежливо улыбнулась. Зубки у нее были маленькие, чистенькие, остренькие. Мышиные.

Все поглядывал Сереза, все поглядывал на нее и ничего не ел. Тарелка его была пуста, лишь несколько хлебных крошек лежало на ней в то время, как иные тарелки были уже полны обглоданных костей, а у Петра Павловича уже и кости класть было некуда. Ксения принесла ему другую тарелку. Перед Каролиной на тарелке тоже лежало обглоданное утиное крылышко, и она теперь ела утиную ножку, обернув косточку салфеткой, чтоб не испачкать жиром свои белые пальчики. Не решаясь посмотреть на слепящее лицо Каролины, Сереза главным образом поглядывал на ее пальчики, державшие утиную косточку.

«То, что Петр Павлович создал за столом шутовскую атмосферу, — хорошо», — думал Сережа, потому что ему так легче было скрыть свою робость перед этой женщиной, скрыть свою рабскую робость, свой ушиб, свою никогда прежде не испытанную беспомощность перед женским.

— Сильва, ты меня не любишь, Сильва, ты меня погубишь, — пел Петр Павлович козлиным фальцетом, несоответствующим его грузной, тяжелой фигуре и квадратному лицу, — Сильва, ты меня с ума сведешь, мало молока даешь.

Он поднял пустой стакан, и Сильва, продолжая показывать в хохоте свои пломбы, передала Петру Павловичу со своего края стола полную бутылку водки, поскольку бутылка, стоящая перед Петром Павловичем, была уже пуста, а лицо его побгровело. Впрочем, выпили все, причем водки; только Мария Остаповна пила сливовицу из початой бутылки, которую поставила перед ней Ксения. От выпитой почти без закуски водки Сережа осмелел, чаще стал поглядывать на Каролину, лицо которой потеплело, порозовело и сделалось доступней, но от этого волновало его еще больше.

— Что это за доморощенное толстовство, Сережа, — по-пьяному громко сказал Алеша, указывая на свободную от утиных костей Сережину тарелку. — Перед тем как стать вегетарианцем, Лев Николаевич ел много мяса... Надо есть мясо, — повторил пьяный Алеша, нажимая на слово «мясо», и Сережа вспомнил, как рассказывал Алеше о том, что в армии было принято называть женщин «мясом». — Сережа, — развязно, пьяно сказал Алеша Каролине, — это наш Вертер, кощунственно-дерзкий печальник, высокий альтруист, бунтарь против несправедливой жизни!..

Сережа хотел рассердиться на эту Алешину развязность. Ему показалось, что она оскорбляет Каролину, а значит, и его, Сережу. Но в этот момент Каролина протянула к Сереже через стол маленькую свою ладошку, и Сережа робко, как за подающим, протянул ей навстречу свою ладонь, при этом опрокинув локтем стоящую перед Петром Павловичем бутылку.

— Очень было приятно, — сказала Каролина и вытащила назад из Сережиной свою ладошку.

Рука Сережи некоторое время беспомощно висела над столом.

— Эх, эти мне белорусы! — с досадой сказал Петр Павлович, подхватывая бутылку, из которой все-таки пролилось, хоть и немного. — Из стакана выплеснул — к счастью; а из бутылки — к несчастью.

— Я не суеверный, — досадуя уже и на Петра Павловича, сказал Сережа. — Не суеверный и не белорус!

— Не белорус? — удивился Петр Павлович. — Жаль! Я хотел разузнать... Недавно был в Минске, выхожу на вокзале, слышу, женщина так отчаянно кричит: насильник, ко мне, насильник, ко мне!.. Я оторопел! Это верно, что по-белорусски насильник значит носильщик?

— Не знаю, — досадливо повторил Сережа, видя, как показывающая в хохоте пломбы Сильва пододвинулась вплотную к Каролине, касаясь ее плечика своим плечом, словно загораживая Каролину от Сережи, и опять начала объяснять смысл шутки Петра Павловича.

Каролина ушла с Сильвой и Петром Павловичем. Но перед уходом она вдруг сама подошла к Сереже, протянула руку и сказала:

— Спокойный вечер!..

«Боже мой, какая женщина, — думал Сережа. — Боже мой, какая...»

Неодолимое влечение подобно навязчивым мыслям, и мысли эти не давали Сереже покоя весь вечер и всю ночь. Он заснул лишь под утро, от усталости.

Сережа жил на Сивцевом Вражке, где дешево, удачно снимал маленькую комнатку с туалетом в конце коридора, но зато с индивидуальным телефоном. Снять ее удалось по протекции Алеши у одной старушки, дальней родственницы Алешиной мамы. Старушка постоянно жила за городом на даче, у женатого сына. В комнатке едва помещались кровать, стул, столик и книжная полочка; окно заслоняла кирпичная стена соседнего дома, так что в комнате даже днем было темновато. И все-таки здесь было лучше, чем в муравейнике студенческого общежития, где Сережа жил раньше. Разве мог бы Сережа там так же безмолвно лежать во тьме, рассматривая счастливыми глазами кирпичный экран, по которому скользила бесплотная жизнь? «Боже мой, какая женщина!» — то ли думал, то ли про-

износил вслух Сережа. И все скользили, скользили по кирпичному экрану бесплотные тени и отсветы.

Утром, сидя на лекции по злокачественным новообразованиям женских половых органов, Сережа был рассеян и безразличен, хотя предмет его интересовал и лекции профессора Фоя он всегда тщательно конспектировал.

— Гнойные язвы в области клитора, — говорил профессор Фой, — кровеносные выделения из влагалища, цвета мясных помоев... Бородавчатые новообразования, внешне напоминающие цветную капусту... Погружение пуговичного зонда в раковую опухоль шейки матки...

Слушать все это сейчас было для Сережи то же самое, как пребывая в райских кущах, пытаться слушать лекцию об адских котлах. В счастливом его мире была сейчас лишь простая чистая жизнь и простая чистая смерть. И логика этого мира была проста и чиста, а сущность ее состояла в стремлении изменить данное положение как неприемлемое на другое, более приемлемое. То есть встретиться с Каролиной. Что произойдет после этой встречи, Сережа не знал, но влечение было сильно, а влечение всегда требует двигательного проявления.

В том году московская осень была солнечной и по-летнему теплой, на улицах царил пестрот, веселая суэта погожих дней, свежих, не пыльных, не изнуряющих. Сережа прогуливался неподалеку от служебного входа в Большой театр, поглядывая на входивших и выходивших. Его поразило, что многие среди выходивших и входивших были похожи друг на друга и чем-то похожи на Каролину. Та же гладкая прическа, та же походка, тот же рост. Несколько раз сердце Сережи вздрагивало, начинало биться сильнее, но потом затихало. Это были не более, чем отдаленные подобия. Сережа без пользы прогулял до вечера, возвратился домой уставший, но спал урывками, а просыпаясь, наблюдал бесшумную жизнь на кирпичном экране. Так, в бесполезных прогулках, минула неделя.

— Ты или нездоров, или читаешь ночами, — сказал Алеша, когда в воскресенье они с Сережей поехали на семейную дачу Кашеваровых-Рудневых.

— Читаю ночами, — ответил Сережа.

— Что? Точнее, кого?

— Пушкина.

— Ты бы сейчас Гете почитал, «Страдания молодого Вертера».

«Опять намеки, — с тревогой подумал Сережа, — неужели он догадывается? А может, догадаться легче, чем мне кажется? Может, моя внутренняя бесшумная жизнь внешне достаточно шумна и различима, может, я живу, как сумасшедший, скрывающийся в стеклянном доме?»

Они с Алешей шли лесом, точнее, лесным парком, потому что среди деревьев были проложены парковые аллеи, стояли скамейки и мусорные ящики. Но пахло тут по-лесному остро, с горчинкой, и солнце светило по-лесному, било полуденно, почти вертикально сквозь верхушки деревьев, как сквозь высокую стеклянную крышу. Вокруг по-лесному вольно пели птицы, и белки разных размеров, молоденькие и матерые, прыгали с ветки на ветку, скрипели коготками по стволам, перебежали через дорогу... Алеша схватил Сережу за руку, придержал. Прямо перед ним маленькая белочка, совсем дитя, с тонким, жидким хвостиком пила из лужи, образовавшейся на аллее от утреннего дождика. Белочка напилась, принялась по-кошачьи умываться, чесать задней лапкой у уха, потом безбоязненно посмотрела на них блестящими шоколадными глазами, подняв мордочку.

— Чок, чок, чок, чок, — позвал Алеша белочку.

Это «Чок-Чок», неожиданно прозвучавшее из Алешиных уст, было точно подслушанная им детская стыдная тайна, давно и тщательно скрываемая Сережей, даже от самого себя скрываемая. «Вот он, Джемс, — подумал Сережа, — психические обертон прошлого, которое кольцами окружает нынешние чувства».

— У меня орех есть, — сказал Алеша, — я с собой всегда беру на лесные прогулки. Дай ей, а я еще поищу, — и начал рыться в небольшой сумочке, которую держал в руках.

Сережа бросил орех в направлении белочки и попал в лужу, белочка испуганно метнулась, прыгнула на сосну и исчезла в ветвях.

— Кто ж так дает? — с досадой сказал Алеша. — Надо было спокойно протянуть на ладони, она бы с ладони и взяла...

Чок, чок, чок!.. Нет, уже не придет, не доверяет... Да в полдень у них и отдых начинается, отдыхают в дуплах. Пойдем отдохнем и мы, пока есть возможность. Часа через два Сильва должна приехать, а это значит — шум и суета. Она звонила из хореографического училища, у нее какие-то там дела с чешской. Помнишь чешку, которая обедала у нас?

— Да, помню... А что, Сильва,— спросил Сережа, чтоб увести с истинного следа на ложный, — Сильва работает там?

— Да какой-то учебный спектакль оформляет, — пренебрежительно сказал Алеша.

Училище это располагалось на тихой крутой улице, в самом центре Москвы, где еще попадались осколки былой «магушки». Тихие старушки, ухоженные сытые собачки, звуки фортепиано, незаглушенные городским рокотом. По случаю теплой погоды окна на втором этаже дома, где располагалось училище, были распахнуты, мелькали мужские и женские молодые лица, обнаженные руки, обнаженные плечи, все это в тесном телесном контакте под ритмичную фортепианную музыку. «Где-то среди них Каролина, — подумал Сережа, — такая же обнаженная, доступная тренированным сильным рукам партнера... Опять эти психические обертона! Пршшлое кольцами окружает настоящее и делает время неподвижным, а чувства однообразными. Точно я и не слезал с азиатского тополя и все еще заглядываю в окно, за которым воображаемый капитан Силантьев насилует свою жену! Неужели это как-то подобно тому, что происходит сейчас, когда под музыку Чайковского тренированные молодые мужчины и женщины ритмично двигаются в просторном солнечном зале? Неужели и то и другое укладывается в общую систему Krafft-Ebing, в систему половых извращений? Но в данном случае — эстетизированных половых извращений?»

Вдруг Сереже показалось, что из окна училища кто-то на него глянул. Он отошел подальше, купил у лоточницы мороженое, потом купил в киоске «Комсомольскую правду». Все время ходить взад-вперед было неприлично, на него уже поглядывали старушки, лаяли собачки. Поэтому Сережа пошел к расположенному чуть выше по крутой улице скверику, сел на скамейку. Чайковский отсюда был едва слышен, но выход

из училища ясно просматривался. Сережа поглядывал то в газету, то на училище. «Питомцы комсомола» — прочел он крупный заголовок.

В скверике на соседней скамейке сидела какая-то семья, по-московски бледная, незагорелая, с лицами однотонными, как непропеченное тесто. Он был белокур и лысоват, она так же белокура и некрасива и белокурый ребенок — непонятно, мальчик или девочка — в розовом костюмчике. У всех троих были одинаковые голубые глаза. Он что-то говорил, явно наступательное, она отвечала, отражала, отбивалась, и лица обоих были сосредоточены, напряжены, повернуты навстречу друг другу. Лицо же малыша было мирное, ничем не обремененное. Вдруг, не прерывая разговора, мужчина схватил лежавшую на скамейке обувную коробку и сильно по дуге метнул ее на газон. Коробка раскрылась в воздухе, и женские босоножки белого цвета шлепнулись на траву, поодаль один от другого. Он и она продолжали шевелить губами, но малыш тотчас слез со скамейки, заковылял медвежонком к газону, поднял одну босоножку и, деловито пыхтя, принес, положил на скамейку. Затем малыш трудолюбиво принес и вторую босоножку, принес по частям картонную коробку...

Сережа так загляделся на этот бытовой, семейный сюрреализм, что пропустил момент окончания репетиции. Когда он глянул в сторону училища, оттуда уже вереницею выходили и Чайковский более не звучал. Сережа вскочил, быстро пошел к училищу, и едва он приблизился, как вышла Каролина. Сережа метнулся назад, за киоск, испугавшись, что она увидит его, мигом осознав всю нелепость происходящего.

К счастью, Каролина была не одна, внимание ее было отвлечено немолодым, высокого роста человеком с длинными, курчавыми, поблескивающими проседью волосами. Что-то Каролина и курчавый говорили между собой, и оба смеялись, общаясь одновременно с другими, выходившими молодыми мужчинами и женщинами, и те тоже смеялись чему-то общему, всем понятному, но ему, Сереже, неведомому и недоступному. Меж тем вышел в веренице балетных людей и атлетически сложенный юноша, коротко стриженный, круглоголовый, с азиатским разрезом глаз. Он подошел к Каролине, что-то ей

сказал, та улыбнулась, погрозила пальчиком, что-то сказала узкоглазому, что-то сказал узкоглазому и курчавый, и затем все трое пошли вниз по крутой улице.

Сережа, несколько выждав, двинулся следом, сам не зная зачем, но стараясь не потерять Каролину из виду. Крутая, тихая улочка негромким ручейком влилась в шумный, бурный центр Москвы, и следить за Каролиной становилось все трудней. При переходе через площадь у Большого театра Сережа вовсе ее потерял, но рванул на красный свет через улицу, прошмыгнул перед несущимся автомобилем и настиг, увидел ее уже на улице Горького, сориентировавшись по ее курчавому спутнику, голова которого возвышалась над толпою прохожих. Идя вверх в сторону Пушкинской площади, Каролина и ее спутники вошли в магазин минеральных вод. Сереже тоже захотелось пить. «Войти б, — подумал он. — Если увидит в очереди, то это естественно». Но все-таки не вошел, остался стоять, прислонившись к одной из растущих вдоль улицы лип, и вынул газету, опять прочел заголовок: «Питомцы комсомола».

Выйдя из магазина минеральных вод, Каролина со спутниками вошла в толчею Елисеевского магазина. Курчавый и атлет словно несли ее, загораживая локтями и плечами от толпы, к которой, увы, принадлежал и Сережа. Они несли ее из отдела в отдел, от колбасного отошли с промасленным жирным пакетом, от винно-водочного с желтой бутылкой лимонной водки, потом протаранили толпу на пути в хлебный и вывалились с белым батоном через боковую дверь в переулок. Из переулка опять на улицу Горького, пересекли Пушкинскую площадь и свернули на Большую Бронную.

На Каролине сегодня было узкое, обтягивающее балетную фигуру, темно-красное шелковое платье, ножки ее ступали, обутые в красные на высоком тонком каблучке туфельки. Почему-то вспомнились уродливые белые босоножки, брошенные по дуге на газон, вспомнился семейный сюрреализм, в стиле которого живут миллионы. «Неужели и я буду когда-нибудь так жить, скучно и несчастливо? — с отчаянием подумал Сережа. — Нет, такая жизнь теперь для меня невозможна... Лучше умереть...»

Каролина со своими спутниками зашла на маленький рынчек, расположенный у Бронной. В прохладном гулком пустом павильоне пахло сушеными грибами и соленьями. Сережа, спешивший следом, вначале вновь потерял их из виду, но потом увидел в дальнем конце, где Каролина, курчавый и атлет ели моченые яблоки, купленные у торговавшей ими толстой бабы. Сережа смотрел на всю эту чужую, радостно аппетитную жизнь издали; в полупустом павильоне его легко можно было заметить, а к этому Сережа был не готов, этого он еще опасался. Чего он хотел? Ничего. Просто смотреть на Каролину, просто видеть ее. Впрочем, она, вероятно, его и не помнила; видела мельком тогда на обеде, мало ли кто мимо нее мелькает... Действительно, она прошла совсем близко от Сережи и не заметила. Или не узнала. Выйдя из рыночного павильона, Каролина, атлет и курчавый подошли к стоянке такси, и вскоре они окончательно унеслись вниз по Тверскому бульвару. «Глупо как! — подумал Сережа. — Зачем я шел сзади, зачем следил, как шпион? Более я никогда так...»

На следующий день в это же время он, однако, был возле хореографического училища, прогуливался взад-вперед от знакомого уже скверика и обратно. Было по-прежнему солнечно, но стало прохладней, и окна оказались закрыты, музыки было не слышно. Лишь приглядевшись, можно было различить в классах обнаженные руки, обнаженные плечи,двигающиеся в заданном ритме.

Когда репетиция кончилась, Каролина опять вышла с курчавым. Сегодня по случаю прохладной погоды она была одета потеплей, спортивно-фольклорно. На ней был серый, домашней крупной вязки пуловер, из-под которого видна была полотняная вышитая рубаха, серая широкая юбка, желтые пощиколотку сапожки. Поверх пуловера — коротенькая, на меховой подкладочке, безрукавка, через плечо зелено-коричневая козровая сумка. Курчавый же был одет, как и вчера, в ширпотребовский пиджак, похожий, кстати, на Серезин.

Не дожидаясь на этот раз атлета, Каролина и курчавый вдвоем пошли вниз по крутой улице. Ноги сами понесли Серезу следом. Повторялось вчерашнее. Опять была шумная площадь перед Большим театром, опять Сережа отстал, опять

приходилось бежать на красный свет, опять идти вверх по улице Горького до магазина минеральных вод. Но на этот раз Каролина с курчавым сюда не зашли, миновали и Елисеевский, пересекли Пушкинскую площадь и здесь вдруг деловито, даже, как показалось Сереже, холодно расстались. Да и говорили на этот раз мало и почти не смеялись. Курчавый перед расставанием лишь чмокнул Каролину в щеку и ушел в метро, оставив ее одну. Она глянула на свои ручные часы, вошла в будку телефона, и тотчас же Сережей овладела такая робость, что захотелось пройти мимо, потерять Каролину из виду, успокоить дыхание, утишить сердце... Но он продолжал униженно стоять, обливаясь потом, несмотря на прохладную погоду. Он видел, как Каролина говорит по телефону, поворачиваясь то в профиль, то спиной, и уже решил в этот момент, когда она повернется спиной, пройти мимо, незамеченным. Но все стоял, а когда она выходила из телефонной будки, придерживая дверь и пропуская в нее какого-то пожилого мужчину, он в отчаянии приблизился под тревожный, барабанный бой сердца и сказал: «Здравствуйте, Каролина!»

Взгляд Каролины стал настороженным, удивленным.

— Вы меня не помните? — торопливо и как бы сам собой произнес Сережин голос, — у Алеши Кашеварова-Руднева... Вы с его сестрой приходили, с Сильвой...

— Серьожа! — воскликнула Каролина. — Это вы, Вертер, да!.. Здравствуйте, Серьожа, что вы здесь поделяваете?

— Я случайно проходил... Гулял и вот, заметил вас.

— У вас есть время гулять? Я вам завидываю. Правильно? Завидываю?

— Завидую, — улыбнулся Сережа.

— Да, завидую, — Каролина засмеялась.

Засмеялся и Сережа. Теперь уж у него было право смеяться вместе с Каролиной, как вчера смеялись атлет и курчавый. Место было людное; прохожие вокруг шли густо, и Сережа уже прикрывал, уже огораживал Каролину от постороннего напора, как это делали вчера атлет и курчавый, уже ощутил он счастливую свою близость к ней, недоступную иным, как недоступна она была и ему минуту-другую назад. Он вдруг по-

чувствовал, что счастье, которое он вынашивал и вымаливал все эти дни, а может быть, вынашивал и вымаливал давно, с раннего молочного младенчества, с первого глотка воздуха, — счастье, молчаливое, как икона, когда-то висевшая в углу няньки Дуни, — это счастье откликнулось вдруг, обрело голос и пошло рядом с Сережей.

— Пойдем или поедем? — спросил Сережа.

— Пойдем, — сказала Каролина, — я мало бываю на воздухе... Погода превосходная. Превосходная — правильно? Трудное русское слово...

Она засмеялась. Смеялась она ослепительно.

— Немного ветрено, — сказал Сережа, чтоб только не умолкать, чтоб говорить и говорить с Каролиной.

— Ветрено? Но это на мне теплое. Это без рукавов... Это правда баран.

— Какой баран? — засмеялся Сережа.

— А, это смешно... Это по-русски смешно. Правда баран — так по-чешски называется натуральный мех.

— Натуральная цигейка?

— Да, да... У нас в магазинах на шапках или шубах везде написано: правда баран.

Они говорили и смеялись без умолку, пока шли кружным путем, сначала вниз, к площади Восстания, по грохочущей широкой улице, а затем тихими арбатскими переулками.

— Здесь мы познакомились, — сказала Каролина, останавливаясь и указывая на старый серого цвета пятиэтажный дом, видневшийся вдаль на противоположной стороне улицы, дом, где была квартира Кашеваровых-Рудневых.

Она указала пальчиком в глубину улицы, и Сережа вдруг смело наклонился и поцеловал этот указательный бело-розовый, как конфетка, пальчик. Каролина посмотрела на Сережу притворно строго, но глаза ее лучились, глаза играли, ласкали и миловали.

— Ты часто влюблялся, Серьожка? — спросила она.

— Нет, один раз, в детстве.

— О, детская, чистая любовь к девочке!.. Клятва верности, да? И чем это заканчивалось?

— Ничем. Я выпил бутылку чернил.

— Чернила? Почему ты напился чернилом? Обычно напиваются ядом. Напиваются — правильно я говорю?

— Если б я выпил яд, то не встретил бы тебя. Это Бог помог.

— Бог? Ты верующий?

— Нет, но теперь, может, поверю.

Все произошло неправдоподобно быстро, все оправдало самое несбыточное.

«Вот почему говорят о любимой женщине: неземная, — с радостным трепетом думал Сережа. — Когда спокойное сияние твоих таинственных лучей... Лишь теперь становятся по-настоящему понятны эти пушкинские строки... Что вы, восторги сладострастия, пред тайной прелестью отрад прямой любви, прямого счастья... Да, прямая, но неземная любовь...»

Уже в ресторане, за столиком, он заметил в Каролине и незначительные штрихи земного — три маленьких, красноватых прыщика на белой шейке, недалеко от розового ушка с поблескивающим камушком. Все остальное, однако, осталось неземным. За спиной у Каролины было зеркало, точнее, зеркальная стена, и Сережа мельком все поглядывал в эту стену, где Каролина видна была сзади — хрупкие женственные плечи, прямая женственная спина. «Я люблю ее всю, — блаженно думал Сережа, — а вместе с ней всю Вселенную от края и до края... Как хорошо жить, как хорошо!»

В ресторане «Прага» Каролину знали. Видимо, она здесь часто бывала. Официант поздоровался с ней, как со знакомой, указал удобный отдельный столик и быстро принес заказанное Каролиной: «рожниччи» — жареное свиное мясо, посыпанное мелко нарезанным сырым луком, — и бутылку легкого чешского вина.

— Ты, Серьожа, можешь взять себе чешские кнедлики из творога. Очень вкуснятина. Мне жаль, нельзя из-за фигуры, но у нас есть тапер, играет на репетиции, так он всегда берет две порции.

«Это тот курчавый», — подумал Сережа, и ревность заняла в его нутре, мгновенно набрав чрезвычайную силу.

— Что же он играет? — спросил Сережа, чтоб нейтральным вопросом остановить растущую тоску ревности.

— Что играет? О, разное... Чайковский или это... Та, ра-ра, ра-ра, ра-ра... Та, ра-ра, ра-ра, ра-ра... «Цыганский танец» Брамса...

— Ты часто здесь бываешь с этим курчавым? — не выдержал Сережа.

— С курчавым? Откуда ты знаешь, что он курчавый!

— Предполагаю.

— Да, действительно курчавый, волосы вьются. Он жид. Ты не пугайся, по-вашему, по-русски, это ругательство, а по-нашему, по-чешски, обычное слово, как чех и русский. У нас в Праге есть жидовское место — еврейский город по-русски, в самом центре... Правда, мертвый, там жида теперь не живут, там музей. У нас тоже есть антисемиты, но здесь больше. Вы, русские, не любите евреев, я знаю. Мне Вадим рассказывал.

— Вадим — это курчавый?

— Да. Он композитор, музыкант, а работает тапером. Ему не дают дороги, потому что он еврей.

— Отчего же? — все острее чувствуя растущее раздражение против курчавого, сказал Сережа. — Он говорит неправду. У нас много евреев музыкантов и композиторов.

— Это которые приспособились... Мне Вадим рассказывал.

— Он врет! — уже не сдерживая себя, зло, тоскливо сказал Сережа, чувствуя, что Каролина, недавно еще близкая, начала от него ускользать к курчавому, хотя того и не было рядом. — Он врет! — снова зло повторил Сережа.

— О, Серьожа, у тебя ненависть, — она произнесла «ненависть» по-чешски, делая ударение на «а», — у тебя тоже ненависть к евреям...

— Только к одному, — сказал Сережа, — только к этому!

— О, ты ревнивый, как туркмен! У меня есть приятель, туркмен. Когда он сердится, у него белки глаз краснеют... Посмотри на меня, Серьожа, посмотри...

— У меня глаза не краснеют. И я не сержусь.

— Нет, сердисься... Посмотри, посмотри... Посмотри! — вдруг приказала она негромко, но властно.

Он подчинился, глянул своими темными в ее светло-карие. Надсадно ныло под сердцем, давило и теснило. Он хотел отвести глаза, однако не посмел, подчиняясь властному взгляду Ка-

ролины. Меж тем глаза Каролины начали сужаться, морщинки обозначились на коже, подкрашенные ресницы дрогнули.

— Ты, Серьожа, моргаешь, — сказала Каролина и засмеялась, обнажая маленькие, мышинные зубки.

Сереза тоже облегченно засмеялся, вдохнул глубоко, точно минуло что-то удушливое.

— Вот теперь ты другой, — сказала Каролина, — теперь ты обаятельный. Теперь в тебе не ненависть, а ласка... Ласка — это по-чешски любовь.

— Ласка, — повторил Сереза, — красивое слово.

— Славянское слово. А в вас, русских, много азиатского. Москва — азиатское слово и город азиатский. Арбат — это тоже азиатское слово. Ты не обижаешься? Сильва, когда я так говорю, всегда обижается. Она хорошая, а муж у нее питомец.

— Питомец? Какой питомец? Чей питомец?

— Просто питомец, — сказала Каролина и постучала себе пальцем по лбу. — Ах, опять смешно... Питомец — это по-чешски дурак.

— Питомец комсомола, — сказал Сереза и засмеялся. — Я вчера в газете читал, когда ждал тебя...

— Ждал меня? Ты вчера ждал меня? Где?

Сереза почувствовал, что жар прилил к его лицу.

— Я уже тоже путаю... Я хотел сказать: думал о тебе и читал газету, а в газете — «Питомец комсомола».

— Питомец комсомола. — Каролина залилась своим волнующим, звенящим смехом. — Очень смешная связь меж чешским и русским, — сказала она, отсмеявшись и вытирая глаза платочком. — Когда русские приезжают к нам в Прагу, им многое кажется смешно... Всюду висит — «Позор». «Позор» — объявление такое повсюду написано: и на железной дороге, и при автопереездах... «Позор», по-нашему, — внимание, осторожно.

— Красивый город Прага? — спросил Сереза.

— О, Прага злата... Золотая. Это надо повидать и тогда лишь разумеешь. Пшиконы, Вацлавское напесте, Сметоново набрежина, где я работала в Народном дивадло... Это наш оперный театр, как у вас Большой. Ты хочешь приехать в Прагу, Серьожа?

— Очень хочу погулять с тобой по Праге. Вообще поехать по Чехословакии. Говорят, красивая страна.

— Россия тоже красивая, — сказала Каролина, — но она, как это сказать... Неубранная... Неубранная квартира. Я была в коммунальной квартире, где живет Вадим, там в коридоре дорогой дубовый паркет, но разбитый, грязный, заплесанный, мокрый. Такая и Россия — неубранная. Много несчастных животных, много собак возле помоек, грязных, несчастных и злых, недоверчивых. Я хотела одну покормить, она мне показала клыки, зарычала. Злые и обиженные собаки мне русских людей напоминают с улицы. Тех, которые на улицах толкаются и ругаются. Ты, Серьожа, опять обижаешься. Вы, русские, очень обидчивые. Других вы ругаете, особенно евреев, а сами очень обидчивые, и вам нельзя говорить правду. Вот Сильва, она хорошая женщина, но очень обидчивая.

«Она бывает у курчавого дома, — с сердечной тоской думал Сережа, — и при чем тут Сильва? Все время она то про курчавого, то про Сильву».

— Серьожа, Серьожа, — сказала Каролина, — улыбнись опять, Серьожа, улыбнись. У тебя обаятельная улыбка. Расскажи мне про себя, Серьожа. Ты тоже будешь доктор, как и Алеша?

— Да, мы учимся вместе. И отец доктор по женским болезням.

— А где твой отец? Здесь?

— Нет, в провинции. Работает в клинике. Но скоро ему уже на пенсию.

— У тебя до твоего отца есть ласка? Ты его любишь?

— Да. Он умный, добрый, очень культурный. Любитель и знаток Пушкина.

— А я своего отца не люблю, — сказала Каролина, — у меня отец генерал, чешский генерал. Но мама у меня хорошая. У тебя, наверно, тоже хорошая мама, это чувствуется. Ты очень обаятельный, добрый, а это может быть только под влиянием хорошей матери.

— Нет, я свою маму не помню. Она умерла, когда я был маленький.

— Бедный, бедный! Ты, наверно, на нее похож, я чувствую. Глаза у тебя материнские, да?

— Наверно. У отца другие глаза, светлые, а у меня, как у мамы. У меня мама была еврейка.

— Вот как, — оживилась почему-то Каролина, — ты это скрываешь?

— Я это не скрываю, но я это не говорю.

— Вот видишь, значит, я права и Вадим говорит правду.

«Опять Вадим», — досадливо подумал Сережа.

— Не буду больше о Вадиме, не буду, — заметив Сережино недовольство, пообещала Каролина. — Но мой папа, наверное, прав. Он говорил мне, что у меня слабость к евреям, когда я вышла замуж. Мой первый муж был еврей. Моя фамилия по первому мужу — Клусакова.

— Ты его любила?

— О, Серьожа, меж нами была большая ласка. Это был мой первый мужчина. Он старше меня на девять лет. Он замечательный человек, хороший чешский композитор, музыкант, пишет музыку для кино...

Подошел официант, предложил недавно полученное свежее чешское пиво.

— Да, конечно, — сказала Каролина. — Мой приятель выпьет, а мне нельзя — фигура...

Когда официант принес большую кружку пива, Каролина взяла ее и спросила Сережу:

— Можно, я у тебя чуть-чуть попробую? Ты разрешаешь?

— Разрешаю, разрешаю...

— Ты добренький, — она улыбнулась, глотнула, — это пльзенское. Оно считается лучшим чешским пивом. Но настоящее чешское пиво делают на маленьких пивоварнях для маленьких погребков. Я иногда себе позволяю. У нас есть пивной погребок, называется — «У доброго ката», у доброго палача. Там когда-то жил палач, который сам отказался от своей профессии. Правда, добренький? Ведь это редко, чтоб палач сам отказался. На вывеске кат стоит с крестом и мечом. А рядом кружка пива. Приезжай, Серьожа, приезжай, помотришь... А в общем, Серьожа, всюду люди живут одинаково, все люди одинаковы и все хотят одного — иметь красный живот. Это, по-нашему, значит — красивая, счастливая жизнь.

— Красный живот, как славно сказано. Красивый чешский язык, — сказал Сережа.

Подошел официант, Сережа вынул кошелек.

— У тебя есть? — спросила Каролина. — Я могу дать, — и полезла в кофровую сумку.

— У меня есть, — сказал Сережа и расплатился.

— Ты богатый. Папа деньги дает?

— Нет, я у папы не беру. Недавно гонорар получил за статью, которую мы вместе с Алешей писали.

— О чем статья?

— Да неважно... Тема статьи невеселая.

— А все-таки, как называется?

— Хорионэпителиома матки.

— Матка, матка... Ах, я знаю, что такое матка, — она подмигнула Сереже и засмеялась, — а первое слово что означает?

— Хорионэпителиома — злокачественная опухоль темно-красного цвета. Значит, и красный цвет не всегда счастливый.

— Да, это ужасно, — Каролина притихла, плечики ее опустились, она подперла щеку рукой, — и спасти при этой, как ее, уже невозможно?

— В ранней стадии, при удалении матки и придатков имеется надежда.

— Это ужасно! Перед этим ничто не имеет цены. Но пока этого нет, пока оно кажется далеко, надо дорожить радостями жизни и пользоваться ими. Ты согласен?

— Согласен. Поэтому я, наверно, стану верующим в благодарность Богу, который послал мне тебя.

— О, верующим!.. Но тебя прогонят из комсомола, ты не боишься? Ты ведь питомец комсомола?

— Питомец.

Оба засмеялись. От чешского вина и пива у Сережи кружилась голова, ноги были легкими, пружинистыми. «Ах, можно ли так влюбляться, — думал Сережа, глядя на Каролину, — так ослепляюще, оглушающе, точно в наваждении... Не будет ли расплаты за счастье? Да нестрашно, неважно, за это любую цену платить можно. Меня несет, несет, как с корнем вырванное дерево несет поток, и я готов разбиться, исчезнуть, слиться с этим, захватившим меня, потоком».

— Тебе не надо сюда? — спросила Каролина, указав на одну из занавешенных зеленой портьерой дверей и сама идя к другой.

Этот жест и эти слова обрадовали Сережу, в этом было уже нечто близкое, домашнее, даже интимное. И в туалете, среди каких-то мужчин, Сережа стоял счастливый, жалея всех, кто сейчас несчастлив. Когда он вышел, Каролина уже ждала его у входа. Эта краткая разлука и быстрая встреча восхитили кружащуюся Сережину голову. «Она впервые ждет меня!» — подумалось радостно. Сережа потянул дверь, но та не подавалась. Он потянул сильнее.

— Поломаешь, — сказала Каролина и улыбнулась, — надо там, а ты сам, — она легко толкнула дверь и та открылась, — сам-там, тоже русским смешно. У нас на дверях написано: «сам», значит — к себе; а «там», значит — от себя.

— Когда мы повидаемся, Каролина? — спросил Сережа.

— Когда? Может, через недельку.

— А завтра? Завтра нельзя?

— Завтра нельзя. Я очень занятая. Через недельку. Запиши твой телефон, я позвоню.

Сережа записал телефон и протянул Каролине. Она глянула.

— Это где-то недалеко от меня, — и сунула бумажку в кофровую сумку.

— А твой телефон, Каролина? Где ты живешь?

— Я живу у Кировской. Но лучше я тебе сама позвоню. Возьми мне такси, я уже опаздываю.

Сережа метнулся, побежал на перехват такси так решительно, что таксист остановился.

— Спасибо, Серьожка, спасибо! — и вдруг, поднявшись на цыпочки, оглушила поцелуем в губы.

Когда Сережа опомнился, такси уже уносилось и мелькало улыбающееся лицо Каролины за задним стеклом, мелькала рука, которой Каролина махала, пока все это не было заслонено потоком машин. И сразу вся суетливая жизнь вокруг помертвела. Человеческие лица раздражали, не хотелось никого вокруг себя видеть. «Неделька, — думал Сережа. — Что же я буду делать эту недельку без Каролины?.. Невыносимо!»

В полусне, в полубреду добрался Сережа домой и лег на койку. Кирпичный экран горел, беспощадно освещенный солнцем. До вечера было далеко, а как же еще далеко до конца этой «недельки»? «Что она будет делать эту недельку? Опять курчавый? Невыносимо!.. Я безумно влюблен. Безумно! — он крепко сжал кулаки, крепко сжал зубы, точно хотел сам себе подтвердить, как он влюблен. — И я счастлив. Да, я счастлив... Я счастлив от своей любви... — Ему было тяжело дышать, он растегнул, затем снял рубашку, снял и майку. Все мешало, он лежал в одних трусах. — Первый раз в жизни такое счастье... — думал. — Хаос, хаос, вот, что меня окружало до сегодняшнего дня... Зачем я жил столько лет напрасно? Нет, не напрасно! — Тут же себя и успокаивал: — Не напрасно... Я жил, жил и дожил до сегодняшнего дня. Все эти увлечения, о Боже мой, все эти влюбленности детства, которые теперь так смешны, — все это готовило меня к сегодняшнему дню, все это окружает сегодняшний день кольцами, психическими обертонами Джемса... О, Боже мой, я счастлив, я счастлив, я умираю от счастья». Он жестикулировал, потирая руки, и со стороны выглядел обычным клиническим безумцем, но не замечал этого, пока не ударился случайно, жестикулируя, головой о стену, — ударился так, что огненные круги сверкнули перед глазами. Тогда лишь, опомнившись, с болью в голове, он лег, утомленный, на койку, притих, однако думать продолжал все о том же, не замечая времени, а меж тем кирпичный экран был освещен уже не солнцем, а луною.

«Лунная ночь, — подумал Сережа, осознав наконец происшедшее изменение, — в лунную ночь все обманчиво. В лунную ночь тень дерева может быть принята за человека, а грохот телеги по деревянному мосту за отдаленный гром...» Он взгляделся и узнал, увидел все, о чем думал. Из темного пятна древесной тени вырастал человек, а грохот телеги по деревянному мосту превращался в отдаленный гром. В раскатистый, звонкий гром с неба. Еще в исчезающем полусне, в незнакомой лунной местности Сережа с полузакрытыми глазами схватил телефонную трубку и услышал голос Каролины:

— Серьожа, это я, Каролина... Ты думал про меня?

— Я о тебе думал... Я все время о тебе думал.

— Я тоже про тебя думала, Серьожа...

— Каролина, я не могу ждать неделю! Мы должны увидеться завтра...

— Да, Серьожа, мы должны увидеться... Я к тебе еду, скажи мне адрес.

— Когда едешь?

— Сейчас. Я возьму такси. Скажи адрес.

Ничему не удивляясь, как в продолжающемся лунном сне, Сережа сказал адрес.

— Это близко... Я скоро буду, до встречи. Ты один?

— Один, один!

— До встречи. Я буду через двадцать минут, через полчаса...

Сережа смотрел вокруг, видел свою маленькую комнату, свои вещи, привычную стену за окном, освещенную луной и ночными отсветами, видел все это и не узнавал — все приобрело какую-то дополнительную глубину, особые качества. Посидев так, он опомнился, бросился все убирать, приводить в порядок, но руки не слушались, и за что бы он ни брался, тут же бросал и — слушал, слушал, напряженно слушал, не подъехало ли такси, не позвонили ли в дверь... Уже минуло полчаса, а не звонили. Наконец режущий, никогда прежде не слышанный звук. Бросился, опрокинув по дороге стул, заранее воображая ночное лицо Каролины, ее улыбку, лучистые, светло-карие глаза... Распахнул дверь сильно, широко... За дверью была призрачная пустота, освещенная тусклой электрической лампочкой. «Слуховая галлюцинация», — подумал с тоской и испугом. Бросился назад, к телефону, снял трубку, но тут же вспомнил, что не знает, куда звонить.

Когда в отчаянии ждешь звонка, когда вся жизнь твоя связана с этим звонком, молчащий телефон страшен, страшны все посторонние звуки, даже стук собственного сердца — все тогда лишнее... Но вот звонок. Схватил трубку, нет — это в дверь. Метнулся, опять опрокинув стул. За дверьми Каролина, точно такая, воплотившееся воображение — улыбка, лучистые светло-карие глаза... Но все живое, прохладное от ночного холода, пахнущее чем-то божественным.

— Извини, долго поймала такси.

«Это милое до слез слово — поймала». Чтоб не разрыдаться от счастья при первых же звуках ее голоса, он молча жадно припал к ее улыбающимся губам, поднял на руки и понес, вдыхая, наслаждаясь запахом ее волос, ее прохладной кожи. Каролина обняла его за шею руками, и так он кружил с ней по комнате, пока не наткнулся на поваленный стул, едва не упав, пошатнувшись.

— Серьожка, поставь меня, покуда я еще жива, — сказала Каролина, оглядывая его жилье.

— У меня беспорядок, — едва перехватив ее взгляд, заторопился оправдываться Сережа, — комната маленькая...

— Нет, очень мило, — сказала Каролина, освободившись наконец из Серезиных объятий и поправляя волосы, — жилье бедного, но умного человека... Много книг. А это Максим Горький? — указала она на портрет Ивана Владимировича, стоявший на полке.

— Нет, это мой отец... Мой папа.

— О, похож на Горького! Хорошее русское лицо. Видно, что интеллигент и либерал.

— Да, он либерал. Немножко либерал, немножко антисемит, как многие русские интеллигенты...

— О, это нехорошо!.. Но ты на него не похож, только скулы и подбородок, а глаза другие.

— Да, глаза у меня от матери.

Наступила неловкая пауза. Сережа не знал, что дальше говорить и что дальше делать.

— Ты меня напоешь чаем? — преодолев наконец паузу, спросила Каролина.

— Напою, — ответил Сережа, от волнения забыв, как правильно произносится это слово, и повторяя его вслед за Каролиной.

Сережа вышел в маленькую переднюю, где стояла газовая плита, нашарил спички, набрал в чайник воды, все это дрожащими руками, ломая спички и расплескивая воду. Поставив чайник на зажженную плиту, он начал шарить по полке, ища сахар и печенье.

— Серьожка, почему долго? Иди сюда, Серьожка, — позвала Каролина.

Он вошел в комнату и увидел ее уже полураздетой, своими тонкими руками, поднятыми, как в танце, она извлекала заколки из волос. Мило встряхнула головой, и волосы рассыпались по ее худым плечикам, касаясь костлявых ключиц. Грудь у нее была необычайно маленькая, совсем почти детская, но бедра, которые охватывали телесного цвета кружевные трусики, были широки и хорошо развиты.

— Иди ко мне, Серьожка, — сказала Каролина и, взяв его руки своими, положила их себе на бедра, а потом вдруг высоко подняла свою легкую ножку и опустила ее Сереже на плечо. Когда Сережа по повелению этой ножки присел на кровать, Каролина своими тонкими пальчиками ловко надела на грубо вздувшуюся Сережину крайнюю плоть нежный розового цвета явно зарубежный гондон, мигом эту грубую, постыдно напряженную плоть облагородив. То, что исходило от Каролины и порабощало Сережу, не было ни страстью, ни похотью, это было нечто подобное сомнамбулизму, трансу, когда вместо обычного жара наслаждение приносит холод: это были движения без стонов и криков, без телесных объятий — легкие, воздушные, неутomляющие, словно не Сережино тело наслаждалось, а только душа. И во всем Сережа с блаженной радостью подчинялся Каролине, как подчиняется младенец ласкающей матери, во всем следовал за ней и принимал те телесные позы, какие она создавала и направляла. В радостном забытье, уж не зная, как более подчиниться и как полнее отдаться, он ткнулся губами к живому, эластичному, упругому, переходящему в мягкое, шелковистое, нежное, уже не в атласную кожу, а во внутреннюю слизистую оболочку... И все это направляемый Каролиной, обнявшей Сережу за голову у затылка и пригибающей, пригибающей голову до боли в шейных позвонках.

— Нет, это ты не можешь, — сказала наконец Каролина, засмеявшись, — ты это делаешь, как тля краве... Как тля краве лижет... Ты не можешь и никто здесь не может, — добавила она вдруг.

Последние слова Каролины горячо, свинцово ударили по расслабленному Сережиному сердцу, и он лежал сраженный, убитый ими в момент такой телесной и душевной близости, такой любви к этой женщине, которую, казалось ему, раньше он

и вообразить бы не мог. Наконец он поднял на нее глаза. Она сидела на кровати, привалившись к стене, поджав ноги, обхватив руками колени, чудесно обнажая, не скрывая от него ничего своего, выворачивая перед ним, показывая самое свое интимное.

— Что ты, Серьожа? Ты обиделся?

— Я питомец комсомола, — сказал он, обняв ее ноги и целуя их, — Каролина, я не смогу жить без тебя.

— Разве? — засмеялась она. — Сможешь, Серьожа, сможешь...

— Не смогу... Я не хочу жить без тебя, теперь уже глупо жить без тебя.

— Ну спасибо, Серьожа, — сказала она, глядя его по волосам.

— Спасибо тебе, Каролина... Спасибо тебе за все. Только с тобой я понял, как пахнет счастье. У него запах твоих волос.

— Запах ты не говори, — засмеялась Каролина, — по-нашему, по-чешски, запах — это нехорошо. Какой запах, говорят, когда плохо пахнет... А когда пахнет хорошо, где-нибудь в Татрах на свежем воздухе, говорят — яка воня.

— Яка воня от тебя, — сказал Сережа и засмеялся.

— Да, хорошая воня, «Шанель номер 19».

Они говорили уже спокойно, по-семейному уютно сидели за столом, но в этом спокойном, семейном сидении рядом с Каролиной было для Сережи не меньше наслаждения, чем он испытал с ней в постели. Просто это было иная форма одного и того же, — того, что даже Пушкин не в состоянии был назвать иначе, чем любовь. «Я Вас люблю, чего же боле, что я могу еще сказать». Он с радостью смотрел, как Каролина похозяйски наливает ему и себе чай. Это был новый, свежезаваренный чай, прежний выкипел без остатка во время их близости. Даже чайник едва не расплавился. Каролина пила чай мелкими глотками, грызла печенье мышинными своими зубками, и Сережа с умилением думал: «Если б она была мне сестрой; родной сестрой, родным по крови человеком! Я, конечно, все равно был бы в нее кровосмесительно влюблен...»

— У тебя есть брат, Каролина? — спросил Сережа.

— Брат? Да, есть брат.

— Он тебя, конечно, очень любит.

— О, что ты, он меня ненавидит! Он нашему отцу и нашей матери на меня все время нехорошо говорит. И жена его меня ненавидит.

— Не понимаю человека, который может тебя ненавидеть.

— Очень, очень многие! — улынулась Каролина. — Очень многие меня ненавидят. Ты тоже, наверное, будешь меня ненавидеть...

Опять ударило свинцом по сердцу. Видимо, он изменился в лице, потому что Каролина тут же погладила его по волосам, приласкала.

— Прощай меня, Серьожка... Я пошутила. Ты очень миленький. Ты так долго смотрел на меня, я заметила. Почему ты смотрел?

— Я подумал — хорошо бы стать твоим братом, — признался Сережа.

— Да, брат ты был бы мне добрый, — улынулась Каролина. — Жаль, что ты мне не брат. Но ведь у брата будет жена. Как твоя жена ко мне отнесется?

— Я бы не женился...

— О, ты был бы монах. А я тоже была бы твоя святая девка... Или твоя старая девка, — они опять засмеялись.

— Каролина, я не знаю, как еще тебе сказать, как я тебя люблю, какая у меня к тебе ласка... Я хотел бы тебе почитать Пушкина, может, Пушкин мне поможет сказать тебе это, — он подошел к полке, взял томик, — у Пушкина есть стихи, называются «Месяц», то есть луна... Очень похоже по чувствам на то, что у нас. На то, что со мной произошло в эту лунную ночь. Хочешь послушать? Удивительно похоже...

— О, Пушкин. Я люблю Пушкина. Это великий русский поэт, это европеец в Азии. Но, миленький, извиняй меня, в другой раз считаешь. Я тороплюсь, Серьожка, мне пора. — Она глянула на часики.

— Остайся у меня, я тебя не буду стеснять, я лягу на стульях.

— Спасибо, добренький мой, не могу. Ты меня проводить?

— Да, конечно. Но мы скоро увидимся? Скоро, Каролина?

— Скоро. Сегодня понедельник, нет, уже вторник... Я позвоню тебе в четверг. Когда тебе удобно?

— Я буду ждать, когда ты скажешь.

— Я позвоню в четыре. Дай мне бумагу, я себе записываю — в четверг, в четыре позвонить Серьожке миленькому, — и оглушила поцелуем в губы.

Лунная ночь кончилась, небо уже синело, скоро должно было рассветать. Серезу трясла лихорадка, он вздрагивал. «Подольше бы не было такси, подольше стоять бы так, держа Каролину за руку». Однако такси, так трудно добываемое ночью, как назло, появилось быстро, мелькнуло зеленым огоньком на ветровом стекле — свободно.

— До почутья, Серьожка, — сказала Каролина.

Они поцеловались.

Таксист, выставив вперед свою ненавистную рожу, беззастенчиво смотрел, как они целуются.

— Я поеду с тобой, — сказал Сереза, — провожу до дому.

— Нет, я поеду одна.

Она уехала, опять мелькнув улыбкой в заднем стекле и махая рукой, пока не скрылась из виду. Вернувшись, Сереза увидел свою пустую смятую постель, недопитый чай, недоеденное печенье... На столе лежал томик Пушкина, раскрытый на стихотворении «Месяц». Сереза взял томик и, сев на смятую постель, прочел:

Зачем из облака выходишь,
Уединенная луна,
И на подушки, сквозь окна,
Сиянье тусклое наводишь?
Явленьем пасмурным своим
Ты будишь грустные мечтанья,
Любви напрасные страданья
И гордым разумом моим
Чуть усыпленные желанья.
Летите прочь, воспоминанья!
Засни, несчастная любовь!
Уж не бывать той ночи вновь,
Когда спокойное сиянье

Твоих таинственных лучей
 Сквозь темный ясень пронизало
 И бледно, бледно озаряло
 Красу любовницы моей.
 Что вы, восторги сладострастья,
 Пред тайной прелестью отрад
 Прямой любви, прямого счастья?
 Примчатся ль радости назад?
 Почто, минуты, вы летели
 Тогда столь быстрой чередой?
 И тени легкие редели
 Пред неожиданной зарей?
 Зачем ты, месяц, укатился
 И в небе светлом утонул?
 Зачем луч утренний блеснул?
 Зачем я с милою простился?

— Зачем, зачем? — эхом повторял Сережа пушкинский вопрос.

В четверг, в четыре Каролина не позвонила. Она не позвонила ни в пять, ни в семь, ни в девять. В начале десятого раздался звонок. Сережа взволнованно сорвал трубку. Звонил Алеша:

- Что с тобой? Ты исчез, не ходишь в институт.
- Я приболел.
- У тебя голос взволнованный. Что-нибудь случилось?
- Я устал.
- Ты раздражен?
- Я устал.
- Хорошо. Позвоню, когда отдохнешь, — и повесил

трубку.

«Болван! — сам себя обругал Сережа. — Ведь он знает телефон Каролины. Может взять у Сильвы... Нет, не надо втягивать посторонних».

Сережа пробовал себя успокаивать, уговаривал, придумывал разные причины, по которым Каролина не позвонила. Внезапное нравственное волнение, сильный испуг, неожиданное потрясение, острое истерическое заболевание еще как-то

можно смягчить уговором, но то, что действует медленно, исподволь, как гнетущая забота, уговору не поддается. Однако Сережа все-таки продолжал уговаривать и успокаивать себя. Глядя в окно на осенний холодный дождь, он думал: «В осеннем дожде для человека печального есть нечто близкое. Какая-то упорная монотонность, не склоняющая покорно голову перед судьбой, а вступающая против судьбы со скорбным, ропщущим словом».

Под скорбно ропщущим дождем Сережа стоял на крутой улице, глядя в плотно закрытые окна второго этажа хореографического училища. Вокруг было пустынно и горестно, мокрые деревья стряхивали последние листья, торопливо мелькали редкие прохожие в плащах и с зонтиками. Прошел атлет-азиат с какой-то молодой балетной женщиной, громко разговаривая и смеясь, как раньше смеялся и разговаривал с Каролиной. Прошел курчавый в извозничьем плаще с капюшоном, прошел один, быстрым шагом, опустив голову. Каролины не было. Вернувшись домой промокшим, Сережа долго, каменно сидел, потом, разом решившись, как решаются броситься в холодную глубокую воду, схватил трубку и позвонил Алеше:

— Извини, мне нужен телефон Каролины.

— Клусаковой?

— Да.

— Это у Сильвы, — Алеша вдруг замялся. — Хотя подожди, может, у мамы записано. Я позвоню ей и перезвоню тебе.

«Да... нет, да... нет, да... нет», — стучало сердце, стучало в висках. Алеша позвонил, сказал телефон и добавил сдержанно:

— Ты не пропадай... Я тебе вечером позвоню.

Сережа положил бумажку с номером телефона Каролины перед собой. «Набрать сразу, не дав себе опомниться, или подождать, посидеть, привести в порядок хотя бы дыхание, если нет возможности успокоить сердце». Думая так, он следил глазами за своим пальцем, набиравшим номер. «Судьба еще молчит, молчит судьба, — думал Сережа, — последние мгновения молчит, и вот она скажет, переменит все... Если б Каролины не было дома, можно было бы продлить неизвестность, можно было бы продлить надежду...»

— Алло, — сказала Каролина.

— Это Сережа... Здравствуй, Каролина!

— Серьожа, здравствуй, добрый день. Как ты поживаешь?

— Я ждал тебя.

— Извиняй меня. Я немного задержалась, приболела. Ты получил мое письмо?

— Нет. Какое письмо?

— Я тебе писала.

— Каролина...

— Серьожа, я немного поспешаю... Всего тебе доброго, — и повесила трубку.

«Письмо, — подумал Сережа, — я уже три дня не заглядывал в почтовый ящик...»

Письмо лежало в почтовом ящике рядом с пакетом из медицинского журнала. Видно, прибыли гранки их с Алешей новой статьи. На письме Каролины был только Сережин адрес, написанный округлым почерком. Обратного адреса не было. Дрожащими, непослушными руками Сережа прямо на лестнице вкосу, неровно разорвал конверт, вытащил пол-листа белой бумаги, прочел залпом в тусклом свете из залитого дождем окошка: «Серьожа, я тебя не люблю. Я и ты, мы побаловали. Прощай меня. Пусть будет у тебя красный живот. К.»

Войдя в комнату, он прочел письмо еще раз медленно. Все слова были на месте, ничего не почудилось. «Красный живот, — думал Сережа, — красный живот». Он лег на постель и попытался представить себе Каролину такой, какой она была тогда в ту, подаренную ему ночь. Он пытался представить себе звуки той ночи, свет той ночи, запахи той ночи, прикосновения той ночи. Но представление получилось бледное, отвлеченное. Не в силах сосредоточиться, вообразить все это, он все сильнее ожесточался на себя, себя обвиняя в случившемся. «Прощай меня — это значит: прости меня навсегда. И прощайся со мной навсегда». Вдруг сильно начали болеть зубы слева. Он взялся за левое плечо правой рукой, но болело уже сердце, пекло, точно на него лили кипяток. «Наверное, сердцебиение двести в минуту, — подумал Сережа, — или больше... Шея напряжена... Если б умереть... Но ведь не умру!.. Ведь не умру!

Буду цепляться за жизнь, буду жить, обманутый жизнью... Ничтожество... Мерзавец, негодяй!..» В сильнейшем приступе ненависти к самому себе он поднял руку и изо всех сил ударил себя кулаком по голове, потом опять, потом он ударился лицом о стену. Лишь когда потекла кровь из носа — опомнился, испугался, пожалел себя и заплакал, как дитя. «Я сошел с ума, — подумал он, — сошел с ума... Красный живот... Я сошел с ума...» Думая так, он продолжал плакать навзрыд. Слезы были спасительны, так ему казалось. Душевная боль не покинула его, но он уже искал объяснение ей вне себя, первый самый опасный жертвенный порыв уже минул. «Это не сумасшествие, а обычная истерия, — успокоил он себя, — эта истерия возможна у каждого в известных обстоятельствах... Сердце бьется тише, шею отпустило. Надо выпить кофеин». Он поднялся, шатаясь подошел к аптечке, выпил таблетку и, упав на койку, каменно, мертво уснул.

Когда проснулся, стена напротив была ярко освещена солнцем и теней не было, как в полдень. Сердце не болело, голова кружилась легко, плавно. Томик Пушкина так и лежал на столе раскрытый с тех пор, как он снял его с полки при Каролине. Сережа приподнялся, потянулся к нему и тотчас почувствовал в голове нечто знакомое, бесконечно давно потерянное и вот теперь вновь обретенное. Это был тот самый гвоздь, глубоко, по шляпку вбитый в темя; вбитый когда-то в юности, затем потерянный в бесконечно давнем, зыбком, как мираж, дождливом теплом дне и вот теперь вновь обретенный. «Зачем луч утренний блеснул, зачем я с милою простился?» — прочел Сережа пушкинские строки. Ему уже трудно было понять, о какой милой, о каком прощании и о каком утре идет речь. Все было плотно, как обручами, стянуто кольцами психических обертонів Джемса и скреплено пушкинским вопросом — по шляпку вбитым в темя гвоздем. «Неудачная любовь подобна ностальгии, — думал Сережа. — В тоске по прошлому, которое никогда не исчезало, а постоянно окружало настоящее кольцами. И вот теперь эти кольца начали давить невыносимо». Сережа глубоко вздохнул, было трудно дышать. «Бэлочка, — нашел он вдруг давно потерянное, забытое имя, — Чок-Чок». Он звал на помощь ту давнюю детскую любовь, ту

счастливую детскую похоть, то милое, родное детское несчастье. А гвоздь все давил и давил в темень и кольца сжимали грудь. Но было и нечто спасавшее, помогавшее... То была пушкинская печаль, пушкинские вопросы.

Пока он лежал, можно было пребывать в состоянии спасительной меланхолии, но он знал: стоит встать, умыться воспаленные от слез глаза, выйти на улицу, как этот спасительный свет померкнет, потому что бытовой ритуал, нас окружающий, преломляет и искажает все те спасительные лучи, которые око смертного не способно собрать воедино. И, боясь пошевелиться, Сережа лежал, глядя в потолок. Требовательно, настойчиво звонил ненужный, бесполезный теперь телефон. Вялой рукой Сережа взял трубку. Звонил Алеша, приглашал на дачу. «Пожалуй, это лучшее из всего, что сейчас может быть, кроме неподвижности. Но ведь постоянно в неподвижности пребывать невозможно», — подумал Сережа и согласился.

От Ярославского вокзала он доехал до нужной станции, пошел сначала привокзальной улицей, потом свернул влево. На убранном хлебном поле повсюду чернели птицы, бродили в поисках оставшихся колосков. На пастбище у реки, брэнча колокольцами, ходили коровы. Перейдя мост, Сережа пошел направо вдоль реки, вслушиваясь в многоголосое щебетанье среди приречного кустарника — видимо, и птицы радовались нежаркому, погожему осеннему дню.

— Что произошло у тебя с Сильвой? — спросил Алеша, когда, встретившись, они с Сережей пошли погулять в рощу.

«Сильва, — подумал Сережа, — при чем тут Сильва?»

— При чем тут Сильва? — спросил он.

— Ах, при чем, при чем, — разволновался Алеша, — при том, что Сильва сейчас так же несчастна, как и ты, из-за этой чешки... Не понимаю... Обаятельна? Да, обаятельна. Красива? Да, красива. Однако есть и другие не хуже. Чтоб так воздействовать, добиваться такого к себе влечения людей поддающихся, подходящих для ее гипноза, безусловно нужны какие-то патологические способности. Ведь если внимательно приглядеться, то помимо этих способностей и внешнего обаяния она обычная глупая баба, прогрессивная идиотка, любящая поговорить о либерализме. Вы оба, ты и Сильва, ее жертвы.

— При чем тут Сильва? — спросил Сережа.

— При чем? — нервно сказал Алеша. — При том, что она тоже влюблена в чешку.

— Как влюблена?

— Лесбосская любовь, понимаешь? Лесбос... Раз ты уж столкнулся с этим, то я вынужден открыть эту несчастную тайну нашей семьи. Дурная наследственность, Сережа... Ведь папа не живет в семье из-за этих маминых служанок, таких, как Ксения. Это ужасно, но это не преступление, а болезнь, и потому ты должен быть снисходителен к Сильве. Ведь чтобы заболеть, нужна не только дурная наследственность, но и индивидуальное предрасположение. Предварительный травматический невроз... А Сильва с детства дружила с одним своим одноклассником и в совсем юном, почти детском возрасте, то ли по собственному согласию, то ли еще как-то, но он грубо, неумело покушался на ее невинность. С тех пор у нее то, что называют постконнубиальным помешательством. Помешательством после первой брачной ночи. Я пробовал как-то с ней говорить в минуту откровенности о ее несчастном пристрастии, она мне ответила: «Ах, Алеша, мужчины так грубы!..» Петра Павловича она держит для прикрытия... Бывали у нее и прежде разные увлечения подобного рода, но так оголтело, как с этой чешкой, впервые. Впрочем, чего требовать от Сильвы, женщины не слишком умной, слабой, скажу откровенно, хоть она мне и сестра, если ты, Сережа, ты, медик, знающий в совершенстве женскую конструкцию, и вдруг такое, извини меня, обожествление uterus и clitoris. Это, извини меня, физиологическое идолопоклонство...

Сережа шел рядом, ничего не отвечая, не столько слушая Алешу, сколько прислушиваясь к гвоздю в своем темени, который давил и давил, на что-то намекая. Подошли к даче. Алеша позвонил, но никто не отпирал. Торопливо вставив ключ, Алеша широко распахнул дверь и с порога взволнованно позвал:

— Сильва!

Оставив Сережу в передней, он побежал внутрь дачи. Сережа прошел в комнату и сел в кресло. Выбежал взволнованный Алеша.

— Нигде нет... Может, у соседей? Она меня беспокоит, уже травилась раз люминалом, — и выбежал на улицу.

Едва он выбежал, как вошла Сильва, которая, очевидно, пряталась где-то в доме, пока Алеша ее искал. На ней было серенькое летнее платьице, волосы влажные... На босу ногу резиновые тапочки — видимо купалась. Опалив сидящего в кресле Сережу ненавидящим взглядом, Сильва, ничего не говоря, повернулась к нему спиной, подошла к платяному шкафу, открыла и вдруг — злым, резким рывком через голову — сорвала с себя платьице. Под платьицем Сильва была совершенно голая, без трусов и бюстгалтера, обрисованных лишь белым на загорелой коже. При одутловатом, пухлом лице, у нее была мускулистая, спортивная спина, поджарые ляжки, неразвитые бедра и совершенно мужская, сухая задница. Стоя к Сереже спиной, Сильва неторопливо копалась в платяном шкафу, медленно выбирая, что бы такое надеть на себя. Копаясь на нижних полках, она наклонилась, выворачивая костлявый зад, раздвигая ноги. Скорее всего, этой выходкой Сильва демонстрировала полное свое презрение к Сереже как к человеку и мужчине. Сережа сидел неподвижно, ничего не говоря, и чем дольше он смотрел, тем все сильнее овладевало им мрачное настроение, хорошо уже знакомая ненависть к себе и к окружающей жизни. Торопливо вошел с улицы Алеша, хотел нечто сказать, но, увидав эту картину, сильно побледнел и остался стоять неподвижно с открытым ртом. Тогда Сильва выбрала наконец в шкафу белые трусы, туго обтянула ими свой сухой задок, выбрала белый бюстгалтер, надела и ловко, просунув руки назад, застегнула на спине, повернулась боком и, снова опалив Сережу ненавистью, вышла.

«Противно жить, — подумал Сережа, — какая тоска! Все это давно изучено, все ясно, как древняя плоская земля на трех китах... Немножко любви, чуть поболее патологии, еще поболее скуки...»

— Я пойду, — сказал Сережа и поднялся.

Алеша продолжал стоять бледный, ничего не говоря, не удерживая, и, вдруг повернувшись, побежал вверх по лестнице на второй этаж дачи. Сережа пошел было к выходу, но, перепутав, открыл не ту дверь и оказался в маленькой, тесной комнатушке, где на полу стояли какие-то банки, прикрытые газетами. Тут сильно пахло йодом. «Йод, — подумал Сережа, осмотрелся и увидел бутылку йодовой настойки на подокон-

нике, среди иных бутылок. — Большая бутылка, — подумал он, — хватило бы и половины». Приступ сильнейшей душевной боли, соединенный с чувством давления и стеснения в области сердца, овладел им. Эта предсердечная тоска, этот крайне напряженный аффект сделался совершенно невыносим, меланхолический порыв перешел в бурное движение. Сережа схватил бутылку и, — хотя и мелькнуло в уме: «надо бы где-нибудь в отдалении, в кустах, чтоб не помешали», — но не хватило сил медлить и невозможно было отыскать выход из этой комнаты слепнувшими, погружающимися во тьму глазами. Тут же откупорив, он страстно, как желанный напиток, опрокинул бутылку себе в раскрытый рот, сильно сжав зубами стеклянное горлышко. Перехватило дыхание, огнем обожгло рот, кишечник, мгновенно распух язык, не помещающийся во рту, и, издав мычание вместо крика, он повалился... Валился, валился и все не мог упасть, хоть давно уже лежал среди разбитых банок, заливая газеты темно-желтой, пахнущей йодом кровавой рвотой.

* * *

Однако умер Сережа много лет спустя, еще не стариком, но в возрасте уже перезрелом. Умер, впрочем, от нефрита, следствия давнего отравления йодом. В последний год перед смертью Сережа уже не работал, страшно страдал от физических болей и отчасти даже помешался, стал лихорадочно религиозен, сочинял всевозможные религиозно-философские трактаты и стихи духовного содержания, подчас в весьма странной и грубой форме.

С листком, зажатым в скрюченных предсмертной судорогой пальцах его и нашла жена, Татьяна Васильевна, врач-педиатр, сотрудник того института педиатрии и гинекологии, в котором они с Сережей когда-то познакомились.

Сережа сидел в кресле, запрокинув назад восковое, беспокойное даже после смерти лицо. На небритых щеках, среди седеющих волос еще не просохли слезы. Карандаш, которым он писал, валялся рядом на ковре. На листке было два стихотворения, и оба были посвящены некой Чок-Чок. Первое называлось «Обида».

Обида, как вошь, завелась в голове.
 Не гребнем ее и не ногтем.
 Медовое море небесной любви
 Телесным испортили дегтем.

Второе стихотворение, также посвященное Чок-Чок, называлось «Детские сны» и свидетельствовало о сумеречности Сережиного сознания, ибо это были общеизвестные хрестоматийные стихи Пушкина.

Румяной зарею
 Покрылся восток.
 В селе за рекою
 Потух огонек.

Росой окропились
 Цветы на полях,
 Стада пробудились
 На мягких лугах.

Туманы седые
 Плывут к облакам,
 Пастушки младые
 Спешат к пастухам.

Перебирая бумаги и фотографии покойного мужа, Татьяна Васильевна нашла пожелтевшее фото, прежде у него не виданное, очевидно скрываемое. На этом фото юный худенький Сережа, почти мальчик, сидел рядом со светлоглазой пухленькой девочкой. На обороте фотографии детским почерком, видимо рукой этой девочки, была написана явно откуда-то заимствованная фраза: «Наша любовь крепче, чем смерть». Тут же на обороте нынешней дрожащей Сережиной рукой была сделана свежая надпись: «До свидания, любимая».

Татьяна Васильевна жила с Сережей скучно, несчастливо, к тому же у нее еще и прибавилось забот и хлопот во время его болезни, окончательно испортившей Сережин характер, сделавшей его крайне раздражительным, грубым, даже цинич-

ным, позволяющим себе дикие выходки, так что дочь, Светлану, приходилось отправлять к бабушке, матери Татьяны Васильевны. Серезина болезнь Татьяну Васильевну совершенно измучила, и после его смерти, отдохнув полгода, она вторично вышла замуж; а все ненужные вещи прежнего мужа, в том числе бумаги и фотографии, были свалены ею в кладовке, где они постепенно ветшали, превращались в хлам. Спустя еще какое-то время дочь Серези Светлана сдала их в приемный пункт вторсырья по весу за талон на книжку «Королева Марго».

1987. Западный Берлин

**ПОВЕСТИ
И
РАССКАЗЫ**

1

Холодным апрельским днем математик Сорокопут Аркадий Лукьянович ехал по своей надобности в один из районов Центральной России. Район этот находился не то чтобы далеко от столицы, но крайне неудобно. Надо было ехать пять часов поездом до станции В., а там с привокзальной площади шли некомфортабельные местные автобусы. Это еще более двух часов, потерянных для жизни, и чисто тюремного мучительства в сидячем вагоне: скорее бы отсидеть.

Сорокопут уже совершал подобную поездку полгода назад, и впечатления были свежи. Более того, если в первую поездку он отправлялся с каким-то чувством неизведанного, с какой-то надеждой на новое, интересное в пути, то теперь он уже заранее знал, как будет изнывать от неподвижности, с какой мольбой будет часто поглядывать на свои ручные часы, с каким нетерпением искать ответ на циферблатах встречных вокзальных часов, поделенных на величины постоянные, закрепленные индусскими цифрами. Цифрами, которые напряженно волокли, вытягивали личность из древнеегипетской «кучи» — «хуа». И вязкая почвенная монотонность вагона, и однообразный, созданный унылым копиистом пейзаж за окном: поля, кусты, semaфоры, людские фигурки — казались ему существующими еще за семнадцать бездонных столетий до Р. Х., когда они были засвидетельствованы в математическом папирусе Ахмеса, математика или просто переписчика, — это тоже терялось в «куче» — «хуа». Так названа впервые неизвестная величина,

«икс», неопределенность, бесконечность «икс» — липкий глинозем или сыпучий песок.

Пифагорейцы рассматривали определенные, осязаемые числа как основу мироздания. Они любили полновесную, сочную жизнь. Но гений Архимеда перечеркнул их надежды, он снова вернулся к египетской куче, вернулся уже на более высоком уровне весьма больших чисел и посвятил этому особое сочинение «О счете песка».

С тех пор у науки появилась навязчивая идея сосчитать бездну, ибо вся наука пронизана математикой, как тело кровеносными сосудами, и соблазны математики вместе с кровью поражают прежде всего самое слабое, самое больное место науки — философию.

Аркадий Лукьянович Сорокопут был человек «многоцветный» вопреки стараниям его предков приобрести, по совету Тургенева, «одноцветность», если они мечтают об успешной деятельности среди народа.

Происходил Аркадий Лукьянович из семьи потомственных математиков. Прадед, Николай Львович, личность в семье легендарная, профессор Московского университета, занимался теорией алгебраического решения уравнений высшей степени. Теория эта была связана, как говорят математики, с явлением иррациональным, или попросту с чудом. Будучи долгое время объектом безуспешных усилий, камнем преткновения многих великих математиков, включая Лагранжа, Ньютона и Лейбница, она была в принципе решена мальчиком, французским школьником Эваристом Галуа, портрет которого, принадлежащий прадеду, достался Аркадию Лукьяновичу и висел над его письменным столом.

Собственно, это была литография с карандашной зарисовки, на которой Галуа был изображен молодым офицером поленаполеоновской Франции. Ему было двадцать лет. Надо ли удивляться, что мемуар, посланный ранее, посланный французским школьником во Французскую академию, мемуар, содержащий в себе целую отрасль науки, был академиками отвергнут и осмеян.

Лейбниц, который тоже не верил в мнимые числа, в иррациональное, все же писал: «Из иррациональностей возникают

количества невозможные или мнимые, удивительной природы, но пользы которых все же невозможно отрицать. Это есть тонкое и чудное пристанище человеческого духа, нечто пребывающее между бытием и небытием». Так писал Лейбниц. Но во Французской Академии сидели тогда просветители и вольтерьянцы, материалисты и сатирики, насмеявшиеся над духом и верящие только в «познаваемое неизвестное», то есть в древнеегипетскую «кучу», где «икс» не из небесного эфира, а из глины и камня, из песка, из грунта, из материи. Таков был их личный вкус, и обвинять их в этом нельзя. Это был их личный вкус, закреплявший отныне надолго возрастающее господство «кучи», бесформенного диалектически «познаваемого неизвестного».

Академики-вольтерьянцы отвергли дух, «куча» казнила тело. 30 мая 1832 года 20-летний Эварист Галуа, может быть, талантливейший математик XIX столетия, был убит на дуэли своим товарищем, «познаваемым неизвестным», «кучей», поглотившей его тем же модным тогда способом, которым «познаваемое неизвестное» поглотило плодоносную пушкинскую зрелость и оборвало лермонтовский расцвет.

Впрочем, методы менялись, и «гуманная» казнь по способу доктора Гильотена чередовалась с бесформенным пиршеством народа, когда к задушенной французской революционной толпой женщине бросался «икс», распарывал ей грудь и впивался зубами в сердце.

Во время господства «кучи» не ночь, а день становится временем убийц, которые более не таятся. Дух же, иррациональное же, уходит под покров ночи.

Всю ночь перед дуэлью-убийством Галуа писал письмо своему другу Шевалье. В письме-завещании этом он излагал свои оригинальные и глубокие идеи, которые не хотел унести в могилу. Развитие этих идей стало основой целой математической отрасли.

Аркадий Лукьянович иногда, в моменты «иррациональные», глядя на висевший над столом портрет, воображал эту теплую гоголевскую майскую ночь, отворенное окно, лунное лицо апостола от математики, шелест французских кленов, которые казались ему деревьями более благородными, чем

вульгарный каштан, с которым связано почему-то у иностранцев представление о Париже. Нет, Галуа любил клен, и ночной клен шептал обреченному юноше все, что он не услышит в своей несостоявшейся жизни гения, которого сожрала «куча».

Может быть, под влиянием этой легендарной реальности, этой «романтической математики», Николай Львович, профессор, ушел «в народ». У русской интеллигенции 70-х годов XIX века была своя логика. Они слышали крик нестерпимой боли, но для многих источник этой боли не был ясен, и приходилось идти на ощупь, выбирая в поводыри то Тургенева, то Лаврова. (Что же касается Нечаева и Ткачева, маленьких наполеончиков революции, то это было как раз наоборот — хождение народа в интеллигенцию.)

Николай Львович, с французскими своими впечатлениями (незадолго до своего решения уйти из университета он вернулся из Франции) и французским своим кумиром, отправился в русскую глубинку, склоняясь более к «русскому французу» Тургеневу, призывавшему к просветительству, а не к агитации и землепашеству. Спасение духа он видел в одухотворении глины, наподобие того как это когда-то совершил Господь. Задача, как стало впоследствии ясно, не только невозможная, но и дерзки опасная, ибо одухотворять пришлось глину бесформенную, тогда как Господь прежде всего придавал глине форму.

Вместе с портретом Галуа к Аркадию Лукьяновичу дошел и номер журнала «Вперед» за 1874 год с выцветшими пометками красного карандаша, хранящими руку прадеда.

Аркадий Лукьянович часто перечитывал статью, особенно места, подчеркнутые Николаем Львовичем.

«Для работы среди крестьян,— говорилось в статье,— нужны люди, которые сумели бы сжиться с народной жизнью... Подобные люди не опускают своих сильных рук, не вешают уныло голов».

Тургенев считал, что для такой деятельности наиболее подготовлены «одноцветные народные люди». И, развивая эти идеи далее в своем романе «Новь», добавляет к одноцветности еще один важный признак народного интеллигента — «безымянность». Спасители народа будут «одноцветны» и «безымянны». «У нас нет имени,— соглашаясь с Тургеневым, сообщает в своем

воззвании журнал «Вперед», — мы все русские, требующие для России господства народа».

Так началось новое время, возник новый человек, в идеале — безымянный по форме, одноцветный по содержанию. И в соответствии с этим идеалом ломали себя в прокрустовом ложе народопоклонства предки Аркадия Лукьяновича.

Николай Львович оставил профессорство и уехал в глухой северный уезд учить крестьянских детей математике. Впрочем, из этой затеи вышло не многим более, чем из профессорского землепашества. Сын Николая Львовича, Юрий Николаевич, также талантливый математик, профессор Новороссийского университета, не без восторга перед личностью отца, но разочарованный в его идеях, увлекся анархизмом и после ряда неприятностей с властями имперской России работал в Брюссельском Вольном университете. Таким образом, Лукьян Юрьевич Сорокопут родился в Брюсселе в 1902 году.

В 1917 году с пятнадцатилетним сыном, западным якобинцем, вернулся Юрий Николаевич в обетованную Россию, где увидел при свете белого дня сцены, перекликающиеся с пиршеством французской революционной толпы. «Одноцветные» и «безымянные» на его глазах пилой отрезали руки «грабителя народа», а в ноздри грабителю вколотили добротные столярные гвозди. Так расовый кишиневский погром четырнадцатилетней давности, в котором трудились народные столяры по мясу, вырезая языки и забивая гвозди в тело, перерос в классовый петербургский погром, с сохранением «трудовых» народных традиций. И дворяне, в том числе и дворянские антисемиты, радовавшиеся «пробуждению сознательного народного гнева», ощутили этот гнев и этот «труд» на себе.

Под влиянием этого «свободного труда» Юрий Николаевич на нервной почве заболел астмой и к тому же вскоре был застрелен каким-то вооруженным гармонистом, когда во время народных танцев встал на стул и, задыхаясь, начал дискуссию на тему «Гражданские права и нравственная ответственность». Тем не менее Лукьян Юрьевич, бывший западный якобинец, до 1940 года дожил более или менее благополучно, благоразумно избрав в математике безыдейную область, орудуя с простыми, неиррациональными числами, предпочтение которым отдавали

пифагорейцы. А именно: он стал бухгалтером плодоовощной базы города Ртищево Саратовской области. Здесь и родился, здесь и проживал Аркадий Лукьянович. Впрочем, отбыв семилетний срок как уроженец города Брюсселя, столицы враждебного государства, Лукьян Юрьевич с семьей переехал далеко на Запад. На запад СССР, где, по сути, прошло детство Аркадия Лукьяновича и откуда он штурмовал столичный физмат.

Время было размашистое, но ему повезло, и, продемонстрировав качества потомственного математика, он стал студентом университета. Помог и наплыв евреев в математику, на котором была сосредоточена основная борьба приемной комиссии. А Аркадий Лукьянович все-таки был сыном простого русского бухгалтера. И так, он стал студентом, но, как уже было сказано, остался человеком «многоцветным». Впрочем, «многоцветным» с математическим уклоном. Когда в первый и, очевидно, в последний раз в своей жизни он на втором курсе полюбил сильно, до счастливой бессонницы, женщину красивую, глупую, развратную, то писал ей стихи: «Оля, О-ля-ля, начинается с нуля». Оля обиделась: «Значит, я нуль без палочки?» И тут же засмеялась своему случайному, однако удачно сказанному каламбуру. В кругах, где вращалась Оля, палочка означала сексуальную непристойность.

Но Аркаша, который был чист и любил так сильно, как только девственник может любить порочную красавицу, начал ей с пылом, с жаром объяснять, что нуль — не пустота, а важнейшая величина. И недаром именно индусы, возродившие математическое творчество после того, как оно угасло в Греции со смертью греческой культуры, именно индусы ввели нуль в употребление. Нуль — это математическая нирвана, блаженное состояние покоя, достигаемое путем полного отрешения от посюсторонних и потусторонних бурь, нейтральный промежуток между рациональным и иррациональным числом. Пылкая речь влюбленного математика о нуле произвела на Олю примерно такое же воздействие, как речь его деда Юрия Николаевича на рабоче-крестьянскую массу, собравшуюся в 17-м году под гармошку отпраздновать свою историческую победу. Ибо говорить серьезные вещи несерьезным людям — значит оскорблять и себя, и их. Тем более путанно, задыхаясь

от астмы ли, от любви ли. Гармонист ответил на оскорбление пулей, Оля отказом и разрывом. Аркадий мгновенно сник, съелся, но постепенно ожил опять, как деревцо после мороза, начал расти, правда не так бурно, а более умеренно. Вскоре он женился на миловидной шатенке, умной, способной своей сокурснице, и перестал писать стихи.

2

Так ехал Аркадий Лукьянович в сидячем вагоне до станции В., пытаюсь занять себя то мыслями о прошлом, то научным журналом. Ехал во второй раз, как и в первый, с той лишь разницей, что теперь за окном была весна — худшая пора года в Центральной России, когда зимний холод усиливается весенней сыростью, а северо-восточные ветры выдувают последние крохи жизни из бездомных птиц, зверей и прочих живых существ. Как ни тяжело было в вагоне, как ни немела спина, ни ныла поясница, ни стягивало кожу на голове, вскоре предстояло покинуть стены и крышу, принять в лицо оскорбительные плевки мокрого снега, заплывавшего циферблат часов на сырой платформе, подъехавшей к вагону, переполненной мокрыми озябшими людьми, рвущимися внутрь вагонной духоты, чтоб спастись от снега и ветра хоть ненадолго. А снег и ветер, подобно расшалившимся подросткам, добавляли им в спины, затылки и задницы последние пинки через открытые двери, и пинки эти достигали Аркадия Лукьяновича. «Скоро ты будешь одним из них, — с тоской подумал Аркадий Лукьянович, — согласно расписанию, через пятнадцать минут».

Он посмотрел на свои ручные часы, сверил их со станционными, цифры на которых, казалось, корчатся и дрожат от хулиганского российского климата.

Поезд пошел, заскользила вязкая насыпь, и так было лучше, ибо она отгораживала унылую заоконную даль. Но вот насыпь оборвалась, словно ее обрубили, коротко мелькнул мост, начало поворачиваться серое пространство, возле шлагбаума стояли подводы и самосвал, и жалость к кучке серых людей возле подвод кольнула снизу под ребра. Но навстречу, загораживая озябшую Россию, уже неся фирменный столичный

поезд густо-синего цвета, как околышек военно-жандармской фуражки. Мелькали за занавесками литые щеки, безмолвный визг хохочущих женщин, бутылки пива на столах. И когда встречный экспресс унес свою сытость и тепло, за окном уже в несколько рядов стояли на соседних путях цистерны, товарняки, какие-то одиночные пассажирские вагоны. Это уже была станция В. Все вокруг зашевелилось, закашляло, завздыхало, и Аркадий Лукьянович тоже поднялся, взял потфель и вышел. Первое впечатление было не такое уж мрачное, как казалось. Здесь, за домами станции, ветер был не так силен, к тому же на Аркадии Лукьяновиче было хорошее теплое непромокаемое пальто, хорошая теплая шапка, теплые непромокаемые ботинки и мягкие кожаные перчатки. Все по сезону и все импортное. Потфель тоже был австрийский, привезенный женой с какого-то антивоенного научного симпозиума.

Так, оберегаемый своей хорошей одеждой и обувью, Аркадий Лукьянович Сорокопут с достоинством прошелся по платформе, расправляя затекшие части тела и даже производя легкий массаж на ходу то одной, то второй рукой. Зрительная память у него была хорошая, и, не спрашивая, он нашел в хаосе переходов выход к привокзальной площади, откуда отправлялись рейсовые автобусы. На площади, однако, стало похуже. Ветер здесь гулял удалой, задира л полы пальто, силился сорвать чешскую, помещицкого образца, цигейковую с большим козырьком шапку, и Сорокопут пожалел, что не надел презираемый женой отечественный трюх.

Он повернулся, ища автобусную остановку, и тут же ощутил плевков прямо в глаза. Холодная снежная слюна потекла за ворот. Но еще хуже ощущений были впечатления.

Мокрый, жалкого вида лозунг из последних сил хрипел на вокзальном фронтоне: «Да здравствует многорукий коммунистический субботник». И неоновая надпись в гриппозном полубреду сообщала об ожидании жиров. Лишь приглядевшись, Аркадий Лукьянович понял, что речь шла о зале ожидания транзитных пассажиров, но часть букв горела хуже или вовсе погасла. Автобусы стояли в дальнем конце площади, у дощатого киоска, на котором висело расписание рейсов. Толпилась очередь к окошку кассы. Именно толпилась, так было

всегда после прибытия поезда. Впрочем, когда самые сильные и ловкие были обеспечены, стало поспокойнее, и Аркадий Лукьянович пристроился следом за самыми слабыми, главным образом старушками, начал двигаться к окошку кассы.

Из расписания он узнал, что ему не повезло. Автобус ушел двадцать пять минут назад, и теперь следующий собирался в рейс через час с небольшим. Он уже начал тосковать, как услышал крик: «Одно место до...» И назван был непосредственный пункт назначения. Народ в очереди и не шевельнулся, конкуренция среди местной публики за места в такси была явно не столичная. Народ здесь был экономный, считая, что собственные силы — предмет дешевый и единственный им принадлежащий излишек того, что они отдают государству.

Аркадий Лукьянович знал о возможности ехать от В. на такси, но, как ему объяснили, возможность эта была крайне невелика. Такси появлялись редко и подчинялись правилам теории вероятности, а не местного автотранспортного хозяйства. Однако вот оно, вот кожаное покато сиденье, дающее отдых позвоночнику, вот мягкий, ласковый свет внутреннего плафона, вот наркотический запах шоферской куртки и бензина, вот самоотверженная прочность небьющегося стекла и штампованного железа, принимающего на себя бешеные удары природы, тогда как мощный мотор подобно мечу рвет и режет враждебное пространство, прокладывая счастливым путь к заветной цели со скоростью 80—100 км в час.

— Такси! — крикнул Аркадий Лукьянович, подняв руку.

«И-и-и!» — передразнил ветер. Надо было кричать громче.

— Такси!!!

«Такси!!!» — заорало эхо в другом конце площади.

Ловок, ловок был конкурент, четко материализовавшийся в свете фонаря. Пожилой человек бежал несолидно, как мальчишка, и держал в руках трехлитровую стеклянную банку с каким-то продуктом. Хлопнула дверца, ожил мотор, подмигнул красный зрачок.

— Такси!!! — крикнул Аркадий Лукьянович. Это уже был звонкий крик отчаяния.

Здесь оно дышало, оставив на мокром снегу проталины, здесь оно стояло на своих следах от рубчатых шин. Тепло

и комфорт растаяли, как мираж, реальностью был дикий холод безжалостной площади...

Аркадий Лукьянович покинул эту площадь через час. На этот раз он был среди сильных, он брал автобус штурмом. Ему оторвали две пуговицы пальто, но сидячего места он не добился. Вокруг учащенно дышал народ, и Аркадий Лукьянович дышал в общем ритме с народом. Вспомнились стихи отца, Лукьяна Юрьевича, посвященные его умершему товарищу, бывшему буденновцу: «Он был среди сильных, он брал Перекоп, награда ему — лакированный гроб».

Автобус действительно напоминал гроб на колесах, хоть и не лакированный. Набитый мешками, кулями и телами, воздух твердел, ядовитые продукты распада, образующиеся в результате жизнедеятельности, грозили прервать обмен между организмом пассажиров и окружающей средой. Чем спасается русский человек в такой крайней ситуации? Острым словцом, ибо, кроме как на шутку, надеяться не на что.

— Граждане крестьяне, — это кто-то из глубины, — сейчас будем дышать по очереди...

Засмеялись. Стало легче. Поехали.

— Так только до Нижних Котлецов будет, — подбодрила Аркадия Лукьяновича какая-то женщина, узнав в нем человека нездешнего и непривычного. — В Котлецах свободней станет.

Дружеское расположение женщины к Аркадию Лукьяновичу продолжалось, правда, недолго. Минут через десять автобус сильно дернуло, подбросило, центробежные силы оторвали женщину от поручня и, гипнотизируемая ускорением, хоть и упираясь массой, усиленной ватной курткой, женщина двинулась мелким напряженным шагом в сторону Аркадия Лукьяновича, ударом лица о локоть Аркадия Лукьяновича выбила из его рук австрийский портфель, отшатнулась и вторично в тот же локоть лицом...

— Пардон, — сказал Аркадий Лукьянович почему-то по-французски, подбирая потфель и потирая ушибленный локоть.

Женщина не ответила, пробираясь назад к своему мешку.

— Порасставляли потфелей! — злобно пожаловалась она сама себе.

И Аркадий Лукьянович понял, что его «пардон» так же нелеп здесь, как, например, запах французских духов. Надо было все смазать шуткой либо промолчать.

Потеплело. Мокрый снег сменился холодным дождем, более шумным и сердитым, чем снег, лишь лизавший окна автобуса, тогда как дождь начал буйно в них стучать.

За окном господствовал все тот же серый цвет, который сопровождал и поезд. Каменные заборы, каменные дворы автохозяйств и кучи, кучи, кучи... Все было свалено в кучи. Железо, какая-то серая масса, то ли удобрение, то ли цемент... Мелькнула куча порченой картошки, над которой кружило воронье, и издали это напоминало картину Верещагина, где вороны кружили над полем битвы, над кучей черепов.

Пейзаж действительно напоминал поле прошумевшей битвы. Какой и с кем? Кто поизмывался над этим среднерусским полком, где все было разбросано, неучтено, над всем царил глиняный древнеегипетский идол «хуа», все было первобытной алгеброй, возникшей за семнадцать веков до Р. Х., между тем как поля эти нуждались просто-напросто в прочных четырех действиях арифметики, которые любой бухгалтер легко отобьет на костяшках своих счетов. Остатки же математики, которые достались по наследству от людей, которых теперь уже нет, почти нет и скоро совсем не будет, реквизированы для дел военно-космических так старательно, что полям этим и арифметики не осталось, только бесформенный «икс», «хуа», «куча».

Автобус остановился у шлакоблочных тоже кучей расположенных домов-башен городского типа. Это и была деревня Нижние Котлецы, вернее, бывшая деревня, растоптанная каким-то военным заводом.

Народ потянул к выходу, под дождь, бегом через поле к домам. Вышла и женщина, взвалившая на себя мешок. Остановилась под дождем, перекрестилась на церковь, которая стояла среди еще сохранившихся остатков деревни, потом, стуча по спине мешком, побежала вслед за остальными к шлакоблочным домам.

Стало свободней, Аркадий Лукьянович сел, блаженно закрыв глаза, балуя свое тело, баюкая его на расшатанном пружинном сиденье. Навалилась усталость, хотелось спать.

Здесь, подальше от железной дороги, пейзаж стал пустынной, но и чище. Дождь утих, начало смеркаться, где-то вдаль уже рассыпалась позолота огоньков. Водитель включил свет и в автобусе, отчего явилось какое-то праздничное настроение отдыха после трудов и бед.

Автобус повернул с шоссе и выехал на проселок, зачвакал колесами по глине. У края поля перед канавой сидел на корточках мужик в кроличьем треухе, справлял свою нужду. Автобус с множеством людей в освещенных окнах, можно сказать, застал его врасплох... Мужик, не суетясь, коротким движением сдвинул треух с затылка на лицо, укрыл свой облик от посторонних глаз и уже инкогнито, безмянно, в качестве «икса», «хуа», небольшой кучки, продолжил свое дело.

«Как просто», — подумал Аркадий Лукьянович и, окончательно успокоенный этой ясной, словно восковая свеча, притчей, заснул.

Он проснулся от шума воды. Еще во сне ему казалось, что он каким-то образом оказался в лодке, а когда пересел из автобуса в лодку, не помнит. Автобус действительно шел по воде, вода плескала чуть ли не у окон. Аркадий Лукьянович услышал тревожное словцо: «Наводнение... Речной разлив...» Пассажиры собирали вещи, слухи спорили со стихией, кто сильнее напугает. «Не проедем, мост снесло». «В прошлый год перед Пасхой так же». «А предыдущий рейс проскочил». «Эх, не повезло!» «Надо бы к перевозчикам». «Да они же все пьяные перед Пасхой». «Деньги за перевоз берут по пятерке с рыла и еще вымочат... В прошлом году женщину с детьми утопили. Нет, я в Михелево ночевать, утром разберемся». «И верно, — поддакнул кто-то, — ночь да пьянь... А лодки у них дырявые...»

Автобус выбрался на возвышение, вода ушла из-под колес.

— Все, — объявил водитель, — дальше не пойдет.

— А как же деньги? За билет уплачено?

— Не мне платили, государству, — сказал водитель, — с него и требуйте.

Аркадий Лукьянович сошел на болотистую чвакающую почву. Опять шумел дождь. Хоть тьма еще не сгустилась, то там, то здесь мелькали фонари. В сером сумраке была видна черная вода, в которой плыли грязные льдины. В воде уныло

стояли телеграфные столбы и какие-то цистерны. Автобус был весь в грязи, и с противоположной стороны реки, у остатков моста, тоже видны были автобус и кучка пассажиров возле. Это был рейсовый, который возвращался на станцию В.

Лодочники-перевозчики, в большинстве мальчишки 16—17 лет в высоких рыбацких сапогах, перекликались пьяными голосами. Невдалеке в речную воду впадала «Волга» — такси, и шофер возился в моторе. «Тоже не проскочила», — удовлетворенно подумал Аркадий Лукьянович и не без злорадства заметил, как метался по водной кромке ловкий конкурент со своей стеклотарой, ругаясь с перевозчиками. Один пьяный перевозчик, оскорбленный, видать, ловкачом, толкнул его, и ловкач умело упал на спину, держа над собой трехлитровую банку со столичным дефицитом. Впрочем, несмотря на страхи и сомнения, большинство все же договорилось с перевозчиками, ибо, когда автобус развернулся, чтоб ехать назад, до Михелева, кроме Аркадия Лукьяновича, сидело еще три человека, какая-то общая компания.

«Вот те раз, — подсадовал Аркадий Лукьянович, — ну народ, ну можно ли слушать такой народ? Наговорят, напугают, а сами уже на той стороне. Может, специально, чтоб конкурентов меньше было на лодки. Да делать нечего, придется искать ночлег в этом Михелеве, о котором еще недавно и не думал, и не слышал».

Автобус мотало, качало, опять плескалась вода, было впечатление морского шторма, подкатывало от живота к горлу, видать, не только у Аркадия Лукьяновича, потому что один из пассажиров предался морским воспоминаниям: «У нас на флоте специальное штормовое меню было. Рассольники, солянки, щи из квашеной капусты, ржаные сухари, баранки, сушки... Побольше солено-копченых продуктов...»

Аркадий Лукьянович вспомнил, что ел только с утра, дома и наспех, рассчитывая пообедать на вокзале в В., но пробегал все время по площади, простоял за билетом. Он полез в портфель, однако там нужных сейчас сырокопченостей не оказалось, а, скорее, наоборот, три плитки шоколада «Дорожный» и два апельсина. А хотелось горячих щец или хотя бы ржаных сухариков.

Копаясь в портфеле, Аркадий Лукьянович и сообразить не успел, как остался в автобусе один. Три пассажира выскочили и были уже далеко позади.

— Водитель,— растерянно позвал Аркадий Лукьянович,— вы, собственно, куда едете?

— А вам куда? — не останавливая автобус, спросил водитель.

— Мне в это... Михелево.

— Центральная усадьба или бараки?

— Центральная,— ответил Аркадий Лукьянович. В бараки ему явно не хотелось.

— Можете сейчас выйти,— сказал водитель, останавливая автобус и открывая двери.

Аркадий Лукьянович подхватил раскрытый портфель и торопливо вышел во тьму. Тьма была первородная, как до сотворения мира. Лишь позади освещенный автобус и вдали слабые, полуживые огоньки-комарики носились роєм.

— Водитель, — испуганно сказал Аркадий Лукьянович,— а где же эта?.. Центральная? Где Михелево?

— Напрямую до развилки, — сказал водитель, — а оттуда минут двадцать ходу...

— А вы что ж, туда не едете?

— Мне в другую сторону.

— Нет,— заупрямился Аркадий Лукьянович,— я билет купил, а вы меня в поле оставляете... Какое же это Михелево? Это поле... — и ухватился руками за надувшуюся резину, не давая дверям закрыться.

— Пусти двери! — по-звериному коротко рыкнул водитель. — Я тебя прямо к дому доставлять не обязан, долгогривый, — добавил он уже сверх нормы, намекая тем самым на длинные волосы Аркадия Лукьяновича.

Аркадий Лукьянович заметался. Расстегнутый портфель, как расстегнутые брюки, мешал активным действиям, а между тем водитель возвышался над ним статуеобразно, подобно скульптурному изображению диктатуры пролетариата.

— Я кандидат физико-математических наук,— пытался обрести достоинство Аркадий Лукьянович. Это была уже совсем политически неграмотная формулировка. За такие слова

в 1917 году вполне могли застрелить. Но водитель лишь с шумом запер перед самым носом классового врага двери в светлый мир автобуса, оставив Аркадия Лукьяновича тонуть в окне тьмы.

Тьма глухо рокотала, и Аркадию Лукьяновичу казалось, что он слышит грозный плеск ее волн. Впрочем, постепенно глаз освоился, и стали различимы бугры, кучи, какая-то неровная, разоренная местность. Но чуть левее — что-то вроде газона. Аркадий Лукьянович застегнул портфель и пуговицы пальто, которые уцелели все, кроме двух, потерянных еще на станции В.

Как всякий интеллигент после скандала, он уже упрекал себя, насмехался над собой, жалел о своих дурных качествах, спровоцировавших на грубости, очевидно, усталого рабочего человека.

«Пойду по газону,— решил Аркадий Лукьянович,— там уж точно не разрыто».

Он сделал несколько шагов напрямик и рухнул в яму, ослепленный сильной болью в левой ноге.

3

Боль — ненормальное, повышенное ощущение. Характер боли бывает различный в зависимости от причины и анатомического положения подвергшихся раздражению чувствительных нервов. Острая боль фейерверком ударила в сознание Аркадия Лукьяновича, и она несла с собой тревожный крик: «Сломал, сломал левую! Опять сломал левую!»

Потом острая боль перешла в режущую, пульсирующую, опадающую подобно огням фейерверка, остановивших свой первоначальный взлет, и вместе с ней начала опадать из сознания тревога: «Вывих или только ушиб».

Потом шипящий огонь боли оставил тело и охватил лишь левую ногу, снова усилившись до крика без слов: «А-а-а!»

Боль стала рвущей, потом перешла в давящую, потом в ноющую и, наконец, в тупую. А тупая боль — это уже хроническое состояние больного. Аркадий Лукьянович знал, что с этой болью придется смириться и жить.

А жить заново начинать надо было с крика. С крика о помощи. Но что кричать, как кричать, о чем кричать? Аркадий

Лукьянович хотел вспомнить, что он кричал и как звал на помощь в прошлый раз, когда сломал левую ногу. Ибо он уже ломал левую ногу в ситуации если не тождественной, то подобной. По крайней мере обе эти ситуации вполне подчинялись теории пропорции простых чисел, известной древним грекам и заимствованной у них индусами. Но индусы улучшили технику расчета. Они писали не на папирусах, а на досках, посыпанных цветным песком, с которых легко стиралось написанное, освобождая место новой математической ситуации. Прошлое исчезало и запечатлялось в настоящем. А между прошлым и настоящим царил индусский беспристрастный судья — нуль. Проходя через нуль, прошлое отдавало все ненужное, загромождающее память. Разве вспомнить Аркадию Лукьяновичу, что кричал студент физмата Аркаша восемнадцать, нет, даже девятнадцать лет назад, сломав ногу у циклотки и порвав связки.

Общежитие было за городом, и от электрички приходилось еще минут сорок идти пешком. Чтоб сократить путь, наиболее отчаянные прыгали из электрички на ходу. Вернее — наиболее расчетливые, способные довериться математическим расчетам скорости, параллелограмму сил. Подкладывали промокашку между автоматическими дверьми и на ходу их раскрывали в нужном месте, на закруглении, где электричка всегда замедляла ход.

85 раз прыгал Аркаша благополучно. На 86-м групповом прыжке разбился. Аркаша предполагал, что может разбиться, но на двухсотых или даже трехсотых прыжках, а значит, еще несколько месяцев можно было прыгать спокойно. Где-то в расчете была допущена ошибка. К тому же в день неудачного прыжка был туман, и поезд почему-то не замедлил ход. Из четырнадцати прыгавших шесть разбилось. Двое насмерть. Разбившихся в тумане милиция искала с собаками, хоть, придя в сознание, все, кроме покойников, кричали. Однако ночь, туман, лесная местность, слабые силы.

Здесь тоже ночь, дождь и яма-траншея не менее трехметровой глубины. Аркадий Лукьянович лежал неподвижно в холодной глинистой жиже на дне, а мощная стена глины уходила в небо, усиленная кучей грунта, протыкавшего небо насквозь, как протыкают его шпильки знаменитых готических

соборов. Недаром в прошлом существовало понятие «готический роман». Готический — значит страшный. Куча грозила поглотить Аркадия Лукьяновича, как она более ста лет назад поглотила Эвариста Галуа, математика, стремившегося ее рассчитать, а значит, обезоружить и сделать безопасной.

Глина и вода, лесная нордическая лихорадка создали во времена египетского папируса Ахмеса племени белесых, белокожих варваров, лишенных пигмента из-за болотистых испарений. Гютика вознесла их болотистую мифологию к небу. В славе их деяний всегда была эта болотистая лихорадка, и культурная мощь плодоносной европейской почвы всегда таила в своих глубинах эту зыбкую топь языческого сознания, а к европейскому духу при всем его царственном аромате время от времени подмешивался омерзительный запах гниющих болотистых испарений.

Так, среди глины, ночи, сырости ощутил телесно, а не умственно Аркадий Лукьянович Сорокопут, интеллигент-европеец, свое давнее варварское болотистое происхождение, ощутил настолько телесно, что задрожал в болотном ознобе. Он был уже поработан кучей, свободным оставался только голос. И Аркадий Лукьянович начал защищаться голосом.

— Помогите! — крикнул он первое, что могло прийти на ум. — Я здесь, я упал в яму... Я упал в яму и сломал ногу!

На этой фразе он остановился, и эту фразу он кричал час и сорок семь минут подряд, ибо время оставалось с ним, не подвластное куче, на светящемся циферблате противоударных ручных часов. Время было живо, тикало, ободряло, напоминало о силах цивилизации, а значит, можно было надеяться. Тем более не такое уж было сверху безмолвие, как казалось первые минуты после падения. Жизнь, хоть и слабая, редкая, продолжалась. Однажды Аркадий Лукьянович услышал шаги и голоса. Шло несколько человек, мужчины и женщины. Голоса пели. Начинали женские: «Вижу в сумерках дня в платье белом тебя». «Ты рядом, ты рядом, моя дорогая, — невпопад влезали мужские, портили мелодию, — ты рядом, ты рядом...» «Но так далека, как звезда», — исправляли, облагораживали женские голоса, подобно тому как женские бедра исправляют, направляют неумелые мужские движения.

И среди боли, среди варварской могильной глины вдруг прекрасным мраморным античным надгробьем вспомнилась Аркадию Лукьяновичу Оля, его первая, красивая, глупая, развратная, вечная для него женщина, как абсолютный индийский нуль — Нирвана,— перекликающийся с безрукой Венерой, от которой ведется отсчет красоты и женственности. «Без твоих голубых ясных глаз я заснуть не могу», — пели удаляясь мужские и женские голоса. Ночь и холодный дождь им были «по колено».

Говорят, покойник первые три дня слышит. А может, и дольше? Слышит, но не понимает. А может, и понимает? Недаром Аркадий Лукьянович, проходя по кладбищу, по инстинкту старался не говорить или говорить шепотом.

Когда Оля отказала ему, он три дня, ровно три дня, странная цифра, лежал на койке покойником. Ничего не ел, только пил воду из графина. Он слышал, нет, это уже потом он слышал, что Оля вышла замуж за Микулу Селяниновича, рекордсмена по метанию молота, крестьянского сына.

Сорокопуты тоже по происхождению были из крестьян, дальний предок их был деревенский мукомол в Ардатовском уезде Симбирской губернии. Хоть в семье говорили, что по подлинному происхождению были они из украинских селян, вывезенных с Волыни помещиком в свое симбирское поместье. Потомки селян этих давно забыли свою украинскую мову, но, что интересно, сохранили в одежде какой-то украинский элемент — вышивка, монисто, хоть против этого велась борьба и даже случались порки.

Так рассказывал отец. Кстати, отец при всем его волжском говоре любил носить вышитые украинские рубахи. Итак, Сорокопуты были крестьянско-селянского происхождения. Но они шли в общество индивидуально, а не в классовом порядке, шли в общество через приобщение к грамоте, через внутреннее преобразование, робко и благоговейно ступая под своды жизни разумной.

Эти же врывались в общество революционно, прямо с деревенской околицы, гордились своей квасной отрыжкой, расческами мосторга кудрявили влажные чубы, говорили «хватя», «будя» и несли свои чистых кровей анкеты во все партийно-

государственные инстанции. В последнее время победный поток их несколько поиссяк. Все хлебные места оказались заняты ими же, и приходилось вести уже не классовую, а внутривидовую борьбу. Поэтому часть их метнулась в фашизированное недовольство.

Но муж Оли, судя по всему, был типично советский зажиточный крестьянин, заслуженный мастер спорта. Он переплюнул за границу по метанию молота и привозил импорт, а также бил Олю иногда, но без замаха и вполсилы, чтоб не убить.

Так слышал Аркадий Лукьянович. Однако затем он был извлечен из могилы своей умной, миловидной женой, тоже математиком, по девичьей фамилии Далдаренко, и слухи-воспоминания об Оле рассосались, ушли в небытие. А теперь они возродились опять, и, потеряв надежду, может, одной Оле жаловался Аркадий Лукьянович, твердя: «Я упал в яму и сломал ногу».

Когда исчезла песня о белом платье, некоторое время было тихо, и Аркадий Лукьянович погибал, но затем возник шум мотора и шум колес. Кто были эти четырехколесные? Они, безусловно, слышали крик Аркадия Лукьяновича, потому что один из них внятно произнес: «Пьяный кричит!» И уехали. Что делать? Кого просить? Оставалось стать идолопоклонником и молиться куче, молить глину, чтоб отпустила живым.

Нет, каково бы ни было безжалостное недовольство деревенской околицы, а Советская власть еще прочна.

— Кто здесь? — послышался зычный голос Советской власти, и возник проблеск надежды, соскользнул, проколов тьму, луч карманного фонарика.

— Я упал в яму и сломал ногу, — собрав остаток сил, крикнул Аркадий Лукьянович.

Ответ, видимо, не удовлетворил.

— Кто здесь? — повторила вопрос власть.

— Сорокопут Аркадий Лукьянович. Кандидат физико-математических наук.

— Один?

— Один.

— Ну, по одному и вылазь... — И крепкий просмоленный кусок каната опустился в яму. Ситуация соответствовала — опять спасала милиция.

Аркадий Лукьянович ухватился обеими руками, ноги же не помогали, висели грузом. Он слышал, как милиция дышит тяжело, волоча канат, но на полдороге, еще упираясь лицом в склизкий грунт, но уже чувствуя вольный воздух поверхности, Аркадий Лукьянович опомнился и захрипел:

— Товарищ... товарищ... вернуться надо...

— Что? .. Куда...

— Портфель забыл...

— Хрен с ним...

— Документы...

— Ах ты...

Канат пополз назад. Аркадий Лукьянович старался посадить свое аварийное тело на одну правую ногу, но зацепил грунт и левой. Опять вспыхнул фейерверк, правда быстро погасший. Аркадий Лукьянович уже привык к боли.

От грязи и воды портфель стал вдвое тяжелей, как, впрочем, и пальто, и шапка, и ботинки. Одну перчатку он потерял и в сердцах выбросил вторую. А выбросив, пожалел. Канат обжигал. Обжигал теперь обе ладони, да еще мешал висевший на запястье портфель-камень.

Стучат, грохочут лебедки, работают сердца-моторы на красном, липком горячем своем. Все увеличивается объем крови при каждом сокращении. Увеличивается число сокращений в минуту, и сердечная мышца не успевает уже перекачать всего горячего, не успевает отдохнуть в те короткие доли секунды между двумя ударами. Пульс за двести восемьдесят в минуту. Задыхается от жажды, не может напиться кровью аорта. Еще, еще... Всё. Запасы исчерпаны. Сердечная мышца стала вялой и дряблой. Вялыми и дряблыми стали мышцы рук. Руки сами отлипают от каната. Сейчас назад в канаву, в пасть глиняного идола, в раскаленную докрасна боль, сломанной ногой с размаху о грунт.

Однако уже бруствер, и цепкие пальцы милиции вцепились в ворот, арестовали, не дали ускользнуть.

Жизнь — это дыхание. И с дыханием она возвращается. Когда человек перестает задыхаться и начинает дышать. Разумеется, люди тренированные возвращаются к жизни гораздо ранее. Не прошло и минуты взаимного тяжелого дыхания, как

милиционер осветил карманным фонариком лежащего мешком на бруствере Аркадия Лукьяновича и сказал:

— Документики, пожалуйста.

Аркадий Лукьянович, преодолевая тяжесть собственных рук, полез в карман и протянул удостоверение. Милиционер взял и, осветив фонариком, прочел.

— Значит, доцент, — сказал он потеплевшим голосом, — московский доцент... Как же это вы?

— С автобуса... Высадили в темноту...

И пока милиционер помогал ему подняться, и позднее, когда он стоял, опираясь на заботливо подставленное плечо, Аркадий Лукьянович все рассказывал свою историю.

— Да, не повезло, — сказал милиционер, выслушав, — хотя, с другой стороны, очень повезло вам, но не нам. Я в том смысле, что эти разгильдяи из «Облстроймеханизации» уже более месяца как разрыли, а трубы теплоцентрали все не укладывают, несмотря на неоднократные сигналы в разные инстанции. А если бы уложили трубы, то недели б две не засыпали. То у них смолы нет для задела концов, то яйца мешают. И если б вы на эти трубы свалились, то, извиняюсь, хребет бы сломали. Идти можете? Был бы у меня мотоцикл с коляской, я б вас в В. в больницу доставил, а на этом велосипеде вдвоем не уместиться, тем более с больной ногой.

И Аркадий Лукьянович увидел прислоненный к столбу велосипед.

— Мне по штату мотоцикл положен, поскольку участок большой и беспокойный, да, видите, езжу на велосипеде. Начальник говорит мне: «Токарь, по штату положено четверо постовых, а я вынужден троих держать. Требуют возле сберкассы, возле сельмага, на центральной усадьбе и в райбанке. А штатное расписание не позволяет, так что, Токарь, придется выходить из положения». Токарь — это моя фамилия. Токарь Анатолий Ефремович, местный участковый. Рабочая фамилия. Да я и был рабочим, только не токарь, а слесарь. Но потом по путевке комсомола в милицию направили. И у вас, я вижу, фамилия необычная. Точнее говоря, математическая по профессии. Тяжелая фамилия. Сорок пудов. Восемьсот сорок килограмм, если арифметику не забыл! — Он засмеялся.

— Нет, фамилия моя очень легкая,— ответил Аркадий Лукьянович. Этот пустопорожний разговор помогал вернуться сознанию к бытовой прочности из шоковой крайности, в которой оно пребывало.— Фамилия моя птичья. Не «д» на конце, а «т». Сорокопут — это птица такая.

— Птица? Не слыхал. Мы ведь здесь, можно сказать, в глухомани, хоть недалеко от столицы. Подмосковная Сибирь. Особенно как весной река разольется, телефонная связь портится и на другой берег перебраться целая проблема.

Токарь Анатолий Ефремович был парень совсем молодой и чем-то напоминал Аркадию Лукьяновичу молодого дьякона, безгрешным, круглым, даже с румянцем лицом, что ли? Ибо безгрешными бывают люди либо святые, либо добрые, но глупые, не способные понять дурное, ими же содеянное, ни натурой, ни умом.

Аркадий Лукьянович, медленно опираясь на пятку, шел со своим спасителем, придерживающим его правой рукой, в то время как левой он вел велосипед с зажженным фонарем, освещающим дорогу. Портфель Аркадия Лукьяновича Токарь прикрепил к багажнику.

Дождь перестал, но ветер по-прежнему швырял в лицо клочья холодной тьмы. Даже комариный зыбкий рой огоньков исчез с горизонта. Все умерло, и, казалось, уже наступил тот, предрекаемый Библией, катастрофический период, когда на обезлюженной земле человек рад встретить человека.

Да, такое испытывал московский доцент математики Сорокопут Аркадий Лукьянович, идя рядом с участковым милиционером из дремучей провинции Токарем Анатолием Ефремовичем.

Токарь говорил:

— Образование у меня все-таки пока недостаточное, учусь я еще заочно, а здесь проблемы приходится решать самые разные, которые иногда, извините, ученому философу не под силу. Я когда в комсомол поступал мальчишкой-пионером, меня спросили на комсомольском собрании: какая разница между городом и деревней? Я ответил: никакой... Меня поправили: будет никакой... Вот именно — будет... Это мне теперь ясно и как участковому, и как члену культкомиссии райкома комсо-

кола. По стране, согласно нашей печати и радио, ежегодно до-
завляются миллионы квадратных метров жилья, миллионы се-
мей справляют новоселье, а мы здесь не можем добиться по-
ставить на капитальный ремонт барак, где молодые ребята
живут, стрелочники со станции. Барак этот еще с военных вре-
мен стоит, ремонтировали его двадцать лет назад. Да и как ре-
монтировали? Полы на полметра ниже каменного фундамента,
в комнатах круглый год сырость, одежда плесневеет, печи гре-
ют слабо, крыша течет. Объект опасный. Мой предшественник
за этот объект орден Красной Звезды заработал. Это наш мили-
цейский орден. Его обычно либо за тяжелое увечье дают, либо
посмертно. В пьяную драку меж двух ножей попал. Трехлетняя
девчушка осталась. Дело горьком разбирал. Воспитательную
работу, говорят, запустили. А как ее вести в таких условиях,
если только водкой и греются? Вот проблемы. С грехом попо-
лам в прошлом году добились — заменили на кухне один ква-
дратный метр штукатурки, провели освежительный ремонт
квартиры. Попросту побелили. И сушилку побелили. Подно-
вили одну печную трубу и кровлю. Но крыша как текла, так
и течет... Поэтому в барак, который поближе всего, я вас не
поведу, хоть и думал первоначально. А до Михелево с повреж-
денной ногой вам не добраться. Пожалуй, к Подворотовым
пойдем, к старикам. Самому Подворотову, согласно паспорту,
девяносто семь лет. Заслуги имеет революционные. И слово-
охотливый. Любит о революционном прошлом поговорить.
Да что говорит, уже не полностью контролирует. Пробовали
мы его два года назад к пионерам на встречу снарядить, так он
такое там понес, что дети перепугались. Мне от райкома ком-
сомола внушение было... Ведь культурная работа с подрастаю-
щим поколением — дело тонкое, ответственное. Вот недавно
в михелевской школе-восьмилетке был у нас вечер солидарно-
сти с борьбой народов Латинской Америки. Так у одной девоч-
ки-восьмиклассницы лакированные туфли-лодочки украли.
Поди разберись, кто украл, одни свои были, актив. Ну, решили
со всех участников вечера по рублю удержать, чтоб стоимость
туфель вернуть. Кто заплатил, а кто не хочет, ко мне идут жалу-
ются. И верно, за что рубль платить? Или поехал парень моло-
дой на станцию и сорвал с клумбы цветок. Нарушил, конечно.

Но директор учреждения выбежал и паспорт отобрал. Парень ко мне. И так каждый день с утра до вечера. Если не одно, так другое. Сегодня с вами. В кои веки заехал к нам московский доцент математики. Его б в математический кружок пригласить перед ребятами выступить, а мы ему, пожалуйста, яму выкопали.

Так за разговором подошли к какому-то одноэтажному низкому дому, выплывшему из тьмы, как погашенный бакен посреди реки.

— Софья Трофимовна... Токарь это...

4

Дверь открылась словно сама собой, хоть слышен был щелчок замка, и Аркадий Лукьянович опять очутился в яме. Такое было ощущение от царящей тьмы и земляного запаха.

— Софья Трофимовна,— позвал Токарь,— я тут с приедем. Доцентом московским. На одну ночь.

Молчание.

— Я за ночлег заплачу,— добавил Аркадий Лукьянович.

— Софья Трофимовна, вы хоть бы свет зажгли,— сказал Токарь.

— Дед не велит ночью лампочку жечь, сердится,— ответил старушечий голос из тьмы.

Но чиркнула спичка, и зажглась свеча. В свече есть что-то заупокойное, таинственно-нездоровое, особенно для современного глаза, привыкшего к электричеству, и ощущение ямы еще более усилилось. Пол был земляной, но чисто прибранный, сухой. В углу русская печь, и на ней чугунок, видать, очень старый. Стены голые, и только один портрет человека в форме сержанта, стриженного, похожего на уголовника. Возле печи ситцевая занавеска, там, очевидно, спал дед. Войдя, Сорокопут и Токарь остались стоять у порога. Стояла и Софья Трофимовна у печи. Лохматая, взгляд безумный.

Постояла так и скрылась где-то, в каком-то закутке. Вдруг появилась в белом платочке, улыбнулась, пригласила на лавку у прочного самодельного стола. Аркадий Лукьянович сел, вытянув больную ногу.

— Вы бедно живете? — спросил он Софью Трофимовну.

— Нет,— ответила она,— деньги есть, да зачем они?

— Это доцент московский,— сказал Токарь,— с ним несчастье случилось. Ногу сломал. Я его у вас до утра оставлю.

— У нас только две лежанки,— ответила старуха,— деда и моя.

— Это ничего,— сказал Аркадий Лукьянович,— я люблю сидя спать. Хотя спать что-то мне пока не хочется. Нога зудит. Вы мне только свечу оставьте, я за свечу отдельно заплачу.

— Шапку давайте,— сказала старуха,— и пальто снимите, я просушу.— Она взяла вещи и унесла их за печь.

— Ну вот,— Токарь посмотрел на запястье,— третий час ночи. Ну, до утра.

Он распрощался и вышел. Исчезла старуха. Аркадий Лукьянович остался один у горящей свечи. Впрочем, не один. Большая часть тела, больной орган, внутренний ли, внешний ли, обретают некую независимость от хозяина, становятся предметом внешнего мира, особенно в тишине. Больной орган живет своей самостоятельной жизнью, вступает в спор, вступает в диалог со своим бывшим обладателем, иногда приобретая над ним большую власть, а иногда договариваясь, примиряясь, напоминая о своей самостоятельности незначительным покалыванием или жжением. Так и левая нога Аркадия Лукьяновича, оставшись с ним при свече наедине, вначале накинулась, терзая, терроризируя, довела до испарины, но постепенно угомонилась примирительно, терпимо и договорилась особенно не тревожить, если Аркадий Лукьянович будет соблюдать условия договора — держать ее в одном положении, вытянув. Лавка стояла у печи, он привалился спиной к теплему оштукатуренному боку. Стало удобно. Аркадий Лукьянович уже думал вздремнуть, как вдруг обнаружил себя еще один собеседник из-за занавески.

— Ты кто? — спросил хоть и стариковский, но достаточно ясный голос.

— Приезжий,— ответил Аркадий Лукьянович.

— А чем занимаешься?

— Математикой.

— Значит, книжки читаешь?

— Читаю.

— Понятно,— сказал дед,— помню, совсем мальцом работал я у помещика-земца, который себя вроде за революционера выдавал. Книжки читал. А земчиха тоже. Всё под зонтиком погуливает, а ручки белые и с книжечкой. Подойдет и так посмотрит ласково. А ты в пылище, загорелый весь, руки растрескались, поясницу разогнуть нельзя. «Ах, погибель на тебе»,— думаешь. Так вот — земчиха эта грамоте кое-кого учить пыталась, книжечки давала. За свободу вроде, за крестьянство. А как полиция обыск сделала, то пошел слух, что в действительности земчиха очень много книг имела нехороших, как полон дом воды напустить и как из собак людей делать. Есть такие книжки, математик?

— Пожалуй, есть, — ответил Аркадий Лукьянович.

— Ну, так вот,— наставительно сказал дед,— господам зачем революция нужна была? Чтоб опять к себе крестьянство взять. Царь-то сначала согласился, а потом схитрил. Ладно, отдам вам опять крестьян на три года, но без права суда. Думает царь, раз крестьянин суду помещика неподчинен, значит, за три года всех их перережет. Господа ни в какую — право суда над крестьянином им подавай. Вот и началась меж ними и царем катавасия. А народу что царь, что господа. У народа своя дорога.

Я к сознательной революционной деятельности впервой подростком приобщился. Работал я в имении князя Трубецкого. Там во время сбора ягод рабочим одевали намордники, как псам. Намордник из редкой парусины, приделанный к деревянным палочкам. Захочешь пить, подойдешь к приказчику, тот завязки развяжет, попьешь, опять завяжет. Лютый был князь, всех обижал. Ну и начал с ним один крестьянин судиться. Судился, судился да и проиграл. Что делать? Приходит ко мне товарищ Васька, говорит: «Так, мол, и так. Крестьянин согласен полтинник дать, если сено подпалишь, а попадешься, судить будут, скажи на суде, что тебе полтинник князь дал, чтоб страховку получить за сено». Все и произошло согласно указанию товарища Васьки. Он мне отцом стал революционным.

«Бить тебя будут,— говорит,— молчи, знай, за что бьют. Все вытерпи, ибо нет еще пока нашего закона. У господ в тюрьме вместо закона подлые фантазии». И точно, смотритель

в тюрьме курево отнял. «Будь мое право,— говорит,— отнял бы не только табак, но и хлеб».

От свечи по голым стенам бесшумно передвигаются темные пятна, точно призраки давно перегнившей жизни, точно осколки чего-то давно разбитого, бегут по стенам к ситцевой занавеске и там материализуются, склеиваются в единое голосом глубокого старика.

— Работал я потом в каменоломнях, — продолжал оживать бегущие по стенам тени голос из-за занавески, — рабочий день восемнадцать часов. Помню, в то утро лениво начали работу. То сон налегал, то мешали бурить потные ломы. Один с досады предложил закурить. Не успели сделать папироску, пришли к нам из соседних припоров покурить и пополам горе поделить. Это, товарищ, был братский отдых и любовь. Сначала у нас речь шла о табаке, что много курим и правительству много угод и прибылей даем. Тут кричат: «Бросай ломы! Идем бить полицию! Наверху забастовка!» Пошли. Тут слышу голос. То наш же товарищ, сознательный. И барышня. Барышня говорила очень популярно. Тут увидели казацкого полковника и казаков. Быстро двигались рабочие и войско навстречу друг другу. Барабан забил тревогу, выстроились казаки с нагайками в руках.

«Приготовьте палки! — скомандовал товарищ Васька. Палок у большинства не оказалось. — Набирайте камни!» Рабочие наклонились, чтоб взять камни, но вместо камней смогли взять лишь горсти пыли. Нечем было защищаться. Кто-то крикнул: «Долой войско!» Толпа начала разбегаться. Остальные кричат: «Не утекайте!» Толпа уселась. Товарищ Васька запустил речь во всех святых серафимов. Тут появились солдаты со штыками. Толпа разошлась кто куда.

Иду, смотрю, Лазарка плешивый с Чудинихой выходят из кабака, смеются, на нас глядя, и называют нас вшивой командой. А я уж сильный тогда был. Погнался. Они от меня в ворота и заперли. Я ударил в ворота и сказал: «Правы, что успели забежать». Но запомнил. Меня товарищ Васька учил: «Ты все запоминай, пригодится». Заботливый был. Это уж после, в революцию, придет: «Поели мяса, товарищи?» — «Поели, товарищ комбат». Это уж после. А тогда не так уж много времени минуло, аккуратно на разговение, в Петров день, встречаю

опять около кабака Лазарку плешивого с Чудинихой. Они уж все позабыли. «Антошка, говорят, айда с нами». Ладно, зашли, выпили. Побыли недолго, и Лазарка, купив штоф водки, захотел выпить на воздухе. Пошли по дороге на завод, в березняк, чтоб распить водку. Отошли версту или полторы, засели в кустах и начали попивать. Тут Лазарка за что-то начал браниться с Чудинихой. Чем дальше, тем больше. Я их начал разборонять, тогда Чудиниха на меня опять: вшивая команда. Я ударил сидевшую рядом со мной на земле Чудиниху так, что она опрокинулась, потом сорвал с нее платок, завернул его кругом шеи, затянул наглухо и, оттащив Чудиниху, концами платка привязал ее у самой земли к березке. Лазарка все это видел, но боялся, поскольку считал меня сильнее себя и не смел противоречить. Я ему говорю: «Садись к водке, кончим ее всю и разойдемся, а что видел — забудь. Строго-настрого приказываю...» Мне потом говорили, что Лазарка все мучился и пьяный кричал, что покончит с собой, ибо впервые видел, как при нем убили человека. Меня арестовали, да я ни в чем не признался и был выпущен, а Лазарка себя черкнул по горлу бритвой и умер.

Так закончил Антошка, старик 97 лет, свои устные мемуары.

Когда кровь приливает к органам слуха какого-нибудь человека, по всему миру начинается звон колоколов, внушая тревогу и страх. Когда удар в висок воздействует на зрительный нерв, индивидуальная световая вспышка равносильна атомной, и последнее, что видит насильно ослепленный человек, — это мощный поток солнечного света, даже если это происходит ночью или в темном подземелье.

Голос престарелого убийцы из-за ситцевой занавески воссоздал в стародавнем рядовом, мелком, комарином убийстве как бы математическую модель системы народных убийств и народных убийц. Убийц, лишенных «человеческого лица», не индивидуальных, не каиновых, не нероновых, не чингизхановых. Это были убийства родовые, народовые, это были убийства не как факт истории, а как факт фольклора, однако фольклора, вступившего в союз с идеологией, бюрократизированного мещанского фольклора с его скучными зверствами, о которых не запоют слепцы на ярмарках.

Так беседовал Аркадий Лукьянович со своей больной ногой, ибо старик давно уже храпел за перегородкой, бестелесный, бесформенный для Аркадия Лукьяновича, вообще не существующий помимо голоса, и Аркадию Лукьяновичу даже показалось, что если отодвинуть ситцевую занавеску, то там обнаружится даже не пустота, а неопределенность, «икс», «хуа». Больная нога сделала эту простую задачу чрезвычайно тяжелой, требующей жертв, боли, страдания, но соблазн рос, и Аркадий Лукьянович начал уже соображать, как подняться, меньше тревожа ногу, и на что опираться, преодолевая пространство в два-три шага до занавески. Но в этот момент, когда он уже намеревался приступить к решению задачи, из закутка вылетела старуха. Бесшумно, по-совиному махая крыльями платка, облетела голые стены черным по серому, и уселась рядом.

— Заснул Подворотов,— сказала старуха, поправляя темный крылатый платок на плечах, — он ведь каждый день, а то и по два раза в день Чудиниху душит. Он после немало народу подушил. Но это уж ладно, это от государства, а Чудиниху от себя. И мне чуть что — Чудиниха! — кричит.

— Это ваш муж? — спросил Аркадий Лукьянович.

— Какой там муж! — обиделась, поджав губы, старуха.— Это мужа моего отец. Мужа молодым на фронте убило, а вот дед живет.

— Это муж? — указал на портрет сержанта Аркадий Лукьянович.

— Сын мой, Константин,— сказала старуха.

— А он где?

— Неизвестно, — ответила старуха, — его нет.

И, поджав губы, дала понять, что более о сыне Константи-не говорить не надо.

Помолчали.

— Самогончику вам необходимо,— сказала старуха,— холодная глина хуже холодной воды здоровье берет. Вам грудь и живот изнутри прогреть надо. Вам для жены и детей себя беречь надо.

— Детей нет,— сказал Аркадий Лукьянович.

— Хорошо,— быстро откликнулась старуха,— хорошо, у кого их нет. Лучше всего тем.

— Не согласен, Софья Тихоновна.

— Трофимовна, — поправила старуха.

— Софья Трофимовна, мы с женой хотели ребенка, да Бог не дал, как говорят.

— Значит, Бог вас любит, а вы и не понимаете.

Она поставила графин, три старых граненых стакана и тарелку с яблоками.

— А третий для кого? — спросил Аркадий Лукьянович.

— Для Кости, — сказала старуха, — может, увижу его еще хоть раз, — и быстро перевела разговор на другое, начала рассказывать про яблоки. — Это с молодых деревьев. Видишь? — (Мелькнуло это «видишь». На «ты». Породненное, доверчивое.) — Видишь, ни одного червя. Со старых деревьев хоть и слаже, да червивей. Русская антоновка, сорт славянка. До апреля хранить можно. А апрельское яблоко на рынке в цене.

Они чокнулись, выпили, закусили и продолжили разговор о яблоках, светский английский разговор, ибо в старой Англии в приличном обществе не принято было говорить ни о политике, ни о личных делах и бедах, ни на другие темы, вызывающие споры и угнетающие. Но чем дольше они говорили об антоновке или анисовом яблоке из Поволжья и чем теплей становилось в желудке от самогона, тем громче хотелось Аркадию Лукьяновичу кричать, точно опять в яме, а теплота святой воды и сочный вкус безгрешного плода высоко над ним и воспринимаются им только в воображении.

Ведь если и был на яблоке библейский грех, то он давно уже взят на себя людьми, как и все грехи природы, животных, птиц, рыб и первобытных дикарей взяты на себя современным человеком с его оперными идеалами и обобщественными личными кусами.

Вот почему личная жизнь современного человека — это яма, и высокое житейское мужество — сидя в ней, не кричать, а шептать, не звать на помощь общество, а молить о помощи Первородство свое, откуда начался лабиринт, путь в яму. Ибо с помощью крика из ямы можно попасть только в кучу. Так говорила Аркадию Лукьяновичу его левая, очевидно сломанная, нога. Она также хлебнула самогону и теперь говорила Аркадию Лукьяновичу вещи откровенные и неприятные, поскольку

современный человек в современной России как целиком, так и по частям своим, в трезвом виде искренним быть не может. Где он, этот недостижимый рай английского приличного общества, где люди сходятся, чтобы доставить друг другу удовольствие и продлить жизнь? Нет, в российском обществе люди мучают друг друга злой искренностью, опьяняют себя идеями ли, водкой ли или тем и другим. Столетия должны пройти, прежде чем люди в российском обществе, сойдясь, смогут безмятежно почивать, а то и уютно похрапывать в мягких креслах и разойтись свежими и бодрыми, а не с охрипшими глотками, тяжелыми головами, дрожащими руками и злобой в сердце.

А если нет собеседников посторонних, то с собственным телом возникают разногласия. И повсюду адский напор бытовой повседневности, в которой рядом существуют мертвые и живые. Ибо российская история все еще не обрела кладбищенского покоя, она все еще мучает живых своими оборотнями, она все еще не достигла примиряющей красоты, не уложила тысячелетие свое в вечный Мемориал. Она все еще не беспристрастный судья живым, а их сообщник или враг...

Так продолжала говорить левая нога, а между тем старуха Софья Трофимовна протягивала Аркадию Лукьяновичу мятый конверт, какой обычно бывает у людей малограмотных, пишущих письма медленно и занашивающих их. И, верно, Софья Трофимовна сказала:

— Вы — (опять «вы». Как краток миг родства и доверия!) — вы мне за постой не платите, вы мне лучше письмо это грамотно перепишите.

— Ваше письмо?

— Нет, подружки моей, Рыгаловой Елизаветы Семеновны. Мне писать некому. Я тоже не шибко грамотная, но все же лучше пишу, чем Елизавета. Я еще года два назад, когда глаза были здоровей, и газеты читала. А теперь вот письмо по неделе переписываю. А то Валя, дочка ее, пишет, чтоб так не присылала. Разобрать ничего нельзя, и муж смеется. Вы сперва почитайте.

Аркадий Лукьянович взял письмо и при свете свечи прочел:

«Здравствуйте маи радные
ваши писма получил большая вам спасибо валя ты спрашиваеши чева мне прислат мне пришли килаграма четыре муки. Здес нет муки и болшы ничева ненада А то скоро будут празник мучки нет.

валя я писала получила разерпин. Я ева нимагу приминат уминя очин балит сердце пасли ева. Нихажу ослабла

Валя был Серге. Он ничева нигаварил чта получил бадерал и ли нет низнаю насчёт драв у миня драв ест хватит давесны валя мне нада ват такеи таблетки пириданин гипитазод ват мне нада такеи таблетки достаниш та вишли паскареи и дражед. Паличку унас умир Сергеи Лексев бариса брат едва дня полежал и умир. Мне стала палучи всо досвидания

ваша бабушка и мама валя пачему ты непишыш Ледке».

Это был язык племенной, а не национальный, близкий по духу к «Слову о полку Игореве». Язык небольшого, но реально-славянского племени, утопленного в разросшейся рыхлой символической «русской нации» со своим «будя» и «хватя» как явлением промежуточным к серой обобществленной речи. И латинские имена лекарств, как послы иноземной державы, как иноземные гости, присутствовали в этой племенной грамоте Рыгальной Елизаветы Семеновны из деревни Михелево. Это был язык мыслителя, хоть мыслил здесь не разум, а инстинкт, наподобие птичьего или звериного. И потому антиподом ему являлась народная реалистическая речь современной деревни, обработанная и бюрократизированная городом.

Продолжением же племенного языка является язык культуры, который ныне один только и может быть подлинно национальным, сохранившим в своей международной широте музыку племенной речи, которую уже давно утратила кичливая пугачевщина и стенькоразинщина. Однако, чтоб перевести племенной язык на язык культуры, нужен литературный талант переводчика, которым Аркадий Лукьянович не обладал, и чем более он переписывал славянскую грамоту Елизаветы Семеновны, тем более она, как будто бы сохраняя и проясняя смысл, в то же время переставала быть письмом любящей одинокой бабушки и мамы, а становилась писаниной темной дере-

венской жабы из тех, что, переехав в город, сидят на лавках и зло смотрят в спину прохожим. Слова, которые писал Аркадий Лукьянович, были не народные и не культурные. Это были слова, ушедшие из культуры в народ со своим евангелием-букварем, в пределах которого составлялись агитлистки и революционные лозунги. Это было слово-мутант, изменившее свою клеточную структуру и ставшее изнутри злокачественным, при сохранении прежнего облика.

Прежде святые или просто безобидные слова, такие, как любовь, свобода, братство, демократия, либерализм, мир и т. д., — они травили умы, выедали сердца и души, размножались делением во всё новые, по внешнему виду здоровые и нужные, но больные изнутри слова. Больные слова рождали больные идеи, которые умирали не сами по себе, а вместе с жертвами своими, как всякая злокачественная опухоль. Мертвые идеи ложились на кости, кости на идеи. Так росла куча, революционный «икс», в недрах которого происходили вулканические процессы самовозгорания от взаимодействия идей и костей. А первоисточником всего вулканического процесса разрушения было слово, порвавшее с культурой.

Перегорев в глубинах вулканической кучи, оно извергалось и затопляло мир. Теперь это были либо слова-посредственности, либо слова-безумцы. В облике добра, справедливости, права, правды слово говорило пошлости либо митингово хрипело, проповедуя смерть пошловатым ли удушением в березнячке, монументальным ли государственным истреблением. Жертва же, у которой отнято слово, лишена всякой защиты, кроме протестующего сердца.

При любой смерти одинаково сильно стучит сердце в бесильном своем желании противостоять разрушению. Даже будучи вырванной из тела, сердечная мышца, в отличие от мышцы скелетной, продолжает сокращаться-протестовать. Так, очевидно, вело себя сердце женщины, вырванное из груди «иксом» во время Французской революции. Так вело оно себя в зубах отравленного больным словом революционного каннибала. Так оживает оно во время медицинского опыта в физиологическом растворе, полное несбыточных надежд, ища по соседству с собой легочную артерию и аорту, родную среду, грудь родного человека, но находя лишь страшное стекло про-

бирки, стеклянной своей ямы. И тогда оно начинает из последних сил стучать, задыхаясь, скользя культияпками вен по стеклу, как по мокрой глине. Стучать, стучать, стучать и, чувствуя внезапное облегчение, став легким, невесомым, взлетает из стеклянной ямы-пробирки в воздух.

Простуженный нос Аркадия Лукьяновича внезапно освободился от слизи, облегчил дыхание и вызвал ощущение полета в воздухе. Аркадий Лукьянович проснулся. Рядом с оплывающей свечой лежало переписанное письмо. Ворчали в мыльном рассветном тумане разбуженные стуком старики Подворотовы. Это участковый Токарь стучал в окно.

5

«Какой дикий сон, — подумал Аркадий Лукьянович, — Сердце в медицинской пробирке... Сколько же я спал?»

Спал он не более пяти-десяти минут.

— Как выспались? — спросил Токарь, профессионально угадав мысли, и, не дожидаясь ответа, видно, прочитав его на осунувшемся лице Аркадия Лукьяновича, добавил: — Конечно, с покалеченной ногой спать затруднительно. Я вам костылек принес. Не очень-то новый, стоптанный костылек, но все-таки. Вы как решили, в местную больницу добираться, в Нижние Котлецы, или в Москву?

— Постараюсь в Москву.

— Тогда собирайтесь. С утра можно на шоссе такси найти прямо до Москвы. Правда, до шоссе километра два, дойдете?

— Постараюсь, — сказал Аркадий Лукьянович, вдохновленный и обрадованный такой перспективой добраться быстро и комфортабельно в свою обеспеченную жизнь из нынешнего бедственного положения.

— С хозяйкой расплатились? — спросил Токарь.

— Нет, я денег не возьму, — сказала Софья Трофимовна, придерживая руку Аркадия Лукьяновича, полезшего в бумажник.

— Ну хоть подарок, — сказал Аркадий Лукьянович и вынул из портфеля сохранившиеся невредимыми три плитки шоколада «Дорожный» и два апельсина.

— Это другое дело,— сказала Софья Трофимовна,— это к чаю. — Она завернула шоколад и апельсины в какую-то тряпицу.— А то дед сразу сожрет,— сказала она, понизив голос. — Он любит сладкое. Сахар ложками ест.

На улице подсохло и даже несколько подморозило. Сухой воздух плеснул в лицо, словно умыл его. Но идти было тяжело. Костыль надо было освоить. Он выскакивал из-под руки, и Аркадий Лукьянович несколько раз оступался на больную ногу, от чего знакомый уже фейерверк остро ударял в затылок. Токарь придерживал Аркадия Лукьяновича под руку, в другой руке у него был какой-то мешок.

— Нет,— сказал Токарь,— так мы к полудню к шоссе доберемся. А у меня дел на сегодня выше головы. Вот ребятишки кости старые обнаружили, скелет человеческий. Наводнением склон размыло. Любой скелет полагается на судебную экспертизу. Собрал я кости в мешок, а следователь ругается. Это верно, костяные остатки трупа следует по инструкции упаковывать, иначе экспертиза не примет. Да где я возьму в местных условиях коробку с прокладками из ваты? Кости, конечно, старые, хрупкие, но что поделаешь...

Так за беседой миновали Сорокопут и Токарь переезд, бараки, траншею, очевидно, начало той самой, в которую свалился Аркадий Лукьянович, и сохнущую на веревках целую роту мужских кальсон. Пахло мазутом. Это была уже местность фабрично-железнодорожная.

— Далеко Михелево? — спросил Аркадий Лукьянович, который изрядно устал, передвигаясь на одной ноге.

— А мы к Михелево не идем,— ответил Токарь,— мы к шоссе. Устали, да?

— Устал, — сознался Аркадий Лукьянович, — отдохнуть бы малость.

Помимо усталости, всю дорогу Аркадия Лукьяновича мучил мешок, отнимая последние силы. Старался не смотреть, да нет-нет и глянет.

«Чудинихи кости,— влезло в голову,— которую Подворотов платком удушил. За занавеску не поглядел, так хоть бы в мешок...» — нет-нет, да глянет.

И не выдержал, попросил:

— Анатолий Ефремович, можно мне в мешок заглянуть?

— Зачем? — удивился Токарь. — Разве скелет никогда не видели?

— Любопытно.

— Ладно, видно, научное любопытство у вас, — и приоткрыл мешок.

Это была отполированная временем широкая крестьянская кость, видны были остатки грудной клетки, в которой некогда куковало давно исчезнувшее сердце. Скелет же 97-летнего убийцы был по-прежнему упрятан во все еще жадную к жизни, потребляющую сладости, сахар глиняную плоть.

Холодная испарина оросила лоб и шею Аркадия Лукьяновича, его глаза закатились, живот подобрало.

— Да вам совсем худо, — услышал Аркадий Лукьянович очень далекий, слабый голос, который, однако, постепенно начал приближаться и взорвался паровозным звуком, оглушив: — О-о-о-о!

— О-о-о, — сознался Аркадий Лукьянович, — о-о-о!

— Так, может, в Котлецы? Там больница неплохая.

— Нет, в Москву...

— Вот что, — сказал, подумав, Токарь. — Я вас пока в котельню посажу, а сам на шоссе. Котельня недалеко, согреетесь.

— Согласен, — ответил Аркадий Лукьянович.

«Еще как, еще как согласен», — ответил бы он, если б знал заранее, что встретит в котельной человека своих кровей, циника, скептика. Вот чего ему не хватало в продолжение этих страшных суток его «хождения в народ». Вольтеровской веселости перед мертвой ямой, полной страшных вопросов бытия. Перед ямой-убийцей, к которой ведут протоптанные по бездорожью индивидуальной судьбы тропиночки, тропочки мелких неприятностей.

— Офштейн Наум Борисович, морской инженер. Ныне истопник. Точнее, ныне инженер-кочегар.

А в глазах не ясный свет солнца — мудрый свет луны. Вместо золота — не медь, серебро. Отнят день, осталась ночь, брошенная убийцами за ненадобностью из-за официального статуса своего. Осталась катакомба-котельня, чисто прибранная, с гудящей топкой и полками книг.

— Морской инженер?

— Да, со стажем и научной степенью кандидата. К доктору не добрался. Вот-вот, но не добрался.

— Наверно, были неприятности?

— Умеренные. В том смысле, что я был к ним готов. Настоящие неприятности всегда неожиданные, неприятности, в приход которых не веришь. Моя фамилия Офштейн, по-русски переводится — встать! Я всегда чувствовал, что рано или поздно мне скажут: Офштейн — встать! Вот я и встал и вышел...

— А как теперь?

— Я жизнью нынешней доволен. Никогда раньше у меня не было столько свободного времени, никогда раньше я так много не читал, и никогда раньше меня так не ценило начальство. Я ведь в районе единственный непьющий истопник. И с коллегами моими, истопниками, у меня замечательные отношения, что нельзя было сказать о моем прошлом коллективе, включая обоих замов Ивана Ивановича — Рахлина и Ролина. В общем, очень, очень...

В котельной было тепло, уютно и как-то безопасно. И Аркадию Лукьяновичу подумалось, что университетские, академические и прочие учреждения нынешней интеллигенции представлялись ему теперь по воспоминаниям более хрупкими, неустойчивыми, готовыми в любой момент обрушиться и придавить находящихся там обитателей.

— Значит, вы считаете, что для интеллигенции настало время уходить в пастухи? Образно говоря, пасти стада фараона?

— Ну, так крайне я не думаю. Однако творчество — дух, а не статус. Встречный поток не исключен. Академик-пастух и пастух-академик. Так, впрочем, было в библейские времена. Академики-книжники сверху, пастухи-пророки снизу.

— Ну, библейские времена невозвратимы, — сказал Аркадий Лукьянович, — кроме того, тогда интеллигенцию еще не приручили. Не только Пифагор, но даже Лейбниц или Ньютон еще существовали в диком, независимом виде. Наука и культура жили все-таки еще в природных условиях. Их еще не посадили на цепь и не заставили бегать по государственному двору, они еще не брали пищу из рук. Конечно, главная мозговая кость манила всегда, но тогда ее бросала сама наука или культура. Вспомним спор меж-

ду Лейбницем и Ньютоном о приоритете в исчислении бесконечно малых величин. Тщеславный спор о том, кто первым ощутил дыхание Абсолюта, дыхание нуля, оставаясь при этом живым. Возможно ли ныне подобное чистое тщеславие, не заглушено ли оно спором за государственные почести? Цель была еще велика, методы мелки, вплоть до обвинений в адрес Лейбница, будто, переписываясь с Ньютоном, он узнал о его открытиях и частных писем и присвоил эти открытия себе. Впрочем, метод, даже творческий метод, всегда бывает мелок по сравнению с целью. Цель всегда связана с философией, с Божеством, с идеализмом, с культурным целым, метод же — это технология, это материальное.

— Материальное, — эхом отозвался Офштейн, — цель науки государственным потребностям всегда вредна, методы необходимы. Вот такое противоречие. Так оставим же академикам методы, а цели возьмем с собой как ненужный официальнойности хлам. Сколько они еще протянут на отсеченных от целей методах? Ну, пятьдесят, ну, сто пятьдесят лет. Уже теперь методы все более и более теряют силы. Они существуют, они приносят пока успех только из-за грандиозных целей, которыми были рождены. Это, извините меня, басня старика Крылова. Жрут методы-желуди и рылом подрывают корни дуба, на котором эти желуди растут... Ха-ха-ха... Ха-ха-ха...

Так они беседовали за закрытыми дверьми, за прочным крюком, который предусмотрительно набросил Офштейн, когда Токарь, оставив Сорокопуга в теплой котельной, ушел на холодный ветер, к шоссе, ловить для больного такси.

Библейский человек после катастрофы, после безлюдья рад любому первому встречному человеку. Но второго человека он уже должен искать. Третий же — безразлично, кто будет, если найден второй.

Впрочем, до третьего они еще поговорили в свое удовольствие, и больная левая нога, как бы заключив с бывшим своим хозяином мир, дипломатично их разговору не препятствовала.

— Вот в одной из тех книжек, — сказал Офштейн, указав на полку с книгами, — в одной из этих книжек, которые я начал читать, став истопником, сказано о прямой линии материальной жизни между обезьяной и лопухом... И один из наивных идеалистов XIX нашего российского века обрушивается на этих

детей Тургенева с такой силой благородного рыцарства и расходует себя дочиста в борьбе с ветряными мельницами настолько, что, когда перед ним и ему подобными встали простые проблемы текущей революционной практики, они внуками Тургенева оказались полностью затоптаны, обнаружив свое бессилие. Так произошло, потому что внуки эти ясно отделили цель от методов, самого Тургенева оставив тоже на другом берегу, среди пугающих птиц и наивных идеалистов ветряных мельниц. Более того, внуки выиграли также и теоретический спор, умело завлекая наивного идеалиста на поле, выгодное себе, между обезьяной и лопухом. А в этом промежутке прав не только Дарвин, но и Фейербах, заявляющий, что его сердце отвергает религиозное утешение. Действительно, какое тут утешение, если начало жизни ха-ха — обезьяна, а конец жизни ха-ха — лопух? К тому же идеалист всегда впечатлителен, поскольку идеал неосязаем. А впечатлительность при чрезмерном напряжении переходит в истеричность. Поэтому некоторая грубость суждений идеалисту не вредна, действуя успокоительно, проясняя взор. И к Дарвину надо бы было по крайней мере отнестись повнимательней. Подумать, отчего же это человек религиозный и от религии не отрекшийся верит одновременно в обезьяну? Может, между моментом создания глиняной основы, придания этой основе формы и одухотворения глины прошли как раз те самые многие миллионы лет эволюции? Вот такие вопросы, будоражащие нервы. И вот как идеалисты запутались в своих нравах-идеалах, как в сетях. А моего деда, аптекаря, послушать не захотели. Мой дед вовремя сказал своему сыну, Борису, моему отцу: «Боря, скоро грянет буря», — и он оказался неплохим буревестником революции.

Последнее Офштейн сказал с жаргонным акцентом, очень смешно и засмеялся.

— Ха-ха-ха! — услышал Аркадий Лукьянович и свой вольтеровский смех международного агента-интеллекта, плетущего в подпольной котельной заговор международной интеллигенции.

— Когда я смеюсь над смешным, — утирал глаза Офштейн, — то, как сказал Маркс, это значит, что я отношусь к нему серьезно.

— Главная беда народников, по-моему,— сказал Аркадий Лукьянович, — в том, что, идя в народ, они хотели не научить-ся крестьянскому, а разучиться всему некрестьянскому. Впрочем, думаю, если бывший приват-доцент видел вдруг несущую на коромысле ведра бывшую выпускницу института благородных девиц, он вполне мог сказать: «Мадам, силь ву пле, эк вас, мадам, скособочило».

И опять смех заговорщиков. Так смеются близкие друзья или влюбленные. Так смеялись он и Оля, когда вместе еще планировали общую жизнь, общий заговор против остального мира.

«Никаких воспоминаний об Оле»,— восстала левая нога, возразила болью, давно не напоминавшей. Аркадий Лукьянович поморщился.

— Что, болит нога? — спросил Офштейн.— Я вам сейчас дам таблеточку, успокоит.

Он поднялся, ладный в своей чистой спецовке, подошел к аптечке, взял таблеточку и налил воды в чистый стакан.

В этот момент в дверь застучали.

— Вот ваш милиционер идет. Пора расставаться. Если не возражаете, обменяемся телефонами.

Однако это был не Токарь, всерьез застрявший на пустынном холодном шоссе, а коллега Офштейна, истопник.

— Здравствуй, Ньюма,— сказал он, входя и неся на лице визитную карточку — алкоголик.

— Здравствуй, Степан,— ответил Офштейн.

— О, — воскликнул Степан, — здесь пьют!

— Воду.

— Какая вода! Это ты мне говоришь! Я же своих за километр вижу. Я же их по лицу узнаю. А у этих непьющих такие лица ехидные. И так они нам, пьющим, завидуют. Верно, товарищ?

— У товарища лицо не пьяное, а больное,— сказал Офштейн.

— Другое дело. Раз больной, никаких претензий. Ну а по профессии кто будет товарищ не пьяный, а больной? — спросил Степан, по-прежнему обращаясь к Офштейну, видно стесняясь прямо заговорить с незнакомым и явно не местным человеком.

— По профессии я математик,— ответил Аркадий Лукьянович.

— Тогда вообще все правильно,— сказал Степан,— что я, математики не помню, что ли? Корень петрушки двух чисел... Да... Плюс выдающееся произведение первого числа на второе. Или тело Архимеда, погруженное в жидкость... Проблема только, в какую... Вот нас после работы оставляют слушать лекции о пользе безалкогольной жидкости.

— Не беспокойся, Степан,— сказал Офштейн,— был «Союз за освобождение рабочего класса», будет «Союз по освобождению рабочих от кваса». Ха-ха!.. Хи-хи!.. Ты чего пришел?

— Знаешь ведь, за сигаретами. Сегодня меня к следователю вызывают по делу Коли Диденко. Нервничать буду, так хоть твоих приличных покурю, из столицы. А то местные горло дерут, да и нервы горло давят, так что ни слова не скажу. А не скажу, кашлять буду, следовательно подумает, запираюсь. Это все Петьки Воронова дела, передовика-профсоюзника.

— Бывшего,— сказал Офштейн,— Воронов тоже в бунт подался, в недовольство... Ты на кого котельную-то оставил?

— На практиканта из ремеслухи...

Степан снял трубку настенного телефона.

— Алле... Сашок? Как дела? Приходил? Ты сказал, что меня нет?

— Тут ты,— с шумом распахнув дверь, сказал одутловатый детина с темной повязкой на левом глазу,— чего ты бегаешь от меня, Мирончук? Совесть рабочая у тебя есть?

— Поздоровался бы, Воронов,— сказал Степан,— вот кочегара Офштейна еще сегодня не видел. И вот товарищ из Москвы.

— Ах, из Москвы... Ну что там? На Мавзолее высоко стоят, от народа далеко. А в Польше, например, я по телевизору видел, правительство прямо руки протягивает, достает народ.

— Мало ли что! — возразил Степан. — В Америке правительство вообще среди народа ходит. Но это не значит, что так правильно. Верно, Ньюма?

— Мое дело вопиющее, товарищ москвич,— обратился к Аркадию Лукьяновичу Воронов. — Вот вы человек свежий, не местный, посудите сами. Я бригадир передовой бригады экскаваторщиков треста «Облстроймеханизация». Фамилия моя Воронов Петр Васильевич. Работал я на строительстве теплоцентрали.

— Той самой канавы, куда вы, Аркадий Лукьянович, свалились, — вставил Офштейн.

— А вы не всовывайтесь! — повернул волчью голову в сторону Офштейна Воронов и обнажил желтые клыки. — Здесь пока не кнессет, а советская котельня. Так вот, пришел я после смены мыться. Баня на территории завода. Кочегар Диденко. Дал ему три рубля, чтоб он пустил горячую воду. Помылся, прихожу, в кармане брюк нет тридцати рублей. Я к Диденко, поскольку больше никого не было. А он лом схватил и слева по голове. Глаз левый выбил, мог убить. Не знал я, что он уже три раза сидел. Знал бы, плюнул бы на тридцать рублей. Теперь у него восемь лет строгого режима, а у меня вставной глаз. Да и то пользоваться глазом не могу, — все более распалялся Воронов, — нигде порядка нет. У меня правый глаз голубой, а московский завод протезирования прислал мне левый глаз черный. Такого при Сталине не было, чтоб над рабочим человеком издевались. Если б Сталина не отравили, мы б уже имели бесплатный хлеб и колбасу.

— А я-то здесь при чем? — сказал Степан. — Я, что ли, эту бесплатную сталинскую колбасу у тебя отнял или черный глаз прислал? Чего ты за мной бегаешь, меня в свои доносы вставляешь?

— Как при чем? Я дело на пересмотр подал. Его расстрелять мало. Он общественную опасность представляет. Он тебе, Мирончук, ножом угрожал в бараках у стрелочников? Угрожал, свидетели есть. Вот ты и подтвердить должен. А как же? У меня мать престарелая, мне ей помогать надо. С чего? С пенсии?

— Молись, — сказал Степан, — может, Бог поможет.

— Бог, — насмешливо сказал Воронов, — он поможет, Бог. Мать моя старая, она молится. Я говорю, тебе Бог копейку хоть даст, молись не молись? Она отвечает: ты мой Бог. А на какие средства я буду Богом? Мне обязаны платить как за производственную травму.

— Избит на производстве, — сказал Офштейн.

— А вы не вмешивайтесь! — побагровев от злости и горя, крикнул Воронов. — Дайте русским людям меж собой поговорить...

Эти слова, видно, оскорбили и привели Офштейна в растерянность. Во всяком случае, его прочный скептицизм исчез. Очевидно, брал верх инстинкт безоружного рода его, не боявшегося силы чужих мыслей, но боявшегося силы чужих кулаков.

— Ничего ты не сделаешь, Воронов,— сказал Степан.

— Что?

— Зачтокал... Ты, Воронов, пойми, у тебя глаз один, тебе его беречь надо.

Так они ворковали на басах, пока не отворилась дверь и не вошел участковый.

Офштейн явно обрадовался, как радовались его предки, когда во время погромной атмосферы соизволила являться власть. И действительно, Воронов мигом присмирел, подобрел и сказал:

— Я, товарищ лейтенант, пришел с Мирончуком поговорить по поводу свидетельских показаний.

— Ладно, это потом,— сказал Токарь,— такси вам нашел, товарищ доцент. До самой Москвы.

Токарь помог Аркадию Лукьяновичу подняться, и догадливый Воронов быстро подал костыль.

— Товарищ доцент,— шепнул Воронов, помогая вместе с Токарем преодолеть Аркадию Лукьяновичу ступеньки, — может, там в Москве позвоните на завод протезирования? Отсюда звонить сложно. Скажите, если надо, я на примерку глаза приеду... Напомните, глаз голубой, фамилия — Воронов.

И уже на улице, когда Воронов торопливо писал на бумажке, Аркадий Лукьянович вспомнил, что попрощался с Офштейном лишь кивком головы, который, однако, можно было принять и за обычное движение, которым длинноволосый поправляет упавшие на лоб волосы. А телефонами так и не обменялся. Забыл. Забыл ли? Что-то повеяло, чем-то подуло, и вот Аркадий Лукьянович в компании профсоюзника-антисемита Воронова и участкового милиционера Токаря, власти нашей советской в миниатюре со всем ее добром и злом. А человек, с которым еще недавно так радостно беседовал, с которым чувствовал такое родство, общую духовную расу, общие, приятные сердцу парадоксы, этот человек брошен, отстранен торопливо и мимо-

ходом. И Офштейн это понял. И Аркадий Лукьянович сам это понял. «Так-то, Аркаша, правнук, внук, сын русских демократов. Вот цена нашего ума, наших духовных разговоров, нашей чести... Впрочем, какая честь может быть у дворни?»

У дворовой интеллигенции. Главное, чтоб на конюшне не выпороли, вот о чем думаем днем и ночью. Как же тут не забыться хоть иногда в умном, оппозиционном разговоре, как в пьянстве от постылой своей жизни забывается Степан? Ах, как мерзко, как больно... Вырвать бы все с корнем... У чисел, как у петрушки, есть корень... Ха-ха-ха... Степан это верно подметил... А что подумал обо мне Степан? Да и во что верит Степан, кроме водки? Вот старый вопрос русского интеллигента. Только заданный с позиций морально-политических. А с позиций религиозно-философских тот же вопрос выглядит по-иному: есть ли у человека душа? Раз она болит, значит, пока еще все-таки не заменена рефлексамы головного мозга. Значит, еще можно исправить, вернуться. Куда? Куда может вернуться базаровская лягушка? А тем более лягушка Ивана Михайловича Сеченова, знаменитого русского физиолога-демократа, последователя Белинского и Чернышевского.

Когда на обнаженный мозг лягушки накладывают кристаллы поваренной соли (сыпать соль на раны), рефлекс замедляется, когда на лапку капают серной кислотой, они усиливаются. Так, через прогрессивное зверство, было доказано Сеченовым отсутствие в человеке «Божественной Души».

«Но, если я иду в компании материалистов Петра Воронова и Анатолия Токаря, что ж это так ноет? Левая лапка? От перелома ли, от серной кислоты ли? Болезнь развивается скачкообразно».

— Потерпите, — сказал Токарь, глядя сочувственно на искаженное лицо Аркадия Лукьяновича, — сейчас дойдем. Такси, вот оно. Вплотную к котельной не доехать, застрянет.

Наконец мягкое сиденье, о котором мечтал уже давно, которое унеслось из-под него на станции В., наконец комфорт и вежливый коротконосый таксист за рулем.

— Ну как? — спросил Токарь.

— Сразу лучше, — улыбнулся Аркадий Лукьянович. Много ли надо человеку? Мягко, удобно, тепло. Сейчас поне-

семся со скоростью сто километров в час, и эпизод с Офштейном будет уменьшаться и уменьшаться, несясь назад по одной из параллельных линий в бесконечность. А в бесконечности он столкнется со второй параллельной линией, пискнет, как комар, и исчезнет. Ведь сам Офштейн исповедует скепсис и цинизм, как сладкую приправу, вот он и стал жертвой собственной философии, вольтерианства, своего серьезного смеха.

Так успокаивал себя Аркадий Лукьянович, так он привел в норму свои сердце и дыхание, так ублажил он, устроил удобно свою покалеченную ногу.

— Поехали? — услужливо спросил шофер.

— Минутку, — сказал Токарь, наклоня свое румяное лицо диакона-комсомольца, — я просить вас хочу, Аркадий Лукьянович. Я, как уже говорил, учусь заочно. Не могли бы вы просмотреть мои контрольные работы? Мне, конечно, неудобно затруднять...

— Обязательно, — сказал Аркадий Лукьянович, — я вам очень обязан... Вы, можно сказать, мой спаситель...

— Это мой долг, Аркадий Лукьянович...

И два расплывшихся лица за стеклом, и такая же улыбка на лице у Аркадия Лукьяновича. Такая улыбка, мечта фоторепортера. Там, в газетной глубинке, могут быть проблемы острые, трудности роста социалистической страны, но на первой полосе только улыбка, эталон революционного оптимизма, а также призрак благонадежности. Улыбка, которая объединяет, которую можно снять с одного лица и надеть на другое. Не важно, что у Воронова желтые клыки, у Токаря три выбитых передних заменены стальными, а у Аркадия Лукьяновича зубы разъедены лимоном и коньячком. Небесная улыбка коммунизма может рекламировать лучшие сорта зубной пасты. И Аркадий Лукьянович ехал, растягивая благонадежно губы согласно рекламным образцам, пока однообразные дорожные впечатления не заставили его начать читать учебное сочинение Анатолия Ефремовича Токаря на тему: «Коммунизм — это молодость мира». Тогда губы Аркадия Лукьяновича сами по себе взбунтовались, изогнулись змеями и опять приняли форму вольтерианскую, как в подпольной котельной. Но этого никто не видел,

тем более Аркадий Лукьянович хихикал себе в носовой платок. А шофер внимательно смотрел в ветровое стекло на смертельно опасное, мокрое шоссе.

6

Заметив во вступительном слове, что «у нас нет такого пессимизма, как у героев Ремарка», Анатолий Токарь перешел к анализу истории.

«Человек при рабовладельческом строе был приравнен к слону. У него не было имени. Но вот вспышки разума все чаще и чаще мелькают во мраке Средневековья. Пока это мыслители, художники, поэты. Капитализм, засучив рукава, вцепился в штурвал истории. И... революция! Да здравствует человек труда! Война прервала наш мирный труд, но враг жестоко заплатился за это. И снова труд.

Взлетели в воздух первые космонавты — это люди труда. Оросили безводные пески Кара-Кума — это люди труда. Схватили за руку маньяков, размахивающих атомными и водородными бомбами, — это люди труда!»

Смешно... Но чем же, кроме церемониальной внешней стороны, отличаются труды наших диалектиков с академического Олимпа? По крайней мере в Токаре-милиционере есть гордость первобытного дикаря-охотника, ежесуточно отдающего свои физические силы, которые так же эксплуатируются Центром и которыми Центр живет. И потому его наскальный марксизм не имеет прямого отношения к его труду, а является забавой и ритуалом при свете костра. «Не вникая», милиционер Токарь находится в состоянии умственного равновесия, а значит, способен и на доброе. Но что поддерживает платежную силу академика-олимпийца?

В отличие от улитки, будучи существом высшего порядка, он знает, что тело его мягко и съедобно, а живет он лишь идеологическим панцирем своим, с которым сросся, в котором ест и спит.

Если милиционер Токарь чувствует себя охотником, то академики и прочие творческие личности с Олимпа постоянно чувствуют себя дичью. Чувство это верно, ибо особенно в тот

период, когда улыбка коммунизма пахла «Герцеговиной Флор», сталинским табачком, их после народной каши ели особенно много в качестве деликатеса. Оттого затейливы их панцири, разнообразна и умела их мимикрия, естественна и убедительна их марксистская диалектика. Убедительна для тех, кто сеет, пашет, строит, блюдет. Для кого «вникать» профессионально вредно, и потому он считает марксизм частью окружающей природы, в которой не сомневаются и которую не замечают.

Так мыслил Аркадий Лукьянович с сочинением милиционера Токаря на коленях.

Вообще, подобно многим в его среде, Аркадию Лукьяновичу нравились благородные мысли, не требующие благородных поступков. А чтоб выглядеть справедливым, особенно нравилось ему благородное самоунижение, также не требующее публичного изменения и отречения. И потому в этом самоунижении можно было говорить вещи лишь отчасти справедливые, а значит, односторонние.

Конечно, интеллигенция вырождается и демонстрирует далеко не лучшие качества. Но можно ли упрекать крепостного за то, что он перестал принадлежать себе и прикреплен к земле для удовлетворения экономических нужд государства? Причем если крепостной землепашец есть один из способов земледелия, пусть не самый прогрессивный, то крепостной интеллигент попросту вреден государству, и пользоваться его трудом можно в той же степени, как и топить печи ассигнациями или выжигать вековые леса ради самоварного угля.

И сам Аркадий Лукьянович и многие его коллеги в науке и культуре были людьми, любящими свое призвание, талантами, готовыми без остатка посвятить себя поискам тайн бытия, впечатлениям жизни, ее неясным звукам, ее святым слезам, ее усталому смеху. Но вместо этого они удовлетворяли лишь мелкие нужды государства по отысканию игольного ушка в космосе, чтоб протащить через него ядерного «верблюда», напугав тем самым и себя, и весь мир. Труд этот, помимо всего прочего, скучен и утомителен. Потому все менее чуток к неизведанному становится интеллигент, все менее его томят творческие желания и все более он впадает в болезненную усталость, все реже хочется быть наедине со своими мыслями, и тянет либо

в сон, либо в коллектив с его мышинными усилиями по созданию тех самых ядерных «верблюдов» в космосе и идеологических «слонов» на Земле.

Так, усталый от мыслей, задремал Аркадий Лукьянович наедине с собой, а коротконосый шофер смотрел только на шоссе.

Пустынно было шоссе в этот ранний ненастный час, и крайне увеличившийся из-за слякоти тормозной путь требовал незначительной скорости. Однако коротконосый, видно, торопился и летел над землей. Все было тихо и пустынно вокруг, кроме промелькнувшего у обочины пьяного.

О пьяном не стоило бы уже и говорить, как о надоевших пеньках, по-заячьи скакавших через вырубленные участки прищосейного леса. Однако этот лежал в холодной грязи, обхватив обеими руками нечесаную голову, точно кричал безмолвно: «Боже мой!» А рядом лежала его шапка, как лежит она перед нищим. «Боже мой!» — просьба это или просто вздох? Да и услышит ли его Бог, подаст ли? И что он просит, этот Человек России, этот «икс», часть «кучи», комок, валяющийся в ненастье в среднерусском поле? Может, он просит вместо болезни, которую растравит, лежа в грязи, вместо мучительного кашля и сильного исхудания простой, ясной смерти?

Туберкулез в народе называют чахоткой, потому что человек чахнет днями, ночами, месяцами. Может, он просит у Бога вместо этого мгновенной смерти, чему способствовали бы переутомление, голод, непосильный труд, через которые прошел этот человек за тот исторически короткий период развития страны, летопись которой скорей напоминает историю болезни? А может, он просит солнечного света, который убивает не окрепшие еще бактерии? Или хотя бы стакан горячей кипяченой воды, также, согласно медицине, способный в начальной стадии простуды воздействовать на туберкулезные палочки?

Но не получить ему солнечного света с обложенных серым налетом больных небес. И некому подать стакан кипятка. Пустынная местность. Все разумное укрылось под крышами и за стенами.

Однако вот впереди показался самосвал. Виляет самосвал, заносит его кузов то влево, то вправо, а такси с коротконосым

шофером не сбавляет хода. Неужели ошибся Бог или секретарствующий ангел, неужели перепутал он мольбу о смерти?

Аркадий Лукьянович умирать не хочет, несмотря на болезнь и на сломанную ногу. В его костях еще достаточно органических веществ, еще далеко до старческой хрупкости скелета. Шины на мягких прокладках, а если надо, так и гипс, поправят дело. Такие упругие ноги еще долго могут идти, еще впереди полным-полно всякого, еще не прожита судьба. Еще будет Госпремия, университетская медаль, член-корреспондентство. Никуда от него не делась и его миловидная умная жена, которая в научно-общественной карьере даже успешней мужа. Есть интересные друзья, дорогие сердцу книги, радостные праздничные застолья, пряно пахнущие йодом крымские волны. Есть все, чего лишен брошенный у обочины в пустынном поле «икс», естественно просящий смерти. Но у Бога и ангелов Его своя справедливость. Летит обтекаемое такси, детище горьковского автозавода, горьковский буревестник смерти, чтоб, врезавшись в кузов самосвала, стать «кучей», «хуа», бесформенной древнеегипетской гробницей для Аркадия Лукьяновича.

Сам же Аркадий Лукьянович как личность в таком важнейшем событии своей биографии, как собственная смерть, не участвовал. Он был сейчас далеко от места своей гибели, спокойно и даже весело беседуя за самоваром с престарелым отцом своим Лукьяном Юрьевичем, пенсионером-бухгалтером. Здесь же сидела Клавдия, тоже пенсионер-бухгалтер, с которой отец жил последние двенадцать лет, после смерти матери Аркадия Лукьяновича. Нельзя сказать, что отношения между отцом и сыном были слишком хороши, но все-таки они не были прерваны, и Аркадий Лукьянович даже собирался поехать проведать отца на запад СССР, и поехал бы, если бы не данная поездка в Центральную Россию.

Они сидели за самоваром, и мягкий пасхальный апрель Украины, откуда выходцами была обрусевшая семья Сорокопутов, украинский апрель, в отличие от апреля среднерусского, полон был запахами цветущей вишни. Впрочем, цветущая вишня не пахнет, но она так красива, что все весеннее и пахнущее как бы отдает ей свои ароматы, как свет отдает свой блеск

самому по себе блеклому бриллианту. Аркадий Лукьянович, отец и Клавдия пили чай с цветочным медом и смеялись потому, что отец в который раз рассказывал, как, взбунтовавшись против политических взглядов Юрия Николаевича, четырнадцатилетним якобинцем удрал из Брюсселя в Женеву, где было много русской революционной молодежи и жила его двоюродная сестра. Как они голодали в Женеве, поскольку средства производства находились в руках буржуазии. И как питались хлебом с улитками, которые заменяли им мясо и которых они собирали с кустов и отмачивали в уксусе.

Было удобно сидеть, было вкусно пить чай с медом, была сердечная близость между отцом и сыном, и смерть казалась делом невообразимым, а бессмертие делом вполне реальным. То, что такси несется по скользкому шоссе и остаются доли секунды до вечной жизни или вечной пустоты в зависимости от убеждений, в той ситуации, за самоваром, казалось такой же нелепостью, как тут же, за столом, превратиться в соляной столб или дать общую формулу решения уравнений пятой степени, хоть уже более столетия известно, что это невозможно. Многие некомпетентные люди считают математику наукой сухого рассудка, а между тем она полна чудес и откровений, особенно для тех, кто доверил ей себя. И за доли секунды до скрежета, до удара такси встало как вкопанное.

Только высшие силы могли так нажать на тормоза. Унесся вперед гибельный кузов самосвала, растаял, исчез. Аркадий Лукьянович даже не проснулся.

«Я пошутил», — шепнул ему на ухо Ангел смерти, и Аркадий Лукьянович, не совсем поняв, о чем речь, улыбнулся в ответ.

Ангел смерти торопился, ибо далеко отсюда умирал пенсионер, бывший бухгалтер райпотребсоюза, уроженец города Брюсселя Лукьян Юрьевич Сорокопут.

Он лежал на старомодной никелированной кровати с шпешечками, а рядом сидела Клавдия, держа его невесомую руку. Пока он мог говорить, просил все время, а когда уж не мог, то просил глазами не отдавать его в больницу, куда еще вчера, когда стало худо, хотели забрать. Однако к вечеру стало совсем худо, и Клавдия, вопреки его просьбам, вызвала неотлож-

ную помощь, поскольку «скорая» уже приезжала и вряд ли приняла бы опять вызов. В городе болело и умирало достаточно молодых, а здесь был зажившийся глубокий старик.

С неотложкой приехали студентка-практикантка Ягодкина и пожилая медсестра.

— Зачем кислород тратить? — сказала Ягодкина. — Он в беспомощности и сейчас умрет, а кислород только увеличит страдание старика и нам прибавит работы.

Но медсестра сказала:

— Сердце еще живет. Пусть и человек поживет хотя бы двадцать минут.

И вложила в белые губы живительную резину.

Если б она знала, как радостно встрепенулся Лукьян Юрьевич, как жаждал он прибавить к своей долгой жизни эти дарованные горьким двадцать минут. Как наполнилась его душа живой радостью бытия и слух его, который заменял ему теперь все органы чувств, через барабанную перепонку, через слуховые косточки, через волокна, напоминающие струны рояля, услышал первый для себя, далекий, неземной тон «до». Тот же самый тон начал звучать внутри его, и он откликался на каждую струну, на каждый звук определенной высоты. Так музыкальными аккордами душа начинает разговор с Богом о своем скором взлете.

Ну а что же делать тем, кто сторонник учения материалистического, отвергающего душу? Ведь еще в 1863 году была напечатана в петербургском журнале статья Сеченова «Рефлексы головного мозга», в которой высмеивалась попытка, как сказано, «философов-идеалистов и церковников, серьезным образом обсуждавших вопрос о том, где в организме находится вместилище души. Души как чего-то нематериального, не подчиняются законам природы».

Вспомним, что все это профессор Сеченов доказывал на базаровской лягушке, которая является чем-то средним между обезьяной и лопухом. Лягушка так же прыгуча, как обезьяна, и так же зелена, как лопух, даже напоминает его, когда подбрав лапки, сидит неподвижно. Гуманисты же, естествоиспытатели, так обожествили человека, что страдания братьев меньших во имя человека казались им и кажутся их потомкам ныне делом вполне нормальным. Впрочем, некоторые естест-

воиспытатели пошли и дальше, выводя новую усовершенствованную расу и ставя опыты на «унтерменшах».

Учитывая все сказанное, мы не можем, конечно, объявить себя последователями Базарова и Сеченова, но и с наивными идеалистами нам тоже не по пути. Мы не можем признать в изуверах разного калибра, разных верований и разного происхождения присутствие Божественной души только потому, что они имеют человекообразный облик. Если опираться на тот же промежуток бытия между обезьяной и лопухом, то можно сказать, что есть немало человекообразных, которых душа покидает еще при жизни, и они существуют условными рефлексами. Мертвые уши их не слышат игры на Божьем рояле, и потому жизнь их физиологична, а смерть бесплодна. Последний их выход пуст, как холодный ветер из погасшего очага. Что же касается души, то она, конечно, более всего связана с органами дыхания. Недаром в русском языке слова «дыхание» и «душа» созвучны, а удар в «солнечное сплетение», под диафрагму, парализующий дыхание, называется в народе «под дых».

По трахее, по дыхательному пути уходила душа из тела Лукьяна Юрьевича, унося с собой из плещущих, как рыба на песке, легких последние остатки воздуха.

А Ангел смерти сидел на жердочке рядом с канарейкой, нахохлившись, как попугай. Едва душа покинула тело, как Ангел опустил хохол свой, вспорхнул и зажал крылом твердые губы мертвеца, положив на них печать. Они еще раз по инерции дернулись, пытаясь произнести хотя бы еще одно слово. Но нет слова в конце, слово было в начале. Пропела зауспокойную канарейка, разбудив усталую Клавдию, над которой смилостивился сон, чтоб она не видела судорог близкого человека. А практикантка Ягодкина, ворча и поглядывая на часы, начала собираться, ибо были и другие вызовы. Пожилая медсестра унесла с собой жадно выпитую до дна кислородную подушку.

Так окончился Лукьян Юрьевич, и его похоронили на пасхальном, расцветшем живыми цветами кладбище, тогда как северное среднерусское кладбище цветет на Пасху цветами бумажными из-за холодов.

Телеграмму о смерти отца Аркадий Лукьянович получил с опозданием на полтора месяца, поскольку умная жена его пе-

редала печальную весть только когда он начал поправляться от двустороннего воспаления легких, а с ноги уже был снят гипс.

Аркадий Лукьянович прочел старую телеграмму и положил ее поверх одеяла. Ему казалось, что телеграмма с каждой минутой становится все тяжелей, давит на грудь, будто могильный камень. Мучительно хотелось плакать, но слез не было, и это напоминало сильную жажду. Казалось, что даже его глазные яблоки высохли от отсутствия слезной жидкости, потрескались, как земля в засуху.

«Глаз — вот что нас соблазняет,— думал Аркадий Лукьянович в отчаянии,— глазное яблоко, как яблоко в Эдеме. Глаз — источник нашего материального миража, и нам хочется все увиденное вокруг попробовать, съесть, включая и собственное глазное яблоко, о чем нашептывает капризной женственной натуре нашей хитрый змий — гамлетизированный разум наш. Ибо гамлетизм как пиршество разума, как стремление любой ценой доставить удовольствие разуму своему есть современная форма эпикурейства. Впрочем, и эпикурейство не исчезло, но в сочетании с гамлетизмом оно стало еще более безнравственным, ища оправдание крайнему эгоизму своему не в теле уже, а в духе».

Перед Аркадием Лукьяновичем на тумбочке лежала стопка свежих газет, в которых был опубликован список свежеспеченных лауреатов Государственной премии. И среди них Сорокопут Аркадий Лукьянович. Конечно же, в составе коллектива. Какая же нынче может быть индивидуальная наука, в век господства технологии над замыслом? А замысел невозможен без чувства цели. Аркадий Лукьянович знал, что отец его обладал во много раз большими математическими способностями, чем он, однако неблагоприятные обстоятельства вынудили его выбрать в математике самую скромную должность провинциального бухгалтера. Впрочем, может, и здесь сказало ощущение цели.

Может, именно бухгалтерия сегодня важнее всего в неучтенной фараоновой стране, и любой патриот должен осознать, что нельзя решать уравнение высших степеней, пока не решено типовое уравнение первой степени из папируса египтянина Ахмеса: «Куча, ее седьмая часть и еще одна куча» со-

ставляют вместе определенную заданную сумму. Сколько составляет «куча»? Семь — это понятно. Это библейская цифра плодородия. Две «кучи» — это прошлое и нынешнее России. Ибо мы умудрились свалить в «кучи» не только настоящее, но и прошлое своей страны. А из чего состоит сумма, подсказывает нам математика древней Индии. Европа тогда корчилась в истерии крестовых походов, а в Индии расцвела культура, расцвела математика и было создано ясное представление об иррациональном числе. Индусы называли его — «долги», тогда как положительное число называлось «имущество». Но как отделить «долги» от «имущества», отрицательные числа от положительных, если все это также свалено в «кучи», если наша страна — это неучтенная «куча», где все перемешано и перепутано, и доброе и дурное?

Даже самые великие идеи, если б они возникли, утонут в «куче», завязнут в древнеегипетском фараоновом «иксе» и только принесут вред, соединившись в горючую смесь с прошлыми идеями и прошлыми костями. Нет, стране не нужны новые идеи, ей нужны хорошие бухгалтеры и лирические поэты. Ибо лирика не вносит ничего нового в мир человека, а приводит в порядок и одухотворяет существующее.

Если прогресс в обозримом будущем вполне может обойтись умелыми технологами, то порядок невозможен без чувства цели. И чем дальше будет идти время, тем сильнее будет ощущать страна, государство недостаток в тех людях, которых она сама же обидела и затравила. Ибо опасен бесцельный технологический прогресс. Но растет пропасть между технологией и целью, растут взаимное непонимание, обида и озлобление.

Аркадию Лукьяновичу вспомнилась притча, которую рассказывал ему отец. Это была старая малороссийская фольклорная притча. Впрочем, он слышал эту притчу и в других вариантах, но в отцовском ему нравилось не столько общеизвестное содержание, сколько ее наивная лубочная расцветка.

В одном богатом селе появился знахарь, над которым потешались и которого травили, так как считали его колдуном, по нынешней терминологии — метафизиком. В конце концов то ли знахаря изгнали, то ли он сам покинул село, устав

от оскорблений. Ясно лишь, что знахарь стал жить в лесу, среди диких зверей, диких деревьев и диких трав. Но однажды к знахарю в лес прибежали люди в струпьях и ранах, с плачем прося вернуться в село, которое поразила страшная болезнь. Знахарь вернулся и обнаружил вокруг себя здоровенные хохочущие рыла. Люди же в струпьях оказались нанятыми комедиантами. Тихо, не сказав ни слова, ушел из села знахарь, сопровождаемый насмешками, шутками и грушами-гнилушками, которые весьма метко швыряли ему в сторбленную спину и большие, и малые. Немного времени прошло, опять прибежали люди с еще худшими струпьями, с еще более ужасными ранами и с мольбой о помощи, поскольку на сей раз черная болезнь — чума — действительно явилась губить село.

Однако на мольбы людские о помощи знахарь ответил: «Другый раз нэ пидманэш» — «Второй раз не обманешь».

Не говорят ли нам то же самое тени замученных, отлученных, оскорбленных врачей наших?

Но мы не слышим, уши наши мертвы, и живем мы не душой, а рефлексамии головного мозга, двигаясь от обезьяны к лопуху, даже если лопух этот приобретает формы пышных государственных похорон-празднеств вокруг того, кто еще при жизни обратился в прах. Так что правильной было бы общаться: «Гроб с телом праха...»

Тому, кому при жизни воздаются мирские, фараоновы почести, не воздается почестъ Божья. Сердце его лопається, как механическая пружина дешевого будильника-жестянки. И вовек не услышать ему Божьего «до», вовек не зазвучать в нем струне в ответ на Божий резонанс. Однако иногда, в момент сильной душевной боли, это может произойти даже с отступником. Ибо сильная душевная боль как-то отдаленно воссоздает еще при жизни тела момент его смерти.

Это может произойти с тем, кто, будучи нечист, жаждет очищения, как пересохшая гортань среди жара раскаленного песка жаждет глотка воды.

И едва Аркадий Лукьянович услышал Божий звук, как слезы сами хлынули, наподобие долгожданного ливня, вымоленного крестным ходом.

В ту же минуту на вечернюю Москву, на ее крыши и мостовые обрушился теплый праздничный ливень, отлакировав тусклый город и разбрызгав по черному зеркальному блеску золотые капли.

Жена вошла в комнату, чтоб закрыть окно, оттуда повеяло влажным ветром, однако Аркадий Лукьянович глазами показал ей: «Не надо». Он хотел весь вечер остаться немым, соблюдать обет молчания, чтоб однозначным словом не нарушать Небесной светомузыки, в которой Божий рояль звучал в сопровождении плеска дождя и света городских огней.

Такова жизнь Аркадия Лукьяновича Сорокопута, человека бездетного, а значит, завершающего целую ветвь на древе российской интеллигенции. Жизнь, увиденная в период если не переломный, то по крайней мере неопределенный.

Нам бы, однако, хотелось предупредить упрек Аркадию Лукьяновичу в рассудочности его мыслей и холоде его чувств. На это следует сказать, что холод и тепло есть явления равноправные и равнорасположенные от нуля— Абсолюта.

Всякому времени в природе ли, в культуре ли соответствует своя температура. Конечно, одним нравится зима, другим лето, одним горячая плоть розовощеких простушек, другим вялый темперамент бледных аристократок.

Речь, однако, не о личных пристрастиях. Когда холод окружающей среды заставляет жизнь притихнуть или даже замереть, она защищает себя понижением температуры. Так бледный символизм приходит на смену розовощекому реализму, а способ выжить становится явлением культуры.

Поговаривают, и поговаривают всерьез, о возможности замораживания тел неизлечимо больных до лучших времен, используя мнимую смерть против смерти подлинной.

Не замораживает ли и символизм серебряным холодом своим культуру до лучших времен, когда под новым Солнцем вновь расцветет розовощекое Возрождение? Важно лишь, чтоб на серебре была полноценная, а не фальшивая проба. Ведь культура не только рождается жизнью, но и рождает жизнь, не только переносит образ из жизни в искусство, но и, наоборот, — из искусства в жизнь.

Учитывая все это, простим Аркадию Лукьяновичу Сорокопуту и кокетливые мысли его жаждущего разума, и холодные слезы его иссушенных горем горячих глаз. Измятый «кучей», он пытается хоть бы восстановить форму в надежде, что когда-нибудь содержание разморозит ее.

Откуда возьмется это тепло, пока не известно. Надо лишь помнить, что доброй рукой поданный стакан кипятка может временно заменить Солнце.

Ноябрь 1982 года
Западный Берлин

1

«Телесная любовь, — писал без помарок Человек, — есть чувство, чуждое библейско-христианской морали. Вот почему наши отношения с женщиной, пока они живы, — язычески чувственны, воспалены, нездоровы на фоне современной идейной, бестелесной жизни. Для такого чувства нужны сырые леса, высокие горы, окружающие моря и притягивающие морские испарения, нужна степь, обильно политая чистыми дождями и реками. Нужен влажный и свободный мир европейского язычества. А библейско-христианская мораль родилась в местах сухих, обделенных влагой, и, так много сделав для души, она так мало дала телу, по сути признав в нем врага своего. Бесконечно далекий прапредок человека был водным, морским существом, и в утробе матери человек живет в водной среде. Здесь же, на земле, ему не хватает влаги. Конфликт Шекспира, конфликт Ромео и Джульетты, разве это не конфликт воздушной и водной среды? Разве это не конфликт воздушной христианской духовности и водной языческой телесности? Телесная любовь — это высшее, крайнее проявление телесности, постоянно задыхается, дышит ребристыми боками, судорожно выставив язык, и чем дальше мы уходим от Влажной Бездны Начала, тем больше мертвых чувств, самообмана, бессилия перед тайнами, которые в языческом прошлом были понятны каждому подростку».

Человек писал так, сидя на кухне у раздвижного шаткого кухонного столика. На столике стояли два стакана недопитого чая, почти уже остывшего, и суповая тарелка, в которую было

насыпано овсяное печенье. Единственным украшением стола была синяя сахарница китайского фарфора из давно исчезнувшего сервиза. Капля чая у сахарницы и муха, с наслаждением окунающая хоботок в эту сладкую каплю, дополняли общую картину мучительного чаепития, которое Человек спешил запечатлеть. Каплю с ложечки уронила женщина, с которой Человек провел восемь взаимно несчастливых лет. Расстались они с полгода назад и виделись после этого всего три раза. Два раза по делу и один раз случайно, просто на улице, где бывшая жена шла с каким-то черноусым человеком, гораздо ее моложе.

Теперь, когда окончилось сражение и дым, окутывавший их семейную жизнь, разошелся в обе стороны, наподобие театрального занавеса, трудно было понять, кто победил, а кто бежал со сцены. Ибо всякая семейная жизнь происходит за закрытым занавесом. На авансцену действующие лица выходят только кланяться, то есть в чужие гостиные, на собственные именины или юбилеи, в места официальные и общественные. Когда же, по окончании семейной драмы, занавес раздвигается — сцена пуста, и вовсе уж ничего нельзя понять.

Восьмилетняя война нашего Человека со своей женой, разыгранная за опущенным занавесом по всем правилам военной науки, с активной обороной, контратаками, временными перемириями, будящими надежды на долгий счастливый мир, и новыми ожесточенными боями, обессилила обоих.

Впрочем, война есть прежде всего изнурительный труд, и профессиональные болезни в полной мере были приобретены Человеком. Деятельность его внутренних органов была крайне нарушена. Желудок, пищевод, сердце... Да, сердце, бедное сердце... Ведь простой переход от лежачего положения в сидячее или от сидячего в стоячее тотчас вызывает изменение работы сердца. Что же говорить о физической работе, сопровождаемой поднятием тяжестей, или о пищеварении после жирного алкогольного обеда, или о чрезмерном волнении... Волнения, когда долгой зимней ночью, свинцовой ночью замирают все звуки жизни, кроме двух сверлящих голосов, своего и супружеского, и сердце подкатывает к горлу, как непереваренная пища, так что хочется его вырвать на пол... Или бежать, бежать в одних трусах босиком по прохладному лунному снегу, бежать прочь, бездум-

но, безоглядно, туда, где так приятно кружит ночная поэмка, убаюкивающе лают собаки и тридцатиградусный мороз ласкает воспаленное лицо. Но бежать нельзя. Красные губы шевелятся, и надо вникнуть в их обличения, в их аргументы, призвать на помощь логику, разум, свое преимущество в культуре и одним словом, одним контраргументом сразить и уничтожить...

Теперь, с многолетним опозданием, он понимает свою ошибку, неизбежную ошибку христианина-миссионера, пытавшегося проповедовать там, где нужна лишь лопата могильщика. Ибо сила аргументов дьявола в том, что они нечленораздельны, как вой дерущихся животных или пулеметная пальба. Наверно, этим упорным миссионерством можно объяснить самоубийство восьми прошедших лет, тучных плодоносных лет, которые даются мужчине, чтоб радостно проститься с молодостью. Этим миссионерством и жуткой догадливостью дьявола, умеющего вовремя передохнуть от своего труда, вкусно покормить, откровенно пошептать, ласково пощекотать и пропеть качествам-талантам Человека: «Осанна!» — теми же красными губами, которые недавно пели: «Анафема!»

Благословенны короткие шаловливые детские браки, когда легкомысленные догадливые ребята проявляют друг к другу милость Божию. Страшны многолетние — десятилетние, двадцатилетние дьявольские оковы, особенно когда в тюрьме рождаются маленькие заложники, несущие в жизнь дьявольское семя.

Но, к счастью, наш Человек вынес из своего заточения лишь головные боли, колебания артериального давления, внутреннее напряжение, раздражительность, беспричинное беспокойство и повышенную утомляемость. Это было хорошо, однако, и этого было достаточно, чтоб в течение полугода, прошедшего после расторжения брака, чувствовать себя весьма дурно. Человек систематически страдал бессонницей, а если и засыпал, то видел странные сны, напоминающие галлюцинации, а то и просто кошмары. Дело дошло до того, что участковый врач, вызванный к Человеку по поводу пустякового гриппа, осмотрев его, категорически заявил: «Немедленно обратитесь к психиатру», — и выписал направление.

Но что такое обратиться к психиатру для человека, верящего в творческую силу своего разума? Это значит позволить

другому, чужому человеку насиловать себя, это значит покориться чужой воле. Такое возможно добровольно, лишь если испытываешь от этого чисто женское удовольствие. Вот почему среди клиентов врачей-психиатров женщин и женоподобных мужчин гораздо больше и они лечатся охотней.

Так жил Человек последние полгода после своего освобождения неприметным бело-серым днем восьмого января, о чем ему была выдана официальная справка в загсе. Падал мягкий снежок, дышалось легко, и ноги были упругими, хотелось разбежаться и взлететь, но затем поднялась метель и случилось необычное явление природы: среди январского неба по-майски сверкнула молния и покатился гром. Явление это было на следующий день описано и объяснено в газете «Вечерняя Москва». На высоте девяти тысяч метров возникло электрическое поле, вызвавшее грозовой разряд. Такое случается не чаще одного раза в пятнадцать лет... Всё ясно объяснили. Однако в ночной разноголосице Человек по-своему обдумал это явление среди прочего мелькания разноплановых лиц, идей и явлений. «Электрическое поле, — думал он, — раз в пятнадцать лет расцветает зимой. А вокруг электрические луга, электрические леса, электрические горы... Все это высоко, все это неземное...» «На воздушном океане, без руля и без ветрил», — пел почти до утра оперный бас, монотонно повторяясь, и в конце концов убаюкал.

Так жил Человек ночью. Днем же он жил в обществе и, согласно Марксу, конечно, не был свободен от общества, то есть предоставлял в его распоряжение свои способности и получал от него на данном этапе общественного развития не по потребностям, а по труду. Так жил Человек примерно полгода, пока необычно сухое лето, словно тяжелобольной, не отгорело в тридцатиградусной температуре.

Был конец августа, и жара достигла своего предела. Однажды, проснувшись на рассвете, Человек ощутил запах дыма и, думая, что забыл на кухне выключить чайник, бросился туда, сильно ударившись попутно коленом о дверной проем. Это был один из его постоянных страхов — на кухне пожар. На кухне пахло дымом, но не более, чем в комнате. Газовая плита стояла безопасно мертво. Остывший чайник был на кухонном столе. Тогда он рванул входную дверь, думая, что пожар на лестнич-

ной площадке. Там тоже был дым, но без огня, и царил рассветный покой, не свойственный несчастным случаям. Тогда он выбежал на балкон и увидел голубоватый дымный туман среди сморщенной листвы, сожженной жестоким летом. Он ничего не успел подумать по этому поводу, ибо тут же раздался телефонный звонок, эта золота арфа современной квартиры, отражающая звуки жизни, эта свирель, в переливах которой неразгаданная, мистическая тайна, пугающая и манящая до того момента, как сорвана с рычажков трубка и какой-нибудь скучный голос начинает вещать позорную правду твоего бытия. Но голос, обратившийся к Человеку в это раннее утро, словно поднялся из глубин страшной экзотики прошлого, и дымный запах серы, окутавшей местность вокруг, был явно неспроста. Он сразу узнал этот тембр с хрипотцой, и его одолел с особой силой страх нового ареста, знакомый многим людям, прошедшим годы в заключении, страх при полном сознании, что он в безопасности и никакого повода, никакой возможности для ареста нет. Страх, хоть голос звучал забыто-спокойно, не нервно и содержал не приказ, не борьбу, а просьбу.

Надо попутно заметить, что, как ни велики были последствия восьмилетнего прошлого, полгода свободы постепенно давали свои плоды. Человек начал спать спокойней, правда, как правило, засыпал он под утро, но зато, провалившись в спасительную тьму без снов, словно временно умирал и воскресал сравнительно отдохнувшим за эти два-три часа сна-смерти. Многие дали ему и прогулки в пригородных лесах, драгоценное одиночество, которое весьма спасительно, если уметь им пользоваться. А также книги, особенно пессимистического содержания. Но не в духе Ф. Соллогуба: «О смерть, я твой! Повсюду вижу одну тебя — и ненавижу очарования земли», — где в пессимизме чувствуется вызов и скандал с Богом в духе Достоевского. Нет, скорее светлый пессимизм Пушкина: «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана? Иль зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена...»

В этих строках чувствовались примирение и вопрос, который может задать земным мучениям только победоносная душа. И прочтя: «Цели нет передо мною, сердце пусто, празден ум. И томит меня тоскою однозвучный жизни шум», — Человек, ус-

покоенный, закрывал пушкинский томик, понимая, что раз существуют эти чудесные песнопения, значит, цель есть, хоть она мудро скрыта не только от обычных людей, но и от пророков.

Итак, отдышавшись за полгода, он особенно боялся потерять приобретенное, но голос, который ранее склонен был к злему эпосу, теперь говорил бытовую шелуху, словно из заурядной пьески о прощании-расставании. Действительно, теперь голос был членоразделен и сообщал, что собирается на днях уезжать не только из Москвы, но вообще из страны навсегда с новым мужем еврейского происхождения и поскольку «все-таки восемь лет, то хотелось бы проститься... Времени мало, сам понимаешь. Могла бы сейчас взять такси на часок подъехать...»

— У меня здесь дым, — сказал он ей почему-то.

— Дым? — переспросила она. — Ах, дым... Ничего страшного, это горят леса Подмосковья. Грандиозные пожары, ведь два месяца не было дождя. Здесь, в центре, на улице Горького, тоже дым... Горит земля под ногами. — Она хохотнула.

Так они вновь, спустя полгода, очутились друг против друга за стаканами чая на кухне, где столько прежде велось мирных переговоров. Как правило, на кухне противоборства не было. На кухне за этим столом заключались перемирия, готовились мирные вкусные обеды и велся фальшивый ребячий разговор, игриво-ребячье обращение. чириканье: «Чипик-Чипочка!» — то, чем язык дипломата отличается от языка полководца, от искреннего животного воя: «Я тебя ненавижу!»

Бывшая жена красила теперь глаза, сделала себе модную прическу, от нее пахло духами, правда дурного качества и слишком вульгарно, но она опять лицедействовала, а значит, жила по-женски радостно. Ибо артистичность — свойство женщины. Женственность — это стремление скрыть себя, быть другой, другим человеком, на себя не похожим, и кажется, что женщина потому так стремится к игре, к гриму, к косметике, что знает о себе такое, от чего ей самой страшно. Мужчина может быть глуп, отвратителен, лжив, но все это его личные свойства, ни с чем общим не связанные. Дурные же качества женщины словно чем-то подытожены, словно объединены чем-то вне ее, и, может, в основе их — беспощадная прочность рода, равновесие жизни и смерти, требующее места для вновь

воспроизведенного из небытия. Поэтому женщина высокой культуры, женщина глубокообразованная гораздо меньше отделена от женщины примитивной или даже дикой, чем это наблюдается у мужчин. В решающий момент ей легче снять с себя тысячелетние наслоения культуры, если того требует подлинный Хозяин, зовущий ее из Бездны, цивилизация и культура были придуманы мужчинами для борьбы с Женщиной. Женщина, по сути, смертельный враг этой мужской выдумки, втиснувшей жизнь в узкие рамки Истории, имеющей начало и конец. Женщине гораздо лучше было в пещерах и первобытных лесах, где ей легче и лучше было выполнять свой подлинный долг перед Вечностью. Но Бог создал мир не для его вечного существования, и в этом подлинная трагедия женщины. Бессильная перед Богом, она борется с мужчиной, главным Божьим работником на земле. Как же борется женщина? Женщина заставляет душу, занятую трезвым серьезным созиданием, корчиться и трепетать. Она заражает душу лихорадкой, ибо, пока душа болеет, ей нет дела до истории и прогресса. Тогда в борьбе с любовью возникла семья, куда прочно заключена была женщина, тогда возникла ненависть между мужчиной и женщиной, и мужчина стал жертвой собственного изобретения. Встречаются и счастливые, то есть миролюбивые семьи, где нет перманентной вражды, но они существуют вопреки замыслу, как вопреки замыслу была бы тюрьма, в которой открыты двери и сняты решетки с окон.

«Где же выход, — думал Человек, сидя за кухонным столом и автоматически глотая чай из стакана, — может, выход в том, чтоб жениться только на нелюбимых женщинах, а любимых оставлять на воле... Да где эта воля? Вокруг сплошное железо... а жить хочется... Как коротка, как страшно коротка жизнь...»

Эта очевидная, азбучная мысль вдруг напугала его крайне и заставила очнуться от сна, в котором он пребывал с открытыми глазами, с раз или два надкусанным печеньем в руке и стаканом чая, уже выпитым им до половины.

Проснувшись, он услышал, как бывшая его жена тоже пьет чай, жует печенье и говорит какие-то слова, среди которых преобладают ей несвойственные «если ты находишь» или «если ты так думаешь».

Тогда он впервые за сорок-пятьдесят минут нынешнего последнего чаепития вдруг глянул на нее, и сердце его затрепетало от непонятной тоски. Отчего же оно трепетало? Не хотел же он в самом деле, чтобы она осталась и продолжился ад. Отчего же, когда бывшая жена глянула на часики и сказала: «Я тебе все простила, прости и ты мне, если имеешь обиды», — у него лились слезы? Впрочем, это случалось и раньше во время перемирий.

Они поцеловались, и опять сердечный трепет, еще более острый, отдающий болью в затылке. С этой застывшей болью он спустился вниз проводить ее. Было воскресное тихое утро. Дом спал. Спали жильцы, спали соседи, спали свидетели.

Говорят, чужая душа — потемки. Не в меньшей степени можно сказать: чужая семья — потемки. Лишь карманные фонарики жильцов-соседей-свидетелей иногда проникают в крошечную тьму чужой семейной жизни, но выхватывают при этом случайные детали. Да и судьи кто? В их ли интересах раскрытие общей тайны, отличающейся в каждом случае лишь деталями? Наружу детали, напоказ их. В фельетоны, в морально-душещипательные телепередачи, в гражданские суды. И пусть под защитой лжесвидетелей хранит тайну то, что не сказано о вечной борьбе мужчины и женщины. То, что не сказано, — это основа всякой настоящей поэзии, в том числе черной поэзии Бездны.

Обычное московское такси, вызванное по телефону, уже ждало внизу. Ночная прохлада не успела остудить воздух, и стены дома были теплыми. Человек еще раз поцеловал бывшую жену, но не в губы, как прощаются взрослые, а в щеку, по-детски. Она села, и такси поехало по дуге, огибая дом. На повороте, перед тем как такси скрылось за углом, бывшая жена открыла дверцу и крикнула что-то, чего он не расслышал или не понял, но мелькнувшее лицо ее, казалось, хотело что-то сообщить ему или о чем-то предупредить, вопреки первоначальному замыслу. Еще мгновение, и лицо ее погасло для него навсегда. Минут двадцать ее будет видеть таксист, потом случайные люди, потом черноусый ее нынешний молодой муж. Однако никому из них она не скажет то, что предназначалось ему в последний момент.

Он постоял среди опустевшего двора, затем поднялся на лифте, вошел в квартиру и сел перед кухонным столиком. Недопитый ею чай еще хранил тепло, над ним еще поднимался пар, и муха наслаждалась каплей сладкого чая, которую бывшая жена уронила с чайной ложечки. Это были последние физические деяния бывшей жены в его жизни. Ее уже не было и никогда не будет, а ее деяния еще можно было созерцать. Она увезла с собой восемь лет его жизни, а оставила, как точку, как итог, эту крошечную чайную лужицу и муху, которую она поила. Человек взял в ладони стакан, из которого она пила. Он был едва теплым, уже остывал. Человек прижал стакан к сердцу и заплакал. Он понимал, что выглядит смешно и плачет нелепо. Сквозь слезы он называл себя глупцом, напоминал себе, что восемь погибших лет были постыдны и, только обладая трусливой совестью, можно было так жить, как он жил, и бездумно отдавать то, что следовало беречь для дел полезных. Отдавать этой темной голове, обладающей, тем не менее, способностью обращать любые факты в свою пользу способом, которым еще в древности пользовались шаманы, — однообразным, но разной тональности звуком голоса. Подумав так, он услышал звук своего голоса, не понравившийся ему, визгливый и, очевидно, напугавший муху. Оторвавшись от лакомой капли, муха начала кружить в кухонной духоте. Человек следил за ней, утирая слезы. «Я слышал или где-то читал, — думал он, — что домашняя наша муха существует в неизменном виде уже миллионы лет. Это совершенное искусство. Это не клоп, не вошь, не блоха, которые питаются нашей кровью. Нет, она подбирает крохи нашей пищи и если сыта, то проявляет брезгливость и никогда не садится на нечистоты. Как мы несправедливы к этому крылатому домашнему другу, без которого слишком стерильно и неуютно наше жилище».

Вот какой оборот приняли мысли Человека, физически ощутившего только что свою смерть, ибо мы никогда не умираем мгновенно, если смерть не катастрофична, не насильственна, а всегда умираем по частям, по периодам. И, идя за гробом со своими восемью покойными годами, он отдавал должное любому живому существу, оказавшемуся рядом и участвовавшему в похоронах.

«Мир праху твоему. Вечная память», — пропел он дурачась, поскольку среди тоски вдруг возникло желание подурачиться. Желание, тоску отнюдь не уменьшающее, но придающее ей более личный и конкретный смысл.

Где-то далеко, в самом центре Земли, кто-то тронул струны, и чудесная мелодия сопровождала плавный полет мухи. Потом чей-то голос сказал: «Утри слезы. Плач по умершему должен быть без слез».

«Я схожу с ума», — подумал Человек, сердце которого продолжала грызть и сосать тоска, уже в виде остромордого зверька, похожего на мохнатую ящерицу. Он слышал чавканье и причмокивание беззубого ротика, отрывающего живые куски не зубами, а мягкими челюстями, отчего становилось еще больней.

«Скорей на улицу, — подумал Человек, — надо позвонить Сане, пусть сведет меня с Аптовым».

Саня был его друг, Александр Валентинович Сапожковский, личность светская, шумная, «многоженец, находящийся в отставке», как он сам себя рекомендовал. Среди многочисленных знакомств Сани был известный психиатр Аптов, и уже состоялся разговор месяцев семь-восемь назад о необходимости свести Человека с этим психиатром частным путем. Но затем, после развода, наступило улучшение, нервы укрепились, сон стал спокойней, и Человек решил, что потребность в психиатре отпала. Это обрадовало его и еще более укрепило нервы, которые расшатывала дополнительно мысль о необходимости лечиться, может быть, даже в психиатрической клинике, то есть стать за рамки людей нервных (а кто в наше время не нервный?), однако допустимо нормальных, и, по сути, оказаться в неволе, уже не в переносном, а в прямом смысле.

Ведь были надежды, были желания жить не считаясь ни с чем, жить только для себя, отдаться своей любимой работе, своему радостному призванию, свободно ездить по земле, зная, что никто нигде тебя не ждет и все тебе открыто, жить с романтическими увлечениями, но без бытовых последствий.

И вот это дымное утро. Неспроста он проснулся от адского запаха серы... Эта капля чая на столе. И эта муха, которая кружила под звуки струнного квартета. Теперь он понял, что

кричала из такси бывшая жена перед тем, как погаснуть. Это не был ни добрый совет, ни искреннее пожелание. Опять его подвел дух современного гуманизма, мало общего имеющий со своим родоначальником из Ренессанса. Дух, ведущий не к укреплению, а к разрушению личности через раздачу себя хитрым нищим, через коллективизацию мировых ценностей, дух, обрекающий на поражение сильных и обрекающий на победу слабых, дух вырождения.

Темной, лесной головой своей жена Человека поняла тенденцию времени и использовала ее до конца. Ослабевшие нервы Человека были растянуты извилистыми линиями на ее штабной карте, и она, угадав слабое место, прорвала фронт. Она выиграла последний бой и тем выиграла восьмилетнюю битву. Угасая, она издала крик победителя, и муха кружила теперь вместо воронья над полем битвы, напившись не соленой крови, а сладкого чая.

«Нет, — подумал Человек, — торжествовать преждевременно. Я ранен, но не убит. Мои нервы разорваны, но я осознаю себя. Я мыслю, следовательно, я существую. Кто это сказал? Кант? Гегель? Белинский? Или, может, это сказал я, едва родившись и издав первый крик? Я мыслю, и у меня достаточно сил и влияния в этом мире, чтоб приказать струнному квартету замолкнуть. А без музыкального сопровождения полет мухи лишается какого-либо опасного для меня смысла».

Человек встал со стула, сжал кулаки, набрал побольше воздуха в легкие и, побагровев, крикнул: «Прекратить! Игру!»

И тотчас же мелодия оборвалась. Глубокая тишина воцарилась вокруг, и в тишине этой послышался мерный плеск воды. Он увидел чистую реку, текущую в Святой Палестине, куда его бывшая жена собиралась отправиться с черноусым. «Бедная Палестина, — подумал он, — бедная Палестина. Впрочем, до этой Палестины ей не добраться. Эта Палестина не только в пространстве, но и во времени. Какой это век? И началась ли уже наша эра? И какой это период? Период ли это ранних дождей, которые смачивают землю, делают ее пригодной для восприятия семян, для пахоты? Или это период обильных зимних дождей, пропитывающих землю, наполняющих водохранилища и водоемы, питающих источники? Или это период поздних дождей, ве-

сенних дождей, которые дают зерну налиться и помогают пшенице и ячменю вынести сухую жару в начале лета?»

Человек подошел к реке и опустил в нее кисти рук, ощутил на коже приятную прохладную ласку воды. И тотчас голос, ему знакомый, но неузнанный, тихим полупшепотом сказал:

— Не смотри на воду, потому что вода уходит и не возвращается, а смотри на солнце. Оно уходит и возвращается. Когда ты будешь уходить, поверни направо... Там колодец с тихой, как слеза, водой. Там сможешь ты отдохнуть...

Нет, судя по речитативу, это не Палестина, а Византия. Это четвертый век. Это гибель язычества. Это осквернение языческих храмов. Толпа монахов, вооруженных дубинками, врывается в святилища. Разбивают мраморные статуи, топчут языческое искусство. За ними христианская чернь, предтечи крестоносцев, жаждущая добычи, жгущая, грабящая деревни, подозреваемые в нечисти, в язычестве... Какие лесные лица, как проста и ясна их звериная злоба, совершенно лишенная злобы современной, неврастенической. И как мягок, как спокоен, как по-звериному благороден плач по убитым, плач без слез под языческими звездами.

«Не знаю, кто тебя научил по этой дороге идти и умереть. Но, когда придешь на место, собери мертвецов, и поговори, и скажи им, как мы живем здесь. А потом возвращайся, обедать приходи ко мне. А после обеда возьми меня с собой...»

Однако в дальних горных деревнях Малой Азии еще властвуют язычники, а христиане в меньшинстве и страхе... В одной такой языческой деревне жил красавец пастух, христианин...

«Как хорошо, — подумал Человек, — какая музыка». Ибо опять звучала музыка, но не назойливый струнный квартет, а мягкое целомудренное пение, не оскорбляющее мысль.

«Надо все записать... Все эти слова, все эти видения... Где бумага? Где же бумага?»

Он начал искать глазами бумагу. Она лежала на углу кухонного столика, частично уже исписанная родным клинообразным почерком. А он стоял у кухонной раковины, и вода из крана текла, журчала, ударяясь о немые ложки и тарелки.

Человек взял губку, намылил и начал по-холостячки мыть ложки и тарелки. Он вылил недопитый чай в раковину и по-

мыл стаканы. Ничто больше не играло и не звучало, стихли слова, и вместо увидённого в воздухе застыла лишь черная дыра. Человек почувствовал слабость в ногах и желание сесть, а еще лучше — лечь. Но он заставил себя домыть посуду, сложить ее горкой и лишь потом уселся на стул.

— На улицу, — сказал Человек, — на улицу... В иную стихию...

Человек надел соломенную шляпу и вышел на улицу. Было одиннадцать часов, старушечье утро. Великое множество старушек передвигалось в разных направлениях, главным образом за покупками продовольствия. В автобусе тоже были пассажиры-старушки, но не без пьяного. По крайней мере, одного пьяного всегда можно застать утром в городском транспорте. Пьяный боролся со своей лысой головой, однако, когда автобус встряхивало, окончательно терял над ней власть, и лысина билась о стекло, как муха.

— Кто сходит на антибиотиках? — спросил в микрофон водитель.

Человек сошел на «антибиотиках» и пошел домой пешком, поскольку окруженная забором медицинская организация, почему-то именуемая «антибиотики», располагалась недалеко. Он проехал всего две остановки, однако очень устал возвращаясь и, придя домой, сразу же уснул, уронив соломенную шляпу на пол.

2

Во сне шел дождь, было темно, грязно и сыро. Человек шел по какому-то незнакомому городу, возможно расположенному даже не в России. Он вышел на огромную площадь, заросшую травой, что-то вроде стадиона, но без трибун. Просто большая лужайка. И это как будто бойня. Лежат туши забитых быков, уже ободранные, но размеры их с доисторическое чудовище. Лежащие на боку горы мяса и костей, а вокруг них копошатся маленькие люди. Человек пошел быстрее, чтоб миновать неприятное зрелище. Он шел навестить школьного товарища, умершего еще в школьные годы. Вот дом, где находится этот товарищ. Человек вошел, поднялся по лестнице. Коридорная система, как в общежитии. Вот и комната, где живет

товарищ. Убрано просто, по-студенчески. Товарищ встречается и начинает разговор. Каждое слово в отдельности непонятно, но смысл ясен. Это касается причин его ранней смерти. «Если б не то да не это (что именно, непонятно), то я бы не умер». Товарищ расстраивается и начинает плакать. Человеку это неприятно, и он хочет уйти. Товарищ замечает это и просит его остаться, но не словами, а видом своим. Садится печально на стул в углу, опустив плечи, и плачет. Человек подходит к двери, открывает и в этот момент чувствует, как будто у запястья крепко взяла чья-то рука и не пускает. Никакой руки не видно, товарищ по-прежнему сидит в углу, но Человек чувствует, как запястье сильно жмут и не пускают выйти. Человек начинает борьбу, он силой преодолевает чье-то сопротивление и прорывается в коридор. Но и в коридоре держит невидимая рука и чувствуются чьи-то пальцы, которые жмут запястье. А за закрытыми дверьми плачет товарищ. Борясь с невидимой рукой, Человек уходит по коридору, и чем дальше уходит, тем тише плач и тем более слабеет сила, сжимающая запястье.

Проснувшись и вспомнив сон, Человек пришел в смущение и расстройство. «Какая буйная и мрачная фантазия, — подумал он, — все люди во сне сумасшедшие. Но сумасшедшие — это те, кто спят наяву. Нервы мои расстроены до предела, однако если у меня хватило сил вырвать у одиночества руку из мертвых пальцев, то неужели здесь, наяву, где столько друзей, у меня не хватит сил выздороветь или хотя бы заставить себя лечиться?»

И, встав с постели, Человек позвонил другу своему Сане, то есть Александру Валентиновичу Сапожковскому. Человек позвонил и тотчас же поехал, ибо Саня этого потребовал: «Немедленно... У меня общество... Будет и Аптов».

«Да, немедленно, — решил Человек, — ехать и лечиться. Прогнать болезненные сны, болезненные видения, болезненные воспоминания... Стоит миновать коридор, и уйдешь на незатейливую, крепко сколоченную землю. Жить, чтоб дышать. А вместо больших фантазий — скептические афоризмы».

Сапожковский жил и дышал за городом, на богатой даче, в богатом привилегированном подмосковном поселке, и Человек добрался туда только вечером. Проснулся он, оказывается, довольно поздно, да и дорога неблизкая. Сначала до вокзала на

городском транспорте, а затем от вокзала полчаса пригородной электричкой.

Колеса электрички выпевали мелодию: «Ах, Настасья, ах, Настасья, отвори-ка ворота». Лица пассажиров были Человеку скучны, и, наверно, его лицо было для других скучным предметом, который приходилось разглядывать. Вдруг кого-то ударили. С криком: «За что бьешь?!» — ушибленный упал.

— Вчера меня тоже ударили, — поделился какой-то, — принял удар на правое ухо, но устоял.

— За что? — продолжал кричать ушибленный.

«Какая тебе разница — за что, — с раздражением подумал Человек, — ответь ударом или убегай... Нет, Россия еще не преодолела родового сознания... Все мы родственники... Деремся и беседуем...»

Человек, как и всякий нервнобольной, быстро раздражался и принимал позу философа и мыслителя, которая могла бы стать спасительной для него, если б зрелища российского быта не расцветали в его сознании тропически пестро.

Россия, по крайней мере сердцевиной своей, расположена в средней полосе. Ее краски умиротворяющи, природа классична, образы ее пейзажа воспринимаются не как процесс, наподобие гор или плещущегося моря, а как готовое и ясное. Спокойно текут реки, спокойно шумят леса. Ужасы российской истории и тяготы российского быта были бы непереносимы в Испании или Италии, где все сочно и преувеличено. Недаром же стоит русскому сойти с ума, как он становится испанцем, наподобие гоголевского Поприщина. Однако же испанцем без Испании, где крайности радости и страдания имеют свою национальную психологическую основу.

И человек наш, наш «воздушный испанец», выйдя на темную дачную платформу, первым делом посмотрел не на тропку вдоль лесопосадки, идя по которой можно было достичь дачной улицы с богатыми поместьями. Первым делом он посмотрел на луну, встретившую его тотчас же. И подумал, что луна похожа на дыру в черном небе. И стоит очистить эту черноту, как над землей засияет золотое небо, кусок которого видно в эту дыру. Тем не менее, хоть взор и мысли его были прикованы к этому испанскому видению, ноги его пошли по

слабо освещенной российской земле, поминутно ударяясь туфлями о ее камни. Так дошел Человек до шлагбаума, повернул направо и очутился между крепких заборов, опутанных во многих местах колючей проволокой, которым совместно с собаками было что охранять.

Привилегированный поселок этот, особенно после муравьиной Москвы, выглядел мертвым. Население его было немногочисленно и обычно держало своих гостей внутри поместий, где за заборами было достаточно пространства, чтоб прогуливаться, а в некоторых дворах попросту были настоящие участки частного леса с высокими деревьями, под которыми, если позволяла погода, стояли хлебосольные столы. Ибо среди богатых были и широкие хлебосольные души, к числу которых относился Сапожковский. И он кормил и поил людей, имени которых часто не помнил или даже не знал, поскольку один знакомый гость приводил гурьбу незнакомых и хозяину и друг другу. Все они напивались, наедались, наглели, говорили хозяину и друг другу «ты». Иногда возникали маленькие скандалчики, дамы визгливо смеялись или плакали, но к утру, к первой электричке, все затихало. Человек не любил эти компании и редко бывал в них, тем более что два-три особенно буйных ночных скандала бывшая его жена закатывала именно после совместных посещений Сапожковского. Несмотря на внешне эпический размах, скандалы эти были мелкие, лживые, с монотонно повторяемыми в разной тональности обвинениями, и вспоминать о них было стыдно. Но и в течение полугода вольной жизни Человек бывал здесь раза два, а возвращаясь, всякий раз был себе противен, вспоминая, как он жадно ел и какие разговоры вел. К тому же дача располагалась в зеленом тупичке, каких здесь было множество, и он всегда путался, стучал не в те ворота, ему не отворяли, он злился, и когда наконец находил, то был раздражен.

Ныне, во тьме, он вообще не был уверен, найдет ли дачу. Он шел в полном одиночестве, и собаки из-за заборов тотчас открыли по нему пальбу в зависимости от природы, пушечную — басом, пулеметную — тенором. Заборы вились, тянулись, угрожали колючей проволокой, устроенной по тому же принципу, что и злые собачьи клыки. Собачий лай раздражал, вызывал апатию, тоску, и страшно хотелось вернуться назад,

домой, лечь на родную постель, задуматься в ночной тишине. «Куда я иду, зачем я иду? — причитал в душе Человек. — Как ужасно, как враждебно все вокруг».

Он пытался отыскать луну, обещающую золотое небо над землей, но не мог найти. Она пряталась где-то за деревьями или за тучами. Чтоб быстрее все это миновать, Человек побежал, пытаясь не смотреть на заборы, производя в тишине шум, который его самого дополнительно пугал. Собаки же били по нему теперь остервенелыми залпами. Если не весь поселок, то, по крайней мере, улица, по которой бежал Человек, была возбуждена. Понимались шаги, голоса, команды собакам, перекличка.

Многие из живущих здесь не любили друг друга, но их сплачивала недвижимая собственность, и они всегда были готовы к совместной обороне. У некоторых были охотничьи ружья, зверского вида ножи и кортики, которые, впрочем, более служили декоративным целям. А один мужик-помещик, побывав в составе официальной делегации за границей и зная, что он недоступен таможене, купил в оружейном магазине вороненый красавец кольт, который хранил в ящике письменного стола, запертым от сына, что не мешало ему самому, оставшись наедине, доставать револьвер и забавляться им. Сейчас, услышав опасный шум за забором, он вынул револьвер, но из кабинета не вышел, собираясь в крайнем случае пугнуть злоумышленника выстрелом в открытую форточку.

Виновник же шума, наш Человек, наш «воздушный испанец», метнулся к какому-то забору и застыл, вглядываясь в силуэты с фонарями. Остановившись, Человек несколько успокоился, да к тому ж в одном из силуэтов он, к счастью, узнал толстяка-гурмана Сапожковского с охотничьим ружьем. Рядом с ним вышагивал какой-то поджарый, сухой с палкой.

— Ты, — обрадовался Сапожковский, увидав Человека, — я думал, уже не приедешь. Видишь, что у нас здесь творится. До прошлого года покой и тишина царили, пока управление железной дороги за рекой в бывшем санатории свое общежитие не устроило для путевых рабочих. В прошлом месяце дачу Цвигель-зона-Лукина обокрали, Цвигельзон-Лукин с семьей в Ялте был.

— Ну что, Александр Валентинович, — окликнул Сапожковского какой-то силуэт в кожанке и резиновых сапогах, дер-

жащий на поводке огромную овчарку, рвущуюся и облаивающую Человека.

— Наверно, к оврагу побежали, — сказал Сапожковский, — подонки, — выругался он, добавив еще несколько ругательств, на которые мастер наш интеллигент и которых путевые рабочие ни придумать, ни произнести не умеют.

После чего Сапожковский с владельцем собаки подробно начали обсуждать, куда, в какие инстанции следует писать и почему до сих пор борьба богатого поселка с управлением железной дороги не увенчалась успехом.

— Писать надо Пшеничному, — говорил Сапожковский, — Ковбасюк ничего не решает.

Обсуждение этих социальных проблем, при котором Человек присутствовал, а следовательно, принимал участие, его окончательно успокоило, и он как бы забыл, что вся тревога была поднята именно им, испугавшимся темных заборов с ключей проволокой, возбудившим собак, а затем и их хозяев. Никто из хозяев собак и их гостей не догадывался о его подлинной роли в тревоге. Никто, кроме...

Между нервнобольным и психиатром всегда существует незримая связь. Каждый психиатр в какой-то степени нервнобольной, а каждый нервнобольной в какой-то степени психиатр. Человек сразу угадал Аптова, а Аптов клиента, о котором ему говорил Сапожковский. Они разговорились без слов еще до того, как Сапожковский представил их друг другу. Внешний вид Человека не вызывал сомнения у опытного психиатра и указывал на симптомы его болезни. А надо ли нашему «воздушному испанцу» представлять Аптова? Прежде всего трость... В руках он держал не палку, как ошибочно показалось в темноте, а трость: старинную, необычную в современном обиходе, с серебряным набалдашником-головой. И голова Аптова удивительно напоминала набалдашник, который, возможно, был подобран, а то и заказан не без умысла. Серебристо-седой короткий волос вокруг масляно-желтой полированной лысины, серебристая бородка полумесяцем, сухой с горбинкой короткий носик...

— Вот, Леон, — сказал Сапожковский Аптову уже за столом, — это мой друг, жертва семейного империализма. Ему надо помочь.

— Поможем, — сказал Аптов, и уверенный тон успокоил и обнадежил.

«По сути, я уже приступил к лечению, — подумал Человек, — перемена обстановки... И медицина... В Аптове есть, конечно, что-то для меня тревожное, что-то еще пока непонятное... Но, наверно, это просто реакция, просто волнение больного человека при встрече с врачом, который вынужден проводить определенные манипуляции с моим телом, которому даже разрешено мучить мое тело, а также ставить диагноз, то есть выносить приговор».

Вокруг, как всегда, было немало знакомых, уже несколько раз виданных лиц, имя и профессия которых, однако, оставались неизвестными. Хлебосольный, добрый Сапожковский все подкладывал на стол дорогие дефицитные закуски, выставлял нерусские бутылки с импортными этикетками и русские с этикетками на импорт. О, это русское имперское застолье! Царица — водка «Московская» и челядь ее — украинское сало, болгарский перец, венгерская колбаса, польская ветчина, грузинская зелень, узбекские томаты, эстонская рыба и прочие дары союзных республик, союзных государств, международного социалистического сообщества.

— Граждане и гражданки, — говорил Сапожковский, стараясь заглушить трудолюбивое сопение и жадное чавканье, — может быть, ради этого стола стоит все-таки сохранить нашу родную империю. Конечно, без ее печальных крайностей. Империю с человеческим лицом. — Он уже выпил и собирался говорить много. — Если каждый из нас выносил, а некоторые продолжают выносить тяготы семейного империализма, то империализм политический не так уж страшен и предоставляет нам, по крайней мере, гораздо больше возможностей. Его стены не так узки, его гнет не так монотонен, его замыслы не так коварны и беспощадны. Вот здесь, кстати, за столом сидит наш общий друг, недавно освободившийся. — Сапожковский рассмеялся, тяжело дыша водкой, бужениной и какой-то грузинской приправой прямо в лицо Человеку, к которому дружески наклонился. — Друзья, — продолжил Сапожковский, — я так обращаюсь к вам, ибо сейчас скажу мысль, которую можно произнести только в тесном кругу близких людей, настолько

она еретична. Но почему бы иногда не выслушать еретика с большим личным опытом? Вот эта мысль, эта истина: хочешь нажать в женщине врага — женись на ней. Конечно, есть немало отвратительных мужчин. Но от отвратительного мужчины гораздо легче освободиться, чем от отвратительной женщины. Большинство больных семей держится женщинами, сохраняется женщинами, боящимися потерять семью, как боится потерять партию профессиональный революционер... Я понимаю, что наживу подобной мыслью слишком много врагов. Наш мир — это мир государства и семьи, мир закона и брака. Мне не простят подобных обличений, а особенно те, кто тайно со мной согласен, особенно те, кто понял, что они всю жизнь пролежали не на тех женщинах...

Аптов что-то говорил на ухо Сапожковскому, но Сапожковский отстранил его широко, ибо, как многие добрые русские люди, в опьянении становился буен.

— Пойдемте, — шепнул Человеку Аптов, — здесь слишком скандально для ваших нервов.

«У Сапожковского и моей бывшей жены, — подумал Человек, — есть общая черта. Выстраданную истину или то, что кажется им истиной, оба умеют потребительски использовать в своих бытовых целях. Это все равно как если бы искренне уверовавший и выстрадавший веру в Бога использовал эту веру для удачной покупки дачи или ловких денежных операций».

— Пойдемте, — сказал Аптов, — я вас осмотрю.

— Сейчас? — удивился и испугался Человек.

— Да, сейчас. Чего откладывать, времени у нас мало. Не знаю, найду ли свободный час в ближайшую неделю.

Человек поднялся вслед за Аптовым на второй этаж дачи и вошел в комнату, которая, в противоположность другим, была заперта и которую Аптов отпер своим ключом. Здесь когда-то был кабинет Сапожковского, висели две-три картины соотечественников-нонконформистов и даже какая-то карандашная зарисовка — подлинник Пикассо; лежало на письменном столе и стояло на полках множество дорогих книг и скромно ютились две пишущие машинки, настукавшие и эту дачу, и эту привилегированную местность, и эти дорогие угощения, которые не иссякали, хоть их годами поедала жадная

саранча. А ведь раньше, не так уж давно, лет двадцать назад, но как будто вчера, когда Сапожковский еще не доверился вольному стрекоту пишущих машинок, когда он писал и черкал в блокнотах, ему приходилось искать кредит в пять рублей, подходить к знакомым и не очень знакомым со знаменитым: «Как у тебя с деньгами?» — причем по-собачьи глядя в глаза. Но ему давали все реже, ибо он был известен как «невозвращенец», то есть брал и не возвращал. А где взять, чтоб вернуть? Двое детей, жена, нищая зарплата в многотиражке. Где теперь эта многотиражка, где теперь эти дети, где их мать, бледная нервная студентка филфака, бросившая в Сапожковского горящий примус и проклявшая его? Во всяком случае, эта семейная жизнь Сапожковского протекала еще до знакомства с нашим Человеком, ибо Сапожковский уже достаточно давно стал хозяином этого роскошного кабинета.

Аптов сделал в кабинете некоторые перестановки. В другие комнаты перекочевали книги, перекочевал стол с пишущими машинками. Теперь стоял стол поменьше, с небольшой горкой медицинских книг, бумагой, бронзовой чернильницей. В углу тахта — видно, Аптов иногда оставался здесь ночевать. Когда они вошли, Аптов плотно прикрыл двери и два раза повернул ключ.

— Чтоб нам не мешали, — сказал он и поставил трость со своей маленькой серебряной головой в угол. Вторая же голова, укрепленная на шее, торчащей из тугого чистого воротника, повернулась к Человеку. — Сначала поговорим, — сказал Аптов, — я буду с вами откровенен. Даже предварительный взгляд указывает на наличие у вас тяжелых симптомов нервной дистонии. Конечно, полный диагноз можно будет поставить только после осмотра, вернее, после осмотров. Но я хочу, чтоб вы поняли — я не врач, а вы не больной. Отныне мы партнеры. Нужны, дорогой, совместные усилия. Нужна откровенность. И, конечно же, в ответ на откровенность, сохранение врачебной тайны. Начнем с мелочей. Ну, например, это ведь вы устроили шурум-бурум здесь, переполошили поселок? Путевые рабочие ни при чем?

— Я, — как провинившийся школьник строгому учителю, ответил Человек.

Он чувствовал, что воля его все сильнее подавляется этой серебряной головой-набалдашником, и от своей полной беззащитности, от запертых дверей, отдавших его во власть этой серебряной голове, стало холодно. Человек даже не подумал о том, что физически он легко может справиться если не с чужой властной душой, то с чужим костлявым телом, ударить, опрокинуть, сломать о колено дорогую трость. Наоборот, он жадно ловил любые проявления милости со стороны Серебряного Набалдашника и охотно шел им навстречу.

— Я обращаюсь не к вам, — говорил Аптов властно, спокойно-внушительно, как гипнотизер, — а к остаткам вашего еще не умершего сознания. Соберитесь с силами, помогите мне спасти вас от необратимого, от духовной смерти, от потустороннего мира психиатрической лечебницы. Для этого нужны жертвы с вашей стороны. Это главное, что вы должны понять. Дорогие жертвы. А что самое дорогое для нас на этом свете? Наша душа и наше тело. Трагедия многих нервнобольных состоит в том, что они предпочитают отдать это свое богатство болезни, но не врачу. Для того чтобы спасти вас, врач должен владеть вами. Я считаю себя хирургом-психиатром. Звучит на первый взгляд нелепо, многие коллеги со мной не согласны. Но, если болезнь зашла далеко, нужна пересадка нервов. Больные нервы надо удалять и пересаживать новые. Если существуют опыты по пересадке сердца, то почему бы не попытаться пересадить нервы? Вы должны быть откровенны, — повторил Набалдашник, — откровенны. Скажите, чего вы испугались по дороге на дачу? Вас кто-нибудь испугал?

— Заборы, — тихо пробормотал Человек, — тесно вокруг. Заборы и колючки. Острая проволока...

— Так я и думал, — сказал Набалдашник. — Вы когда-нибудь были в тюрьме, концлагере? Были под арестом, в плену?

— Никогда, — ответил Человек.

— Ваша болезнь известна в психиатрии, — сказал Набалдашник, — это боязнь колючей проволоки. Характерна для бывших военнопленных, узников концлагерей. Определена профессором Вишером еще в 1918 году. Тоска, замкнутость, апатия, ослабление или раздвоение памяти. Вы личность нерешительная, малоинициативная, поэтому особенно подвер-

жены болезни Вишера в сочетании с нейровегетативным синдромом. Вы не обижайтесь на меня, дорогой. Многие коллеги оспаривают мой метод. Впрочем, в условиях официальных, в условиях клиники применение его затруднительно. Но частным образом почему бы не поэкспериментировать, тем более что я почти уверен в успехе. Психиатрия — это мост, соединяющий науку и художественное творчество. Так вот, тем концом, который... — он чему-то улыбнулся, — тем концом, который проникает в творчество, я могу вас вылечить. Вы будете абсолютно здоровы, вы станете полноценным человеком. От вас требуется лишь одно — доверьтесь мне. Я знаю, что в психиатрических лечебницах больные в большинстве не доверяют и ненавидят врачей. Но меня они уважают, потому что я отношусь к ним как к партнерам. Вообще среди них попадаются трогательные, милые экземпляры. Например, недавно ко дню моего рождения один ветеран психбольницы сочинил даже песенку в мою честь. Милый старичок. Он в больнице уже пятьдесят четыре года за убийство своей сестры. Пишет с буквой «ять». О давно умерших старушках спрашивает как о гимназистках. Еще недавно была жива его мать, древняя старуха. Приходила навещать. «Мама, — говорил он. — этой гадины, Натали, теперь нет, — это об убитой им сестре, — поселимся, мама, вместе, нам будет так хорошо». Вот такие экземпляры. И среди них вам, человеку культурному, серьезному, глубокому, придется провести многие годы, может, до смерти. Тем не менее хоть постоянное пребывание с ними тягостно, даже невыносимо, но общение как с клиентами бывает забавно. Вот этот старичок, убийца сестры, с которым я бываю строг и не балую его, сочинил в мою честь песенку и пропел ее вместе с еще двумя больными — цыганом Казибеевым, который ставил своей простуженной матери на грудь горчичники и в результате изнасиловал ее, а также молодым художником, страдающим пигмалионизмом, то есть влечением к статуям. У нас клиника особая — больные с разного рода половыми извращениями. Так вот, это трио пропело в мою честь песенку. — Набалдашник привстал, уселся, как за рояль, и, барабая пальцами по краю стола, как будто играя, пропел неожиданно приятным тенором:

На планете много доброго,
Славного, мягкого.
Пожелаем счастья доктору,
Нашему Аптову.

Человек, забыв о своих страхах, засмеялся. Песенка была смешная, и Набалдашник смешно ее исполнял.

— Ну вот, уже лучше, — сказал Набалдашник, — а то совсем скисли. Вы нужны мне в активном виде. А активность — это творчество разного рода. В нашей клинике я, например, горячий сторонник поощрения творчества в среде больных. Творчеством умалишенных в двадцатые годы весьма много занимались. Была даже выставка, кажется, в Ленинграде или Харькове. Творчество умалишенных, дикарей и детей. Построена была на сопоставлении, открывала непознаваемое, открывала истоки... Я кое-что записываю, — он порывлся в бумагах, — теперь это все заброшено, забыто. А жаль... Например, такие стихи:

В окне показался какой-то бандит,
Ему девятнадцать, не боле, на вид.
Он весело тычет в меня пистолет,
Он хочет, чтоб я превратился в скелет.
Я громко заплакал, я топнул ногой,
Я крикнул: бандит, убирайся домой...

— и так далее... А вот было даже напечатано в стенной газете «Надежда». Я издавал стенную газету, пока она не была прикрыта цензурой в лице главврача психбольницы, хотя в ней печатались более чем идейные материалы.

Товарищ, рыдая под звуки маршей,
Запомни это: не тетя Маша, не дядя Коля.
А маршал Ленин создал единство из настроений.

Здесь Ленину присвоено звание маршала, что в поэзии допустимо. Вообще, многие сумасшедшие любят рифмовать, и это доказывает, что сама поэзия — явление не совсем нор-

мальное, противоречащее здравому уму. Но, может, в этом и ее главное назначение. Может, признанный поэт — это сумасшедший, которому воздают почести люди нормальные, а все сумасшедшие — это просто непризнанные поэты... А чем занимаетесь сейчас вы? — спросил вдруг Набалдашник и, взяв свой стул, поставил его совсем рядом со стулом Человека, так что между ними, Набалдашником и Человеком, произошел телесный контакт, соприкосновение бедрами.

— Я? — переспросил Человек, почувствовав, как лицо его покраснело. — Я... пишу скульптуру.

— Пишете скульптуру? — с искренним интересом и удивлением переспросил Набалдашник. — Разве бывает такой род творчества? Впрочем, интересно, очень, очень... Расскажите...

— Это еще проект, это эксперимент, это в начале, в зародыше, — начал говорить Человек, все более возбуждаясь и увлекаясь, — современные скульптуры должны быть сначала созданы на бумаге, то есть созданы во времени, а уже потом в пространстве.

— Какая же это скульптура? Какова тема? — спросил Набалдашник-Аптов.

— Это скульптура в память о неизвестном человеке, — сказал Человек.

— И вы можете ее описать? — спросил Аптов, делая в записной книжке, которую он достал из кармана, какую-то пометку.

— Да, конечно, — ответил Человек, — могу описать, но в общих чертах.

— Тогда пожалуйста, — сказал Аптов, — каков ее облик?

— Облик не нужен, — ответил Человек. — На пьедестале сердце, из которого растет рука... Нет, даже не рука, а кисть... Нет, даже не кисть, а пальцы... Сердце, говорят, у человека размером с ладонь... Так вот, из сердца-ладони растут пальцы, и эти пальцы сжимают перо...

— Почему перо? Значит, это памятник писателю? — спросил Аптов. — Неизвестному писателю?

— А какая разница, — с жаром сказал Человек, — каждый неизвестный человек — это человек, не сообщивший о себе обществу... Значит, он неизвестный писатель. Может быть, неизвестный Шекспир.

— Логично, — сказал Аптов.

— Пока человек неизвестен, неясно, кто он: Шекспир или дрянь. Когда заговорил, тогда понятно. А пока молчит, его надо уважать только за одну неизвестность. Молчание ведь может быть разное.

— Молчание — металл драгоценный, — улыбнулся Аптов.

— Да. Золото, — отозвался убежденно Человек. — Пока мы молчим, то сродни гениям. Конечно, только гении, заговорив, таковыми остаются. Но ведь и многие другие могли бы сказать значительное, если б обстоятельства или судьба не заставляли их говорить невыношенное, говорить слова-ублюдки, слова-выкидыши. Если б у них хватило времени и сил помолчать. Ибо в молчании созревание. Поэтому молчащий человек, неизвестный человек, созревающий человек достоин памятника. Каждый из нас в момент нашего молчания достоин такого общего памятника, и только отдельные гении достойны индивидуальных памятников за произнесенные ими слова.

— А какое сердце, — спросил Аптов, — в какой манере исполненное?

— Ну уж не такое, — презрительно улыбнулся Человек, — каким его рисуют на открытках или делают пряники в форме сердечка. Не розово-золотое, не пряничное. Сердце анатомическое, кровавое, мясное.

— Требуха, — сказал Аптов, — сердце-требуха... То, что лежит на рынках на цинковых прилавках.

— Да, требуха, — с жаром сказал Человек, — только требуха способна испытывать боль от разорванных клапанов, от обрубленных сосудов... Вот такое сердце... С обрубленными сосудами.

— А материал? — спросил Аптов.

— Красный мрамор с белыми прожилками. Камень с кожей и жиром, — уверенно сказал Человек, точно не раз обдумывал проблему материала, — карельский мрамор. И пальцы, растущие из сердца, с суставами, с ногтями, судорожно сжаты, сжимают перо последним усилием, остатками крови, дошедшей к ним по артериям. А в воздухе незримое, ненаписанное послание к нам, какие мы сейчас и какие будем через сто, две, триста лет... Кровь, которая молчит... И алтарь... Вечный огонь...

Свеча... Свеча, которую на грудь покойнику ставят... Свеча из белого уральского камня кохолонга... И надпись скромной вязью: могила неизвестного человека.

— Это нечто из Жуковского, — сказал Аптов, — помните: «Надгробье юноше», — и продекламировал на память:

Плавал, как все вы, и я по волнам
ненадежные жизни.
Имя мое Аноним. Скоро мой кончился путь.
Буря внезапно восстала: хотел я противиться
буре,
Юный, бессильный пловец; волны умчали меня.

— Именно вязь, — улыбнулся Аптов, — не внезапно, а внезапно... Значит, имя мое Аноним? — еще раз улыбнулся Аптов.

— Да, может, и так...

Вдруг слезы потекли у Человека, тихо, но обильно, как вода из продырявленного ведра. Он пытался сдержать их вначале усилием воли, потом пальцами. Но пальцы стали мокрыми, и слезы капали сквозь них.

— Извините, — сказал Человек, — сегодня я похоронил свои восемь лет. Муха подвела итог... Как вернуть, как вернуть, как вернуть их... За что? Кто меня заставил? Почему?

Он плакал, уже не скрываясь, как ребенок, безудержно, и жалость к себе была единственной силой, а слезы — ее оружием.

Аптов между тем снял пиджак и надел халат, вынув его из платяного шкафа. Потом из маленького флакончика он смазал руки. Запах был волнующий, юношеский, весенний.

— Раздевайтесь, — сказал Аптов.

Человек снял пиджак.

— Нет, совсем раздевайтесь, — сказал Аптов, — догола.

— Зачем?

— Мы ведь с вами договорились, — сдерживая недовольство, сказал Аптов, — я должен вас спасти. Именно так. Поэтому я полностью владею вами. Никаких вопросов.

— Нет, как же, — сказал Человек, — как же... Это нехорошо... В крайнем случае, я могу расстегнуть рубашку.

— Этого недостаточно, — сказал Аптов, — снимите брюки и трусы. Вообще догола.

— Так я не могу, — сказал Человек капризничая, — а если кто-нибудь войдет?

— Дверь заперта на ключ, вы ведь видели.

— Но зачем же догола? — вставая со стула, сказал Человек, глядя почему-то мимо Аптова на его трость с серебряной головкой-копией. — Я болен ведь не кожной болезнью и не простудой...

— Сядь! — вдруг властно и на «ты» крикнул Аптов, и Человек, напуганный этим внезапным криком, прозвучавшим как выстрел, сел и начал торопливо раздеваться.

— Носки не снимайте, — сказал Аптов помягче и опять на «вы», — ложитесь сюда, на тахту, лицом вниз.

Человек покорно лег, уже не веря в себя, униженный и весь в чужой власти, которую он сам же призвал владеть собой. В голове было пусто, сердце стучало тревожно, но тоже бездумно. Пальцы Аптова скользили по его коже, приятно щекоча и даже успокаивая, как вдруг коснулись, сжали, причинив боль, правда незначительную. Человек сильно и брезгливо отбросил руку Аптова и вскочил. Простая догадка все объяснила. Человек всегда испытывал неприязнь к людям с подобными особенностями, хоть знал, что среди них были и выдающиеся личности. Но неужели положение столь безвыходное? Клиника или стыдный грех как плата за спасение.

— Одевайтесь, — спокойно и деловито сказал между тем Аптов, присев к столу и выписывая рецепты. — Это в аптеке, — закончив писать, сказал он, — а это ни в какой аптеке не купите, — он достал бутылочку с темной жидкостью, — четыре раза в день по чайной ложке. Примите перед сном. Должен вам сказать, истязанием своего здоровья вы занимались долго и упорно. Ваша нервная система — это тряпье, лохмотья. Все надо делать заново. Позвоните мне через неделю. Нет, не получится, через десять дней, по этому телефону часов в семь вечера. Одевайтесь, одевайтесь. Теперь я уже не врач, а собеседник, и, если вам неловко, я отвернусь к окну.

Он повернулся и стал глядеть в темное окно.

Одевшись торопливо, Человек спросил, ибо не знал, о чем говорить:

— Сколько я вам должен за визит?

— Это потом, — глядя на часы, сказал Аптов, — к Сапожковскому не заглядывайте, увеселения сейчас не для вас. Быстрей домой и в постель. Спите вы, наверно, тяжело? Наверно, с кошмарами?

— Да, бывают неприятные сны.

— А галлюцинации? Голоса?

— Нет, это не бывает, — солгал Человек.

— А муха? Вы говорили про муху.

— Муха — это не галлюцинация, а реальный факт, — ответил Человек, — обыкновенная комнатная муха.

— А в переселение душ вы верите?

— Об этом слышал и читал... А верю ли, не знаю... Не задумывался.

— Если что-нибудь произойдет, — сказал Аптов, — и вы окажетесь в клинике помимо своей воли, дайте мне знать. Хотя, я думаю, не должно. Принимайте из бутылочки. Ну и аптечное тоже.

Они попрощались, и Человек ушел. Домой он добрался под утро. Засыпал долго. Снилось, будто его, спящего, душат. Кричать не может. Бился, рвался, хотел жить и спастся, проснувшись.

Была глубокая ночь, значит, он день проспал. Сильно болело горло, и занавеска, которую он задернул перед сном, была отдернута. Окно, которое он запер, ибо был дождь, распахнуто настежь. В полусне вдруг вспомнилось, как Аптов сжал ему, причинив незначительную боль. Странное чувство, античное чувство. Как оно живуче, его невозможно забыть. Как оно реально, точно это случилось секунду назад, а уже минули сутки... Пока не поздно, бежать... Куда? Бежать от греха и одиночества в общество... А общество — это клиника... Нет, я окружен, голое тело мое опрокинуто, распластано лицом вниз... Я в западне... Хитрость женщины, тяжелый символ мухи, ясная тайна Аптова... Умереть, убить себя, какой это чудный выход... Но недостижимый... Жить хочется...

Он понюхал темную жидкость, выпил чайную ложечку приятного, похожего на портвейн напитка. Лег на спину. Остаток ночи он спал спокойно, без снов.

Ему стало лучше. Лекарства помогали, он поправлялся. Темную жидкость, похожую на портвейн, он пил экономно, по две ложечки в день, ибо решил Аптову больше не звонить, а деньги за визит передать Сапожковскому. Какой простой выход, и как нелепо было недавнее отчаяние. И многое из того, что он делал раньше, теперь осознавалось им как нелепость, далеко заткнуты с глаз долой исписанные, разрисованные, перечеркнутые листочки с проектом памятника-сердца, памятника неизвестному человеку, памятника молчанию. Мятые, надорванные листочки, ибо он хотел их порвать, однако все-таки передумал.

После жаркого, измучившего лета наступили осенние праздники, иначе нельзя назвать эти лазурные позолоченные дни и свежие, безветренные ночи. Человек много гулял в одиночестве и читал много старых книг из своей богатой библиотеки. Как всегда, осенью появились полчища мух, жирных, тяжелых, носящихся по комнате и пулей бьющих в стекло. А есть ли среди них та жалкая летняя мушка, которая подвела итог восьми лет семейной жизни, уже не казалось столь важным и существенным. Он по-прежнему не всегда хорошо спал, однако не огорчался этим, ибо научился читать ночью книги таким образом, что просыпался утром от их чтения совершенно бодрым, как от крепкого, полноценного отдыха.

Однажды ночью он читал старую книгу, где описывалась жизнь четвертого века нашей эры, когда язычество и христианство зверствами и хитростью пытались восторжествовать друг над другом. Главным полем их битвы было тело человека, которым можно было завладеть, лишь влив в его мехи свое вино и выплеснув чужое.

«Христианская мораль, — писал Человек без помарок, — это спасение человека от языческой радости, от поедания сладкого яблочка земного Эдема. Ибо если небесный рай существует и создан Богом, то земной рай может быть воссоздан каждым лишь в теле своем. Наказанием за похищенное небесное яблочко было изгнание на землю. Наказанием за похищенное земное яблочко может быть только изгнание в небытие. Вот против чего боролось христианство, и борьба его была

благородна. Но жертвы, которых оно требовало за спасение, были ужасны, и по сей день древний замысел собирает кровавую жатву. Идеалом христианства было воссоединение тела, рассеченного на мужчину и женщину, в Единое. В этом идеале было даже нечто, вносящее поправку в замысел Божий, вернее, вносящее земную поправку в Небесный замысел. «Непорочное зачатие» — Самсона и Иисуса, как вершина. «Жена да прилепится к мужу», как его повседневное бытовое отражение. Тело доступно всем, дух доступен немногим. Несчастливой христианской жизни тела язычники противопоставили его счастливую гибель. Христианскому воссоединению тел — языческую разлуку мужского и женского, их обособленную жизнь, превращение их в два разных земных существа, обреченных на борьбу. Кто способен на любовь? То есть продолжительное время любить не себя. Единицы. Кто способен на наслаждение, которое всегда непродолжительно, но всегда оставляет память и стремление пережить его вновь? Каждый. Язычество недаром многобожье. Каждый, вкушая земное яблочко, становится богом. Но рассеченное тело — это наслаждение-борьба, это Троянская война. И хитрый, миролюбивый античный человек находит третий путь — путь влюбленных сатиров. Вот запись: «Один жаждет коснуться груди юноши, другой обнять за шею, третий желает сорвать поцелуй. Они усыпают его цветами и поклоняются ему, словно кумиру».

В язычестве свобода выбора. Хочешь самое сладкое яблочко — получай взамен самую быструю гибель. Принцип язычества прост: никого нельзя заставить жить, разве что сумасшедших. Но христианская мораль заставляет жить. У нее свое понимание бытия. Она знает, в противовес язычникам, что человек не волен распоряжаться чужим, а жизнь каждого человека — это чужое, ибо не им она создана. Самоубийство христианская мораль приравнивает к воровству. Да и такая ли уж большая разница между сумасшедшим и неразумным? Разум — это продукт духовного труда. Многие ли на него способны? Духовный труд — это долгое молчание, это вызревание. Многие ли способны молчать? Нет, массовый человек разговорчив. Он требует опеки, требует морали, требует семьи с крепкими решетками на окнах. Дохристианская семья была

единицей рода, христианская семья стала идейной единицей... Но где же выход? Особенно сегодня, когда современные сатиры забросили свои флейты и стали психиатрами?»

Человек перестал писать и посмотрел в окно. Рассветало, и рассвет этот показался утомленным глазам Человека истинно языческим. Небо было того цвета, которого достигали варвары, когда они лили пурпурные краски на раскаленную медь. Именно такое рассветное небо было над горной языческой деревней, где жил красивый юноша-христианин, пастух. Небо четвертого века после Рождества Христова.

Человек начал листать книгу, пытаясь найти легенду о нем, но не мог. Где он прочел эту легенду? От кого он слышал? Или видел во сне? О зеленый стебель легенды! Кто назвал тебя так? Где же, где же я видел это сочное растение? Может, в нем ответ, который мучает меня?

Человек пошел на кухню и открыл кран. Журчала, текла вода, заглушая остальные звуки. Человек еще слышал свое дыхание, но река уже неслась, необыкновенно прозрачная и приятная на вкус. Человек напился с наслаждением, но тут же стало холодно. Пресная вода всегда холоднее морской, и нравы людей морского побережья не так суровы. Здесь же, в горной языческой деревне, зима. Река несла на себе льдины, будто куски белого мрамора. Глубокий снег завалил дороги, и поселяне заперлись в домах. Одни пряли лен и козью шерсть, другие мастерили птичьи силки. Лишь затем выходили, чтобы в ясли мякины быкам подложить, в стойла козам и овцам веток, свиньям желудей. А виноградники и смоковницы были надежно укрыты от холода и ветра соломой.

Но за селом, в скале, была пещера и иней покрывал камни. Тлела лампадка, крошечный огонек, который не согревал, а лишь позволял читать и писать. Здесь жил христианский отшельник, который писал против язычников и которого не убили еще только потому, что над ним смеялись и потешались жители деревни, называя его немытым аскетом. Дети деревни показывали голые задницы, когда он шел к ключу за водой, он же в ответ грозил неверным чумой и концом света, тыча сухой палец в святой свиток. Ночи отшельник проводил на твердом ложе из неструганных досок, один, в писаниях и борьбе с собст-

венным желудком, который требовал пищи. Отшельник ненавидел свой желудок. Он знал, с какой радостью он переваривал бы жирную баранину и сладкие смоквы. Он ненавидел свое тело, которое готово было молиться Пану, готово было плясать в общем хороводе с нимфами. Однажды он увидел на камне высеченный в давние времена рисунок. Нимфы плясали. Ноги босые, руки обнажены, кудри вились по плечам, пояс на бедрах, в глазах улыбка... Так ли все было изображено или картину дополнило воображение? Всю ночь просидел он тогда, вцепившись нестриженными, длинными, как у зверя, ногтями в свалывшиеся всклокоченные волосы. Борода же была жесткая, и из нее можно было свить морской канат.

Но сегодня в пещере не один был отшельник. Ученик его был с ним. Сиротой взял отшельник мальчика, воспитал его, окрестил, научил святым молитвам. Всею душой полюбил мальчик Бога и Сына Божия. Но он был красив и когда подрос, то полюбил также и красоту свою телесную до того, что захотел стать еще красивее, чем был. Он проводил часто время любясь своим отражением и выщипывал даже волосы на груди своей, чтоб кожа была чистой и гладкой. И срезал раскаленным ножом бородавку с левой ягодицы своей, ибо многие женщины и девушки села искали с ним связи, он же боялся, что руки женщины в страсти найдут бородавку. Тогда впервые после долгой разлуки увидел отшельник ученика своего, который пришел просить зелья для примочек, ибо рана на ягодице не заживала. И хоть отшельник давно прогнал и проклял его, как отступника, он все же дал ему зелья. Он взял мальчика сиротой, воспитал его, это было его неразумное дитя, которое он любил и о котором позволял себе иногда думать с нежностью. И вот сегодня ночью он опять пришел и принес с собой горсть горячих углей, чтоб согреть жилище. Отшельник позволил это себе, и они сидели среди пара от стаявшего с камней инея. Он принес с собой и еду. Конечно, не мясо, не рыбу, не дичь, с которыми отшельник не пустил бы его в пещеру. Немного сушеных смокв, печеного хлеба, молодого вина.

— Улыбнись, отец, — сказал ученик, ибо по-прежнему звал отшельника отцом, — перестань сердиться, пусть твои глаза опять подарят радость.

Они помолились перед едой, и отшельник видел, что ученик молится так же сердечно.

Ученик был деревенским пастухом и хорошо исполнял свое дело, потому его терпели в деревне, хоть он был христианин. Сильно помогало также заступничество богатых женщин. Особенно Ариадны, жены старосты деревни. Но мужчины ненавидели его и искали повода, чтобы погубить.

— У меня на спине много забот, — сказал отшельник, — зачем пришел ты, объясни. Ибо я знаю, что ты приходишь лишь за надобностью.

— Правда, отец, — ответил пастух, — скоро весна. Надо будет угонять овец в горы, на луга. Научи меня молитве, чтоб все девушки и молодые женщины деревни превратились в овец и я угнал их вместе со стадом так далеко, в такое место, где никто не найдет нас. Ибо я люблю их всех, и хочу их всех, и буду пасти их всех.

И отшельник, поевший досыта сушеных смокв, согретый горячим углем, размякший от созерцания неразумного дитя своего и возбужденный коварным демоном, дал такую молитву.

Вот наступает весна, все цветы расцвели, в воздухе жужжание пчел, пение птиц, барашки скачут по траве. И помолился пастух молитвой, взятой у отшельника. Но не Бог, а диавол был хозяином той молитвы. За грехи отдан был христианин-пастух в руки диаволу. И было ему знамение, что молитва принята. Все жилище осветилось блеском и сиянием, точно внесли факел. И упал пастух навзничь, дрожа от радости, содрогаясь от наслаждения, ибо страдал он болезнью Геркулеса, как в древности именовалась эпилепсия.

На рассвете в тишине, как в гробу, спало село. Погнал пастух в горы стадо, сторонясь людных мест. А женщины и девушки, обращенные в овец, шли отдельной кучкой, тогда как другие овцы не принимали их, чувствуя чужаков, и били их. Потому женщины и девушки, обращенные в овец, старались держаться возле пастуха, который защищал их своим посохом. Ближе всех к пастуху, у ног его, шла большая красивая белая овца. То была Ариадна, жена старосты, богатая и страстная любовница пастуха. А далее всех шла маленькая рыжеватая овечка, которую оттерли другие овцы. Имя ее было Деметра, и у нее

был жених, солдат, которого она ждала из похода. Но пастух соблазнил ее своей красотой и, проведя с ней две ночи, забыл ради новых наслаждений. Однако Деметра не забыла его. Юная и нежная, она смотрела на юношу своими зелено-золотистыми овечьими глазами и радовалась его красоте и ловкости. А пастух был действительно весьма умелый и знал все тайны своей профессии. Как нужно пасти до полудня и как стадо снова выгонять, когда спадет жара, когда к водопою водить, как обратно в загон отводить, когда посох в ход пускать, а когда лишь прикрикнуть. И местность дальнюю, мало кому известную, выбрал он умело. Вблизи пещеры бил ключ, образуя ручей. Перед пещерой был свежий луг, и на нем влажная, густая, вкусная трава. Здесь они паслись, здесь они жили, и здесь пастух гладил густую мягкую шерсть обращенных женщин, скотоложествуя. Иногда же он любовался и собственным телом, ласкал его, сидя у ручья, где плавало отражение, и, подобно юноше-красавцу Нарциссу, влюблялся в себя все более. Ему было хорошо, но время шло, и овцы, в том числе женщины, обращенные в овец, тосковали по дому и ждали освобождения. Только Ариадна не ждала и Деметра не ждала. Когда пастух позволял Деметре, она нежно терлась рыжей шерстью о его бедра и язычком касалась лица.

Между тем их искали родители женщин, мужа, женихи и прочие владельцы украденного скота. Долго искали, пока не нашли в момент, когда пьяный от любви пастух наслаждался с Ариадной, белой овцой.

Ариадна прежде, будучи женщиной и обладая острым умом, часто беседовала с любовником о христианстве и видела, как он молится своему Богу из Галилеи.

— Правда ли, — спрашивала она, — что христиане употребляют в пищу людскую кровь, особенно кровь нехристианских младенцев?

А пастух объяснял ей, что язычники возводят на христиан кровавый навет, пользуясь тем, что Христос сказал: вино — кровь Моя, хлеб — плоть Моя... Ешьте плоть Мою и пейте кровь Мою...

И Ариадна слушала, все более соглашаясь с учением галилеян. Пастух надеялся, что со временем она станет хрис-

тианкой и вовлечет в христианство своего мужа, старосту. Ибо обращение главного врага было бы победой над языческой деревней.

Но вот схватили пастуха язычники, владельцы скота, мужа и женихи. Самые нетерпеливые, ревнивые и обиженные хотели его тут же растерзать, другие предлагали отвести его в театр языческого города, где он был бы разорван на части обезьянами или лисицами на глазах у всего народа. Однако муж Ариадны, староста деревни, сам изнывая от ненависти и ревности, тем не менее сказал:

— Пусть этот вор-христианин публично признается, что в коварном учении галилеян нет ничего божественного, а есть лишь злобный людской вымысел... Тогда, может быть, мы накажем его не до смерти.

Но пастух ответил:

— Пусть святой отец — отшельник, над которым вы потешаетесь, прочтет вам сладкозвучный Псалтырь, пусть прочтет он вам сверкающие сапфирами песни из Исаяи, и вы поймете, что истина там, где красота духа, а не красота тела... Мой же грех телесен, и не вами, а телом я удушен...

Последние слова он говорил уже с трудом, ибо сплетенная из гибких ветвей веревка-удавка перетягивала жилы на его шее. Он был еще жив, когда подожгли на нем одежду. Он еще не совсем умер, когда отсекли ему руки и ноги. И едва он умер, как все обращенные в овец женщины вновь обрели свой прежний облик. Все, кроме Деметры, которая предпочла лучше остаться беззащитной овцой, чем принадлежать другому мужчине. А Ариадна выпросила себе тело растерзанного пастуха, которое хотели бросить в ров, чтобы никто даже не помнил о его гибели. Муж-староста, безумно любящий свою красавицу жену, не смел ее послушаться. Она положила тело в кипящее вино и в последний раз помолилась своим языческим богам, чтобы несчастный грешник был принят в рай. Ночью она погрузила тело на мула, отвезла его на тот дальний луг у пещеры и похоронила по-христиански. Сама же ушла в долину и вскоре стала одной из самых ярых проповедниц христианства и беспощадных гонительниц язычников. Вместе с другими победителями язычества она разоряла, предавала огню их

деревни и оскверняла их храмы, разбивая мраморные статуи богов-идолов.

Деметра же, оставшись рыжей овечкой, начала жить одна у могилы пастуха. Часто теплой мордочкой своей прижималась она к ней и мягким язычком вылизывала ее, как ягненка своего. Любое насилие было властно над ней, нож ли бродяги, клыки ли волка или просто насилие безразличной природы, холодного дождя и ледяного ветра, ибо время шло к осени. Когда минет зима и сойдет снег, который в этой местности бывает так же глубок, как скифские снега, когда солнце опять станет теплым и прогреет воздух, найдет ли случайный путник нечистый, поедаемый птицами труп овцы или чистый, обглоданный еще с осени скелет ее? Что защитит, что спасет беззащитную невинность? Ничто, кроме зеленого стебля легенды.

Император язычников Юлиан в своем слове против христиан пишет: «Оно (христианство) сумело воздействовать на неразумную часть нашей души, по-ребячески любящей сказки, и внушило ей, что эти небылицы и есть истина».

Заржавела и рассыпалась в прах булатная сталь — этот символ истинной реальности, растаяли, как галлюцинации, всемирные империи, а зеленое растение, выросшее из зерна, брошенного в сухую палестинскую землю, выстояло, объединяя тех, кто жил, тех, кто живет, и тех, кто будет жить. Люди булатной стали, люди реальностей — император Юлиан, царь Иван Грозный, вождь Сталин — для ныне живущих не более чем символы. Они не реальней галлюцинаций. Но живы вековые, ослепшие от старости патриархи, живы побитые камнями пророки, жив распятый Галилеянин. Все они реальные современники еще неродившихся поколений. Жив, плодоносен и языческий миф, телесный миф эллинов, над которым также насмехается Юлиан, отдавая, однако, ему предпочтение. Отчего же? Оттого что Единобожие, явление человеку Бога незримого, впервые превратило миф в учение, адресовав его не телу, но душе. Где же сердцевина этого учения, что делает его столь прочным? Самоотверженность желчного отшельника — схоласта, распятого язычниками вблизи пещеры своей и помертвевшими губами повторяющего гимн в честь Сына

Божия и проклятия в адрес Его врагов? Или телесная стихия грешника-пастуха, обузданная лишь петлей на шее и последние судороги жизни тратящая не на спасение тела, а на спасение души, на раскаяние и славу Господу? Или ярость новообращенных, вливших в христианское учение старую языческую кровь, кровь Зевса, сочетавшегося со своей матерью, и Крона, проглотившего своих детей? В день святой Пасхи с пением «аллилуйя» Ариадна с другими обращенными строили новую обитель. Они ниспровергли античную статую Аполлона, молотами разбили алтарь, чтоб на месте святилища Аполлона возвести часовню. Все это было, и без этого не понять ни дикости прошлого, ни беспамятства настоящего. Однако вечная зелень старой легенды, ставшей учением, была бы невозможна без кротких золотистых глаз рыжей овечки у могилы любимого, ибо истинная любовь — чувство не краткое и изменчивое, как жизнь, а вечное и крепкое, как смерть.

Человек все это увидел и услышал, и все было рядом, его можно было бы коснуться рукой, но оно было отделено прочной стеклянной стеной, стеклом, которое замечаешь только ударившись об него. Не от подобного ли удара Человек очнулся?

Творения большого мозга, наподобие ласточкиного гнезда, строятся из комочков земли-реальности, где-то прежде увиденной, услышанной или прочитанной, и выделений собственного организма, в момент творчества склеивающих эти комочки в причудливые, но живые картины. Эти картины исчезают, как возникли, мгновенно, иногда с третьим криком петуха, иногда с урчанием автомобильного мотора и шарканьем метлы, убирающей осенние листья.

Человек остановил поток воды, льющейся из крана, и посмотрел в окно. Горела обычная московская утренняя заря. Все исчезло, но золотистые глаза рыжей овечки остались по эту сторону стекла, разделяющего четвертый и двадцатый века, как крупницы золота после того, как промыта и отброшена в отвал горная порода бытия. И Человек бережно завернул эти золотистые овечьи глаза в тряпочку, которую спрятал у себя на груди.

Наконец Человек выкарабкался окончательно, так он решил. Галлюцинации больше не повторялись, головные боли почти полностью пропали. Он понимал, что рецидивы возможны, но верил, что кризис позади. Он физически окреп настолько, что решил даже восстановить прерванные болезнью связи с друзьями.

Была между тем уже зима, настоящая, серебряная, солнечная, с обжигающими морозами и красногрудыми снегирями на заснеженных ветках.

Как-то незадолго до Нового года Человеку позвонил его друг, инженер, и пригласил на новоселье. Инженер этот родился и вырос в старой Москве, на Большой Полянке, ныне же переехал в Москву социалистическую, смявшую окрестные деревни и построенную по типовым проектам.

Общество на новоселье было интеллигентное, служилое, но песни блатные.

— Ой, мама, — пел под гитару доцент, специалист по радиоэлектронике, — ой, мама, ты совсем уже седая, зачем же ты у папы на груди... — А потом ударил по деке гитары и припадочно закричал: — Примем меры против Веры, заявили милиционеры...

— Сулейман, — визгливо хохотала, перегнувшись через стол, крашенная блондинка, — Сулейман, належь между собой и Коганом коньяк, чтобы между вами протекал Суэцкий канал...

Кто-то рассказывал:

— Не знаю, пойдет ли она за меня в огонь, но в воду пойдет, конечно морскую, и если это, конечно, Сочи.

Человек запоздал и приехал, когда уже не говорили, а кричали и хохотали. Ели и пили много. Вкусна чужая еда и выпивка. От сигаретного дыма и выпитой рюмки коньяка у Человека началось сердцебиение. Он невпопад совал вилок, чтоб лучше закусить, как вдруг увидел, что за противоположным концом стола сидит Сапожковский, делает ему какие-то знаки и улыбается. А рядом с Сапожковским Аптов. «Как нехорошо, — подумал Человек, — надо бы подойти, объясниться», — но не подходил, а пил рюмку за рюмкой, чокаясь неизвестно

с кем. Какие-то лица лезли к нему в друзья, и он уже поцеловал в шею крашеную визгливую блондинку. Говорил он и с Сапожковским, но это был легкий пенистый разговор. Однако когда Сапожковский появился в распахнутой дубленке, очевидно, чтоб проститься, и ведя под руку Аптова, одетого в пальто с бобровым воротником, Человек всполошился и вдруг предложил свою помощь. Аптов явно перепил, шел спотыкаясь и волооча трость.

— Да, да, — сказал Аптов, медленно подняв голову с груди своей, — пусть проводит... А то скрылся... — И он незаметно подмигнул Человеку.

Чем-то романтически-опасным повеяло на Человека, и воспоминание о несильной боли, которую причинил ему Аптов, ожило... Танцующие босые нимфы, с одной грудью — слегка прикрытой, другой — обнаженной, люди-кентавры с лошадиными бедрами, ангелочки с толстыми розовыми попками... «Надо все пережить, все испытать... античный человек понимал это... Не было ни гражданских, ни товарищеских судов, а было судилище в форуме. Там осуждали за богохульство, но не за наслаждение, совершенное по добром согласию».

Страшен соблазн, когда все совпадает, все решается само собой и все боковые тропки ведут к нему... Когда все телесно... Когда коньяк обманул разум, вкусная еда возбудила желудок, когда все набухло, все разрыхлено... Когда привлекают не плоды дерева жизни, а его корни. Живые корни, подобно змеям, копошатся во тьме. Между змеей и сладким яблочком греха прямая связь. А погибель-изгнание за горизонтом, до которого еще надо дойти-дойти...

На улице, на освежающем морозе, Сапожковский шепнул Человеку, перед тем как усадить его и Аптова в такси:

— Вот удружил. У меня тут дама червей, а я козырь. Надо покрыть. — Потом он обернулся к Аптову: — Ну как, Леон?

— Немного перебрал, — ответил Аптов, шумно дыша, — давно так не излиществовал. Но иногда надо...

Такси поехало, выбралось на шоссе и понеслось сквозь косягу толщу снега.

— Обожаю поизлиществовать, — сказал Аптов, — но не всегда это возможно. Ограничен степенью изношенности

сердца... Ну, как ваш проект памятника сердцу? — спросил он вдруг. — Ваша скульптура на бумаге в стиле Жуковского? Надгробье юноше по имени Аноним?

— Давно в мусорной корзине, — ответил Человек, — чувствую я себя гораздо лучше.

Разговор волновал его, как и то, что они несутся во тьму, сквозь снег.

— Напрасно, — сказал Аптов, перебирая пальцами серебряную копию своей головы, — кое-что следует брать оттуда сюда, даже когда мы возвращаемся... Сердце — это бомба замедленного действия, заложенная в нашу грудь... Нет боли сильнее сердечной. Я испытал всякую боль. На фронте был четыре раза ранен. Два раза тяжело. Первый раз из крупнокалиберного пулемета правую руку прострелили. Я в авиации был. Потерял управление, упал. Мне повезло, сбили свои по ошибке. Вылечили, опять повезло. Попал в ночные бомбардировщики. Это теперь приборы ночного видения и прочее, а тогда ночью сбивали гораздо меньше. Пока тебя прожектор поймает да звукоулавливатели расслышат... Все-таки был еще трижды ранен... Но сердечная боль гораздо сильнее... Настоящая сердечная боль... Вот сейчас тоже колет сердце, но это не то. Приму лекарство, пройдет. У меня дома хорошее лекарство... Но не для настоящей боли. Настоящая сердечная боль, настоящий инфаркт, это непередаваемо... Начинается в области сердца, потом в левой руке, потом в правой. Неимоверно сильно болит голова... Я возвращался с работы, поднялся на третий этаж по лестнице... Чувствую, кольнуло сердце... Принял валидол. Не проходит, принял опять. Вдруг кольнуло совсем сильно, тогда незнакомо... Я быстро к дверям, не позвонил, а позвал жену... Была у меня тогда жена, была пятилетняя дочка... Позвал жену... Она услышала, открыла... «Что с тобой, — говорит, — ты бледный». — «Что-то с сердцем», — отвечаю. Вдруг боль стала предельной. Я упал, потерял сознание. Три часа не могли снять боль, когда очнулся. Лежал много дней на спине, медленно шевелил руками. Вот что такое сердце... А мы не щадим себя, все хотим острого соуса...

Этот разговор был гораздо неожиданней, чем если б Аптов вдруг залаял. То, что Аптов был летчиком, воевал, имел ранения, пережил инфаркт, был женат, сделало его менее интерес-

ным, точно разоблаченным, и Человек пожалел, что оставил ради него общество.

Когда приехали, Человек взял из рук Аптова бутафорскую трость и помог войти в лифт.

Аптов жил в маленькой однокомнатной квартире, небогато обставленной. Единственная ценность — большой цветной телевизор, тогда редкость в советской квартире. Не снимая пальто, Аптов взял из аптеки какие-то таблетки, принял.

— Сейчас станет лучше, — сказал он и улыбнулся жалкой больной улыбкой, — хорошо, когда в доме есть нужные лекарства...

Сняв пальто и положив его тут же, на пол, он уселся на диван.

— Вот, купил цветной телевизор, — сказал он, — радость одинокого... Нет, что-то я сегодня лишнее перепил, тошнит... Пойду в ванную...

Он ушел, а Человек уселся на стул и стал ждать. Где ты, серебряный сатир, где ты, ночь одуряющих ощущений? Человеку было обидно, ибо он считал, что уже согрешил, решившись... Но согрешил, не получив награды. Человек услышал стук в ванной, видно, Аптов что-то уронил. Прошла минута, другая. Аптов не возвращался. Он уже некоторое время корчился и хрипел на полу ванной, но разочарованному Человеку казалось, что это хрипит плохо закрытый кран. Потом, пытаясь вызвать по телефону «скорую помощь», Человек обнаружил, что не знает адреса... Пока бегал к соседям, пока приехала «скорая», Аптов уже затих.

Так умер бывший летчик, позднее сатир-психиатр Аптов, и так змея съела яблочко, перед самым носом у обманутого Человека. С этого момента Человек перестал верить в грех как в творчество, а начал искать в нем лишь забаву. Это значит, что он практически был здоров и способен выполнять свои обязанности перед обществом. Он обрел уверенность в себе, начал ходить на плаванье в бассейн, занимался гантельной гимнастикой и за черным кофе поучал: «Отношения в семье должны быть не психологической драмой, а опереттой».

Так вместе с чувством греха ушло и чувство святости, ибо грех есть тень, которую отбрасывает святость. Над античным

миром солнце все время стоит в зените. Космогония античных чувств предельно ясна, и свет там отделен от тьмы. Вот почему возмущается император язычников Юлиан библейской версией о сотворении мужчины и женщины. «Бог говорит: „Не хорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему“, — а эта „помощница“ решительно ни в чем не помогла ему, обманула его и стала причиной того, что и он и она были изгнаны из рая и лишились райского блаженства». Причем под блаженством античный характер всегда понимает наслаждение красотой. Мир же современного «античника» — это мир, где гармоничная красота заменена негармоничным эстетством.

Человек наш на новой, нынешней спирали своей опять сошелся с «античником-эстетом» Семовым, приятелем, который появлялся в его жизни, когда он уставал от размышлений и чувствовал необходимость поглупеть. Семов, не очень красивый, бедный парень, привлекал женщин легкостью отношений, которых многие женщины жаждут как отдыха от бесконечных обязанностей. Семов понял: для того чтоб не бояться жизни, надо над ней насмехаться. Собственно, Семов понял то, что в один из прошлых периодов общения ему подсказал Человек. Но он хорошо усвоил урок и развил это учение так, что самому учителю приходилось идти в подмастерья к бывшему ученику.

Они проводили дни, прогуливая друг друга по бульварам, особенно по Тверскому, лучшему бульвару Москвы. Они прогуливали друг друга и смеялись над немощными стариками и старушками на скамейках, растратившими силы за годы, деленные на пятилетки. Смеялись над некрасивыми, слишком тонкими, спичечными или слишком толстыми, рояльными ногами проходивших девушек, которые явно жаждали любви или хотя бы знакомства. Однако для знакомства существовали другие, волоокие, с распущенными волосами, мелкозубые, с маленькими носиками, цыганистые украиночки, татаристые уралочки и прочие дамы полутьмы, лучшего времени для знакомства на панели.

Май был очень теплый, и улица Горького, бывшая Тверская, стала вдруг похожа на южную набережную. В полночь она все еще была заполнена шумной, цветастой, сочинской толпой. Появилось много красивых полураздетых девушек и липких

юношей. Похоть витала в теплом ласковом воздухе, особенно у фонтанов. Однажды Человек видел, как у фонтана стоял слепой с букетом белой сирени, видно ожидая женщину, и этот образ запомнился, несколько утяжелив происходящее. Человек остановился неподалеку и стал наблюдать, отказавшись идти с Семовым, который познакомился с двумя литовскими циркачками. Семов махнул рукой и ушел. Они повздорили. Семову накануне отказала женщина, которой он давно добивался. Было и такое с ним. Теперь Семов планировал пустить в определенных кругах слух, что у женщины этой на спине большая бородавка. Но это удовлетворило его лишь отчасти, и он был раздражен. Человек в одиночестве просидел у фонтана и ушел при погашенных фонарях одновременно со слепым, выбросившим букет белой сирени в урну, которую нащупал палкой. Однако происшествие это промелькнуло лишь мимолетным облачком, вернее, грозовой тучкой, дурным сном, давно не беспокоившим. Пришла покойная мать, начала мыть ноги из шланга в саду, потом полил сильный дождь (Человеку часто снился дождь), полил дождь, который, падая на землю, превращался в пар, потому что земля раскалялась сильнее и сильнее. Все заполнилось паром, и мать сказала: «Сынок, это конец света». Тогда материальное серое исчезло, и во сне возник цвет. Ярко и густо голубое небо.

«Нет, хватит шопенгауэров, — вспоминая сон и жуя завтрак, думал Человек, — хватит диалогов с покойниками... Жить надо в другом жанре».

Он позвонил Семову, и они продолжали прогуливать друг друга, ища добычу. Вот что стало с «воздушным испанцем», когда лопнули его шарики, наполненные снами, и он опустился на брентную нашу землю, обманутый и истинной любовью, и истинным грехом. А как же завернутые в тряпицу золотые овечьи глаза, вынесенные им из краткого проживания в веках давно минувших? О них он сейчас не думал, как бедняк не думает о золотых монетах, далеко запрятанных на случай последней беды. Однако до последней беды, как ему казалось, далеко, ибо он был практически здоров. Вернее, практически выздоровевшим, что не одно и то же. Кто хоть раз покинул нашу тучную кормилицу-землю, тому уж не вернуться. Он может

выбраться рядом на зыбкую землю, он может существовать невдалеке, на болотистой почве, но нога его более не коснется того, что дается один раз. Здоровый, целинный разум, здоровое бычье сердце, здоровый полнокровно-молочный инстинкт продолжения рода... А потерял — спасайся духовным... Это два берега. Один наш, близкий, людской, второй далекий, Божий... Но редкий смельчак отважится далеко заплывать. Большинство плещется на отмели. А бывает, доберется человек до середины, и силы оставляют его, и понесет течение, стремнина... Пропал, погиб человек...

— Погиб человек, — говорил Сапожковский, — талантливый, умный — и погиб. Умер в пятьдесят девять лет.

После смерти Аптова Сапожковский исчез надолго, и, когда вдруг позвонил, Человек уже отвык от его голоса и с трудом узнал. Они встретились в привилегированном ресторане, куда вход был по пропускам.

— Погиб Леон, — говорил Сапожковский, — до сих пор не могу поверить.

— Ты точно в чем-то меня упрекаешь, — сказал Человек, — но я сделал все, что мог. Я даже адреса не знал.

— Нет, все мы виноваты, — вздохнул Сапожковский, — тем более — второй инфаркт. Врач сказал — если б даже вовремя «скорую» вызвали, все равно не спасти было. Погиб талантливый ученый, замечательный врач-психиатр, погиб многое переживший и перестрадавший человек. У него, говорят, были слабости, дурные наклонности определенного качества. Может быть. У нас вообще видят преступления там, где просто несчастье или слабость... Ах, Боже мой, Боже мой...

Сапожковский как-то уж слишком постарел и обабился. Говорил со вздохами, с причитаниями, прижимал ладони к груди и изрядно надоел Человеку, пока перешел наконец к делу, по которому, собственно, звонил. Оказывается, Леон Аптов незадолго до смерти составил завещание (знал, что тяжело болен, готов был к смерти), и по этому завещанию трость с серебряным набалдашником в виде головы предназначалась Человеку.

— Не пойму почему, — говорил Сапожковский, — общался он с тобой мало. А я за эту трость готов любые деньги...

— Нет, зачем же нарушать волю покойного,— ответил Человек.

Трости у Сапожковского с собой, разумеется, не было. Поехали на дачу. Кабинет, где когда-то принимал Человека Аптов, опять был переоборудован Сапожковским для своих нужд. Над письменным столом висела большая литография, на которую Человек сначала глянул мельком, а потом остановился и долго ее разглядывал.

Была изображена дикая скалистая местность. Высокие орлиные места. Камни. Мускулистый, в одеянии античных времен мужчина стоял, крепко упираясь ногами, в боевой позе гладиатора, сжимая длинный острый нож. Чуть выше его, тоже в боевой позе, приготовилось к прыжку существо, которое можно было бы назвать женщиной, если б вместо рук у нее не было широко распростертых орлиных крыльев. Тело амазонки-орлицы было тоже мускулистым, но по-женски изящным. Одна нога согнута в колене, другая вытянута для толчка. Длинные, огненно-рыжие, почти красные волосы. Лицо не злое, ибо в злобе есть хоть какой-то контакт, а скорее безжалостное. Черты лица правильные, женские, но птичьи. Впрочем, такие женские лица бывают и в быту. На зеленоватой коже хищные, неподвижные, целеустремленные глаза. А вокруг другие орлы, обычные орлы, возможно, из одной стаи с этой женщиной, однако они заняты своими делами. Кружат, чистят перья. На смертельную схватку мужчины и женщины-орлицы не обращают внимания. Все напряжено, все за секунду до крови, до смертельного удара. Вонзится ли отточенный нож мужчины в упругое соблазняющее тело или, сбив врага ударом крыла, женщина полакомится его глазами и печенью?

— Что это? — спросил наконец Человек у Сапожковского, поднявшегося снизу с тростью.

— Ах это, — улыбнулся Сапожковский, — не правда ли, символично? Но непонятно, что она защищает. То ли гнездо, то ли тело... Какой-то немецкий экспрессионизм... Немцы любят эстетизировать ужасное... Большие деньги заплатил...

Человек взял трость из рук Сапожковского и молча вышел.

И с тех пор трость стояла у него в углу комнаты, в специальной подставке, недалеко от ложа, и он вешал на нее трусики

своих любовниц, самую, как он считал, прекрасную часть женского туалета. Легкие, как паутинка, шелковые, гладкие, как атласная кожа на животах и попках, с волнующими кружевами телесного, голубого, розового цвета. Серебряный профиль исчезал под волшебной тканью, а когда появлялся вновь, едкий серебряный рот, растянутый в улыбке, был чуть-чуть более округл, как у насытившегося гурмана.

Так шло время, и Человеку все более и более нравилось жить. Казалось, еще немного, и он увидит над собой истинно античное солнце, застывшее в зените. Однако мешали происшествия с насекомыми. Надо сказать, что из прошлой, проклятой им жизни он унаследовал привычку разговаривать сам с собой. Привычку эту можно было бы считать не вполне здоровой и нормальной, если б ей не было подвержено слишком большое число людей разного возраста и звания. По крайней мере, в многомиллионной Москве можно часто встретить человека, идущего по улице и при этом беседующего с собой. Причем беседы эти иногда сопровождаются жестами, движениями рук, плавными или резкими в зависимости от темы.

Так вот, однажды, в довольно приятном настроении Человек шел по улице и беседовал с собой о своих взаимоотношениях с тростью, которая постепенно становилась все требовательней и не всегда удовлетворялась качеством повешенных на нее женских трусов, что видно было по форме рта, который вместо округлости приобретал линию острую, наподобие лезвия.

Кстати, творческая жизнь Человека, которая ранее подвергалась критике, теперь вполне удовлетворяла общество, ибо не все виды психического расстройства для общества опасны, а некоторые даже полезны. Когда Человек написал большую проблемную статью под названием «Без трусов», то ее мигом напечатала солидная газета, правда, под названием «Наращиванию мощностей легкой промышленности — высокие темпы».

Постояв в короткой, приятной очереди к окошку кассы, где солидная газета выплачивала солидный гонорар в надежные руки, и нанюхавшись денежных запахов, вопреки утверждению о том, что «деньги не пахнут», Человек вышел на улицу и затеял очередную беседу с собой. Сегодня вечером он надеялся повесить на трость высококачественные импортные кру-

жевные трусики волнующего черного испанского цвета и тем помириться с серебряным партнером. Так беседовал он, идя полуденной, обдуваемой свежим ветром столицей, как вдруг неизвестная муха пулей влетела в его открытый рот, и он ее мигом проглотил, от неожиданности не успев выплюнуть. Брезгливость, стыд, жалость к погибшему насекомому, которое прощекотало нежными лапками по гортани, тщетно пытаясь удержаться, спастись, и теперь жадно заглатывалось его питоном-кишечником, весь этот сонм чувств овладел Человеком, заставил его остановиться и в усталости сесть на скамейку. Где прежняя легкость, еще минуту назад наполнявшая его? Где античное солнце в зените? Где овеваемая прохладой уютная Москва? Перед ним опять был город его недавнего прошлого, с нервными, дурно одетыми, усталыми прохожими, с гроыхающими самосвалами, полными липкого грунта, с разрытыми, постоянно перестраивающимися улицами, где посреди мостовой нередко можно увидеть труп убитого животного, собаки или кошки, лежащий так же привычно на виду у прохожих, как и тела алкоголиков. Ему стало внезапно плохо до обморока, и он впервые за много дней полез под рубашку проверить, хранился ли неприкосновенный запас: золотые овечьи глаза, завернутые в чистую тряпицу. Они были на месте, и Человеку полегчало.

В этот вечер трость не получила обещанных ей кружевных испанских трусиков, и, лежа без сна, Человек видел, как она скалится из темноты в углу комнаты.

— Перестаньте злиться, Аптов, — говорил Человек, — вы обманули меня гораздо сильнее в тот вечер вашей смерти... И посмотрите, чем я стал теперь... Я растрочен мелкой монетой... Медью, которую раздают нищим... Можете вы мне помочь? Только без всякой философии... Нет или да?

— Да, — ответила трость.

— Как? — спросил Человек. — Что мне делать?

— Завтра иди на рынок и купи себе груш...

— Груш? — удивленно переспросил Человек.

— Только хороших, дорогих, пахнущих медом груш...

— Это значит сорт «бере-боск»? — пожелал уточнить Человек.

Однако трость более ничего не ответила.

Было третье июля, сезон для груш в средней полосе России не совсем подходящий. Но можно было купить груши привозные, крымские, кавказские или из южно-мусульманских республик. Человек наш знал толк в грушах и, покупая, поедал их сознательно, то есть понимал, какой сорт употребляет.

Когда жива еще была его мать и Человек существовал далеко отсюда, в местах иных, на другой планете, в саду их возле дома было два грушевых дерева — одно породы «бербоск» и второе породы «сен-жермен». Было и несколько сливовых и вишневых деревьев, росли кусты малины... Сад был маленький, в пределах допускаемой социализмом частной собственности, но ухоженный и любимый... Жив был и отец, агроном с загорелой лысиной и в вышитой рубахе. Мать тоже носила платье с вышивкой, домотканое, льняное...

Детство наше, пахнущее маринованными грушами. Почему мы не умираем пятилетними ангелочками? Зачем нас изгоняют оттуда, где мы предмет для любви, туда, где мы предмет для потребления? Зачем идем мы по следам отцов своих? И почему, мама, ты украла Божье яблоко, когда вокруг столько людских медовых груш?

Человек сразу увидел то, что искал. Конечно, это не были те груши его детства, большие, мягкие — масло с медом... Да и не «бере», пожалуй, а «дюшес»... Однако в период вторжения мичуринской науки в природу и на том спасибо.

Груши продавала веселая баба с большим ртом, куда она клала, очевидно, ею по-хозяйски выпеченные и привезенные с собой блины. Загорелой рукой с темными бронированными ногтями она брала очередной блин из алюминиевой миски, макала его в алюминиевую миску со сметаной и клала в рот, ловко отирая пальцами губы. Второй рукой она отгоняла ос, стаяй носящихся вокруг и садящихся на груши.

— Мелковаты груши-то, — вступил в торговые отношения Человек, также отгоняя ос, которые начали виться возле его лица.

— Самые подходящие, — охотно отозвалась баба, — вот тюрьма велика, а кому она в радость...

«К чему о тюрьме, — подумал Человек, — какое отношение имеет тюрьма к покупке груш?» И в этот момент он почувствовал сильный укол в затылок. Место вокруг укола начало тут же чесаться и пухнуть.

— Что, — засмеялась баба, — уже укусила?

Она сказала так, словно была хозяйкой не только груш, но и ос и гордилась их ловкостью и умением, как гордятся в хозяйстве хорошим сторожевым псом.

Человека давно не кусали осы или пчелы, он и не помнил когда, так что этим укусом он был удивлен и встревожен. Купив груш и вернувшись домой, он даже записал в блокнот: «Сегодня, 3 июля, меня укусила в затылок оса. К чему бы это?»

Он еще не знал, что третье июля — это день рождения его будущей жены, с которой он познакомится через тридцать три дня. Он не знал, что впереди его ждут не телесно-античные удовольствия, а новый труд и новая борьба. Неужели умрут и эти годы нашего Человека, последние годы, отпущенные ему перед старостью? Неужели вереница дней и ночей будет подытожена осой у капли меда или варенья? О том не знает и серебряный набалдашник Аптов, не простивший Человеку черных испанских трусиков Афродиты из кордебалета. «Чем окончится, неизвестно, но пусть теперь трудится, — злорадно думал Аптов, — пусть вместо солнца в зените горит над ним электрическая лампочка ночных семейных отношений, пусть выбежит он босыми ногами на ночной снег, как выбежал когда-то я вслед за женой, собравшей свой чемодан, пусть свалится он после этого в психозе. Но не в психозе неофрейдистов и экзистенциалистов, а в нашем советском психозе профессора Мясищева, изгнавшего из советской психиатрии буржуазные теории и считающего, что психоз есть результат пренебрежения человеком коллектива, каковым является и советская семья. И пусть после этого жена, пользуясь связями папы-генерала, сдаст Человека в привилегированную кремлевскую больницу с черно-красной икрой к завтраку, в кремлевскую психлечебницу, где лечатся перенапрягшиеся на партийно-советской работе шизофреники. Пусть вылечат его там шведскими препаратами, после чего они с женой поедут туристами за границу на Олимпийские игры, где, дружно аплодируя, будут кричать «нашим парням»: «Мо-лод-цы!»

Да, так оно произойдет, так свершится, как задумал злопаятный покойник. Что защитит, что спасет беззащитного Человека? Опять ничто, кроме зеленого стебля легенды.

Нет, не побежит он босыми ногами по снегу, унижаясь перед беломясой, грудастой, попастой генеральской дочерью-сударыней, красавицей-барыней. Сам уйдет он в ночь, не взяв с собой ничего, с легкими руками, унося лишь на груди золотые овечьи глаза, завернутые в тряпицу. Будет искать он суженую свою повсюду и наконец найдет овечку свою, идущую мимо из-за слепоты своей. Тогда вытащит Человек тряпицу, развернет ее и вставит живые золотые глаза в пустые овечьи глазницы, в обглоданный волками овечий череп. Мигом покроется овца вновь мягкой шерстью и увидит его и скажет:

— Вот он, суженый мой. Пятнадцать веков я сидела у могилы твоей, где ты лежал удушенный, растерзанный на части за грехи твои и за беснование твое. Но разверзлась темница твоя, могила твоя, и пришел наш час. Вот солнце вечное, неподвижное горит над нами в зените...

Так шелестит зеленой листвой легенда. Мы, однако, знаем, что живем в мире, где восход солнца связан с его закатом. Удлиняются тени, кончается жизнь. Сдержим же и мы дыхание, глядя, как жизнь выходит за пределы вероятного, за пределы своего конца, туда, где затихают волны бытия и кроткая тишина нарушается лишь чудесным свадебным гимном в честь двух душ, мужской и женской, которые, пройдя через мучения, нашли друг друга.

Январь—февраль 1982 года
Западный Берлин

Ибо вижу я тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды.

Деяния апостолов

1

«Лето катится неудержимо, — думал театральный режиссер Ю., убирая после ухода гостей со стола на кухне пустую посуду и остатки еды, — невозвратно, необратимо, еще черт знает как», — думал Ю., гремя пустыми бутылками. Было две бутылки из-под крымского шампанского, бутылка из-под «Зубровки» и бутылка из-под «Саперави». «Некому бутылки убрать, живу один, — думал Ю., — три жены укатили невозвратно, неудержимо... Если б наподобие чеховской драмы «Три сестры» кто-либо написал бы «Три жены» — хороший получился бы спектакль».

От второй у Ю. рос любимый сын, мальчик восьми лет, третья ушла к молодому актеру. Он, Ю., ночью храпит, чешется, сморкается, а у молодого актера маленький, костлявый задок туго обтянут джинсами.

Ю. прошел темными комнатами. Три комнаты в центре Москвы, в старом барском доме — награда от Покровителя. Ранее квартира принадлежала известной театральной фамилии, вымершей без наследников и ставившей после себя хаос и запустение, как в усадьбах спившихся русских бар. Разбитый паркет, странные, пахнущие мочой пятна на стенах, кладовая, туго забитая пустыми бутылками из-под водки. (Только водка и никаких других.) Пришлось делать капитальный ремонт, начатый еще с третьей женой, собственно, ею и начатый, и оконченный уже без нее.

Ю. открыл балконную дверь. Балкон вкосу летел над ночной Москвой. «Ночь, улица, фонарь, аптека, — думал Ю., — упал, и нету человека». От выпитого с гостями алкогольного

разнообразия, от съеденных рыбных консервов и жирной колбасы, от ночной августовской сырости лихорадило, было тревожно, и опять чувствовалась, как уже неоднократно, какая-то близкая опасность, где-то, за чем-то или за кем-то скрывающаяся. Вот-вот должно было произойти нечто непоправимое. Но время шло, и непоправимое не происходило.

По своему происхождению Ю. был из бывшей черты оседлости, и эти места своего детства и юности он любил, хоть и не афишировал, карьеру же свою делал в самой гуще русского, национального искусства, сочетая хороший, мужской профессионализм с мягкой женственностью в обхождении с покровителями и врагами. Это умение Ю. вовремя сдаться, отдаться врагу своему с обаянием в духе истинно еврейского раннего христианства не раз спасало и позволяло добиваться удачи там, где, казалось, неизбежны были беды.

Так подружился Ю. с Кашлевым, сотрудником КГБ. Встречался Ю. с Кашлевым в одной из московских гостиниц, точнее, Кашлев встретился с Ю. В гостинице этой остановилась прибалтийская актриса, первая взрослая любовь Ю., начавшего карьеру в прибалтийском театре. Удивительное было время. Сколько горячих страстей, волнений, ночных прогулок по сухой, золотистой прибалтийской листве. И вот опять звонок, опять — привет из Прибалтики. Ю. тогда тоже был один, находился в промежутке между второй и третьей женами, жил далеко на окраине Москвы, снимал комнату в Нагатино. В номере у актрисы он засиделся, точнее, залежался допоздна. Вышел из номера глубокой ночью. Не успел спуститься на лифте, как дежурная по этажу позвонила и у выхода из лифта его уже ждали. Человек, ожидавший Ю., молча взял его под руку, крепко, точно клещами, и молча повел через вестибюль, так же крепко держа под руку. Но поскольку Ю. сразу же сдался, нажатие это несколько ослабело, и в дежурную комнату Ю. вошел уже добровольно, без внешнего принуждения. Так же, без принуждения, Ю. сам предъявил документы и на вопросы Кашлева отвечал дружелюбно. Лицо у Кашлева было русско-монгольское, кожа желтоватая, глаз косой, волосы гладко зачесывал назад, и, несмотря на сухое сложение, часто потел, вытирая платком шею и затылок.

Когда Ю. получил новую квартиру и развелся с третьей женой, Кашлев вдруг как-то позвонил ему. Начал захаживать на «кухоньку», кстати довольно обширную. Пил вначале умеренно и разговоры вел тихие, аполитичные, про то, как солонину из мясной дичи готовят в бочках в Сибири, или нечто подобное. Потом пить стал крепче. Однажды рассказал:

— В пятьдесят четвертом году многих работников органов уволили. Одних устроили на другую работу, а других и устраивать не стали — езжайте на периферию. Много было самоубийств. Друг мой, вместе в кабинете сидели, повесился в туалете. Я открыл дверь — он висит. Я перочинным ножиком веревку обрезал, он упал, я на него, как бы в обнимку, не удержался на ногах. Слышу, он как бы произнес «ох» или «ах» — шумно. Это в нем воздух застрял, а я думал — жив. Кинулся за врачом. Врач приехал, доказал, что друг мой еще в два часа ночи умер. А жена его потом на форточке повесилась.

От водки Кашлев пьянел умеренно, но как-то выпил бутылку дорогого французского шампанского и вдруг опьянел сильно. А опьянев, обозлился.

— Вы, — говорит он Ю., — нашего русского царя убили... Вы, международная жидня.

Ю. притих, съезжился от таких неожиданных для чекиста слов. С самого взбаламученного национального дна, видно, подняло эти слова французское шампанское. Сидел тогда Ю. в собственной «кухоньке», как на допросе то ли в ЧК, то ли в деникинской контрразведке. «Сейчас, — подумал в хмельном страхе Ю., — сомнет чекист, повалит на паркет и начнет хлебным ножом на коже красные звезды вырезать». Однако никаких дополнительных контрреволюционных слов Кашлев не произнес, ничем более он Ю. не угрожал. Оскотинился лишь сильнее обычного, ел сардины из баночки руками, а когда уходил, то поцеловал Ю. в подбородок мимо губ и ущипнул пальцами за зад. После его ухода у Ю. долго лицо горело огнем, как у девицы, которую барин обесчестил и которая только этим молчаливым стыдом своим в темноте где-либо, в закоулке, и может протестовать. До утра Ю. провел в глухой тоске, в отчаянии. Конечно, Ю. — известный столичный режиссер, у него высокий Покровитель, но Ю. знал, что есть некие зооло-

гические проблемы, которые и сам Покровитель старался обходить. Покровитель, при всех своих должностях и званиях, ведь тоже приемьш у этой власти, кровь его тоже не мазутом пахнет. А самое опасное в национальной зоологии — это обидать законных единокровных детей на свою родную мать.

Например, сидит на служебном входе вахтерша. Вахтерша вахтершей, а на праздник Победы две медали надевает: «За победу над Германией» и «За оборону Москвы». Ночью на крышах дежурила в сорок первом, зажигательные бомбы гасила песком, на руках ожоги имеются. Кстати, желтизной кожи Кашлева напоминает, но постарше. Если не в матери, то в старшие сестры Кашлеву годится. Ю. с ней отношения старался сохранять хорошие: и улыбнется, и здоровья пожелает. И она в ответ — того же и вам. Но вдруг окликнет:

— Вам сегодня с утра пьесу приносили.

— Кто?

— Не упомяну. Записала где-то на газетке, да найти не могу.

— Где же пьеса?

— Пьесу я не приняла. Мало ли пьес пишут, все принимать, что ли? Пришел не ласковый. Я тут тридцать лет сижу, а его первый раз вижу.

— Да кто ж приходил, Павлина Егоровна?

— Фамилия странная... Болезненная... Вроде бы простудная... Вот нашла на газетке. — Надевает круглые очки и читает как бы но складам: — Першингорл.

— Гершингорн, — хватается за голову Ю. «Гершингорна обидели, — с досадой думает Ю., — еле уговорил его принести, еле согласился. Поди теперь договорись с капризным талантом, поди уговори обиженное тщеславие. Зачем, зачем я попросил второпях принести пьесу в театр, а не ко мне домой? Гершингорн — нет, конечно, псевдоним необходим, но это уже второй этап. Главное, чтоб пьесу прочел Покровитель».

Пьесу Гершингорна читали у Ю. все на той же «кухоньке». Было время, интеллигенция собиралась в салонах под зеленой лампой, а на «кухоньках» лакеи щупали кухарок. Есть какой-то особый оскорбительный смысл в этом добровольном самовыселении нынешнего интеллигента-мещанина из собствен-

ных комнат на собственную кухню. Как дворянская эмиграция вспоминала с умилением брошенные барские усадьбы или брошенные хутора, так нынешние уехавшие в эмиграцию вспоминают брошенные московские и ленинградские «кухоньки». Сколько слабого, праздного, ненужного было в этом кухонном времяпрепровождении, а все же случались и на «кухоньках» трогательные, искренние моменты.

Когда Гершингорн окончил чтение пьесы, все сидели молча. Окна были распахнуты в теплый лунный вечер, и на кухне приятно пахло легким белым вином.

— Так он же Гоголь! — вдруг восторженно, романтично воскликнула пожилая дама.

— Нет, Чехов, — спокойно, бытово возразил ей молодой человек.

Приятно, приятно ласкать непризнанного гения. Как часто, пишет Шекспир, желая подчеркнуть торжество момента, «все уходит при звуках труб». Уходят, чтоб заняться текущими, живыми проблемами, а гений остается в своей неживой, разреженной, горной атмосфере, где дыхание затруднено, а состояние неестественно и напоминает длительную, непрерывную агонию со всеми признаками отсутствия бытового сознания и присутствия сознания потустороннего. Поэтому нужда в гениях гораздо меньшая, чем это кажется на первый взгляд. Особенно в непризнанных. Если уж ты гений, так сиди где-либо на недоступной высоте в альпийском замке своем или среднерусской усадьбе. А на этих непризнанных и доступных смотри со страхом и раскаянием, переходящим, как естественная реакция самозащиты, в дерзость и насмешку. «На свете счастья нет, но есть покой и воля». Преступник и гений, каждый со своего конца, лишают и покоя, и воли. Причем в наше-то беспощадное время, когда российскому интеллигенту хочется демократии хотя бы на собственной кухне. Тишины хочется, тишины, какая стоит где-либо на далеком болотистом пруду. Простоты хочется, чтоб все просто было, как утиное побрякиванье или свиное похрюкиванье.

Вот приезжает к Ю. Юра Борщенко — сокурсник по институту, провинциальный режиссер. В столице люди стареют быстрее, чем в провинции, может, потому, что в провинции все менее всерьез. В столице взрослые страсти, в провинции детские подражания.

— Ставил я пьесу на революционную тему, — говорит Юра, аппетитно жуя им же привезенную в подарок черкасскую колбасу, — обращаюсь в управление культуры, прошу тридцать винтовок. Бухгалтер управления пишет резолюцию: хрена — десять. Так и пишет: хрена. Прошу пять пулеметов. Пишет: хрена — один. Прошу двадцать сабель. Хрена — десять.

Ю. весело, вольно смеется, как не смеялся уже давно. Реденькие, седеющие волосы у Юры зачесаны через загорелую лысину, но глаза на одутловатом лице выпуклые, туманно-голубые, как у невинных младенцев. Когда Ю. засмеялся, засмеялся и Юра, но тут же закашлялся и кашлял долго, надсадно.

— Курить надо бросать, — говорит Юра, вытирая платком глаза, — да разве бросишь при такой жизни... На спектакле что получилось? За кулисами сутолока. Белые не успевают передавать оружие красным, красные — белым. В результате, когда те и другие одновременно вышли на сцену для рукопашной схватки, красные оказались безоружными, а белые с оружием. Мизансцена построена правильно: красный лежит на белом. Но красный без оружия, а белый с оружием. Вызывают меня в управление: «Ты, мать твою, что делаешь? Ты как революцию показываешь?» Я сразу бумагу с резолюцией: «Хрена!» Это спасло. А недавно попросил сто яиц для горизонта, сценической перспективы. У нас на дерюге горизонт делают: яйца, спирт, мыло, скипидар. Так спирт выпили, яйцами закусили, горизонт только из скипидара и мыла сделали. Он и облупился.

Юра уже давно уехал к себе назад в провинцию, к своим веселым бедам, а Ю. нет-нет да и вспомнит этот облупившийся горизонт из скипидара и мыла.

Вспомнил Ю. его и на заграничных гастролях в Западной Германии, куда театр отправился в июне. Везли несколько спектаклей, в том числе и его, Ю., спектакль-премьеру по Шиллеру. Ю. уже бывал за границей — в Югославии и Греции, но Германия произвела на него шоковое впечатление, тем более что видел он, как всякий турист или гастролер, лишь фасад, и фасад этот действительно был параден для российского человека. Улицы чистые, зеленые, аккуратно мощенные, без ям и колдобин. Люди на улицах друг на друга не грызуются, не подгоняют, не толкают. Кругом такое обилие, что жалко продавцов.

Ю. в свободное время ходил бы только и покупал в угоду вежливым продавцам, но расплачиваться было нечем, немецких марок выдавали мало, и Ю. берег их, в рестораны не ходил, питался на каждодневных приемах салатом, бутербродами и соками или легким кислым вином, рассчитывая купить себе приличные джинсы и что-либо сыну своему от второй жены. Германия вообще производит на российского человека впечатление большее, чем, например, Греция или даже Франция. Там совсем все чужое, а в Германии что-то родственное, что-то российское, но лучше, богаче, и есть надежда, что когда-нибудь и мы будем такими и у нас будет так. Особенно нравились Ю. немецкие вечера, когда люди в вольных, спокойных позах сидели за столиками на тротуарах под открытым звездным небом, чувствуя себя так же надежно, как дома, и давая тем понять, что весь город с его витринами, вывесками, автомобилями — это и есть их дом и здесь на улицах господствуют они, тихие мирные граждане, а не как в Союзе — хулиганы и милиционеры, перед которыми мирные советские граждане одинаково беззащитны.

Спектакль Ю. по Шиллеру немцам понравился, и на дискуссиях Ю., не нарушая долга советского гражданина, говорил только то, что немцам нравилось, вызывая аплодисменты. О спектакле написало несколько известных немецких газет, и в Дюссельдорфе к Ю. в гостиницу пришла немецкая журналистка брать интервью. Журналистка была женщина лет под тридцать, темноволосая, с длинными темными ресницами. Она была на голову выше Ю., который, впрочем, был ниже среднего роста. Звали журналистку Барбара. Джинсовая, светло-синяя, почти голубая куртка, белая спортивная рубашка свободно расстегнута, так, что мелькала сочная большая грудь, джинсы туго обтягивали окорока. Барбара прилично говорила по-русски, а недостающее Ю. заменял плохим немецким, который специально изучал, готовясь к Шиллеру. Впрочем, возможно это был отчасти и идиш, который Ю. знал со времен своей жизни в бывшей черте оседлости. Они с Барбарой проговорили больше трех часов, и чем больше Ю. говорил, тем меньше чувствовал стеснение. В интервью Барбаре Ю. сказал, что хочет продолжить работу над шиллеровской драматургией, поставить неоконченную драму Шиллера «Димитрий» на тему русского Смутного време-

ни. Это было смело для западного интервью, поскольку Ю. знал, что к его идее в инстанциях относятся неодобрительно. Русское Смутное время полно исторических параллелей, тем более если о русской Смуте пишет немец, а режиссировать хочет еврей. Но Ю. все же надеялся, как всегда, на Покровителя, который был не только директором театра, но и знаменитым актером, романтиком-резонером и которого Ю. надеялся соблазнить в который раз шиллеровской «Бурей и натиском». Заговорили о Шиллере, о бунтарстве в его драмах и вере в идеалы гражданской свободы, о его отношении к французской революции и якобинской диктатуре. Потом о женщинах, игравших и в жизни Шиллера, и в его драматургии роковую роль. Барбара рассказала, что студенткой писала работу о Шарлотте фон Кальб, приятельнице и любовнице Шиллера, в доме которой одно время служил гувернером поэт Гельдерлин. Ю. уже сидел рядом с Барбарой на гостиничном диванчике, как бы невзначай касаясь ее то коленкой, то рукой, вдыхая сладкий запах ее духов, которые надолго, может, навсегда будут ассоциироваться для него с запахом свободы. Кружилась голова, сохло в горле.

— Пойдем в кафе, — угадала его состояние Барбара, — пить хочется. И есть тоже.

Они встали и вышли из номера. «Хорошо, — думал Ю., — иду с женщиной по гостиничному коридору, и никто не смотрит мне вслед. Это и есть свобода, которая пахнет духами Барбары. О запахе свободы и должен быть мой спектакль», — думал Ю., пока он и Барбара ехали в лифте в свободном демократическом обществе японцев и каких-то англоязычных людей.

Но едва Ю. вышел из лифта, как его крепко, точно клещами, взяли под руку. Это был Кашлев. Ю. был ошеломлен лишь первое мгновение. Подсознательно он всегда чувствовал, что его могут взять под руку в Дюссельдорфе точно так же, как и в Москве. Вдруг вспомнился театральный задник, о котором рассказывал Юра Борщенко, горизонт-дерюга, пропитанная скипидаром и банным мылом, на которой намалевано восходящее солнце родной отчизны. Этот дерюжный горизонт всегда с нами, куда бы мы ни ехали и какие бы свободные сны нам ни снились, потому что наша свобода пахнет скипидаром и баннным мылом. Но Кашлев, опять Кашлев... Совпадение. Кто не

верит в совпадения, можно отослать в крымский, ялтинский газетный архив, пусть полистает «Ялтинскую правду» за июль семьдесят первого года. На последней странице одного из номеров помещено траурное объявление: «Выражаем соболезнование сотруднику ялтинского КГБ Льву Николаевичу Толстому в связи со смертью его жены Софьи Андреевны».

Ю. собственноручно вырезал это объявление и некоторое время веселил им на «кухоньке» друзей. Совпадения в этой жизни не так уж редки, однако во всяких совпадениях всегда второстепенные детали все-таки разнятся. Так, ялтинский Лев Николаевич отличался от яснополянского Льва Николаевича тем, что не Софья Андреевна его похоронила, а, наоборот, он Софью Андреевну. Второстепенными деталями отличался и дюссельдорфский Кашлев от московского Кашлева. В отличие от подобного же задержания в московской гостинице, когда на лице Кашлева была суровая месть пролетариата буржуазно-мещанским радостям, недоступным ему, теперь Кашлев улыбался улыбкой Молотова на Потсдамской конференции. Одет теперь Кашлев был в недорогой, но приличный костюм серого цвета. Светло-голубая рубашка повязана зеленым галстуком. Из верхнего карманчика пиджака торчит кончик зеленой, под цвет галстука, расчески. Кашлев лишь первые мгновения железной хваткой держал Ю. под руку, затем отпустил и железной хваткой пожал руку.

— Не ожидали? Я слышу, дойче с недойчами разговаривают, думаю, посмотрю соотечественника.

Кашлев уже несколько месяцев не звонил и не появлялся на «кухоньке», куда любил наведаться, выпить и закусить. Но это еще черт с ним. Главное, чего боялся Ю., — это чтоб кто-либо из приятелей не застал Кашлева. Поэтому Ю. придумывал разные причины, просил всех предварительно звонить.

— Вы здесь, как я понимаю, первые дни, — сказал Кашлев, — а я уж три месяца. Работаю в Союзвнештрансе. Я ведь в юности ПТУ кончал, работал слесарем на Красноярском машиностроительном заводе имени Ленина.

Они втроем вышли из гостиницы. Был уютный теплый немецкий вечер. Пахло липами. Повсюду в ресторанах и кафе, за столиками, прямо под открытым небом, в свободных, спокойных позах сидели люди, говорили меж собой, смеялись, ели и пили. Уярко

освещенных витрин стояли проститутки с голыми загорелыми ляжками или в туго обтягивающих ляжки блестящих брюках.

— Извините, и курвы здесь не то, что у нас, — сказал Кашлев.

О семейной жизни Кашлева Ю. ничего не знал, женат ли он. Но по какому-то особому блеску глаз Ю. догадывался, что Кашлев испытывает сексуальный голод. Однажды Кашлев заговорил с Ю. о какой-то актрисе из «балетного театра». Спросил, знает ли ее. И в разговоре этом чувствовалась завистливая обида на недоступную женщину. «Пока они там в балете подыхающего лебеда танцуют, ты тут вертись, хоть сам подыхай». Сейчас, идя по уютной, демократически обжитой людьми улице, среди сладкого запаха лип, Кашлев, видно, тоже, хоть и по-своему, вдыхал воздух свободы, свободы от поводка, когда хочется просто так побегать без цели или упасть на спину, задирая лапы, кувыряться, распрямляя затекшие от служебного порядка мышцы.

— А немочка ничего, — шепнул Кашлев Ю., прижав свои губы вплотную к уху. От него пахло по-прежнему хамски, но уже на немецкий манер: пивом и чем-то свиным и капустным. — Немочка ничего. Лицо у нее желто-медовое и тает, как пончик.

«Быстро же они здесь разлагаются, — подумал Ю., — гораздо быстрее, чем мы, интеллигенты. У нас, интеллигентов, чувство родины сильнее развито. Культуры в чемодан не упакуешь, а они едут с рюкзачком, сало с картошкой меняют на сосиски с капустой».

— Нравится вам у нас? — спросила Кашлева Барбара, которая, кажется, с опозданием, но начала постигать происходящее.

Кашлев подмигнул Ю., улыбнулся, раздвинул руки и запел: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек».

«Возможно, провоцирует, — подумал Ю., — но ведь провокаторы как раз часто и бывают перебежчиками».

Они свернули в тихий, малолюдный переулок и уселись за столик в маленьком ресторанчике.

— Русской водки здесь нет, — сказала Барбара, листая шпайзекарте, — выпьем нашей, немецкой водки? Господин Кашлев, выпьете доппель-корн?

— Выпьем, — сказал Кашлев, — как говорится, на безрыбье и рак свистнет. — Он засмеялся.

Барбара подошла к бару, начала о чем-то тихо говорить по-немецки с хозяином. Ю. потянулся к своему кошельку, где лежали жидкой стопкой выданные марки, но Кашлев положил руку на его кошелек.

— Что ты в своих марках копаешься, — как заботливая строгая нянька, сказал Кашлев, — знаю я, какие ломаные гроши нашему брату за границу дают. Пусть немка платит, у нее валюты много.

— Что будем кушать, — спросила Барбара, возвращаясь и садясь за столик, — вот бифштекс по-гамбургски или короунблянц?

— Короунблянц — это что? — спросил Кашлев.

— Это фаршированная телятина.

— Годится, — сказал весело Кашлев и подмигнул Ю.

Хозяин принес на подносе два доппель-корна и белое мозельское вино для Барбары. Поставили три салата.

— Фройндшафт, — сказал Кашлев, чокнулся с Ю. и Барбарой и начал копаться в салате. — Хлеба бы дали поболее, да не такого черствого. Еда и выпивка у них хорошая, а хлеб в ресторанах подают плохой, черствый.

Хозяин принес фаршированную телятину, большие, остро пахнущие горячим жиром и приправой куски с картофелем во фритюре с горошком.

— Это уж не знаю, как подступиться, — сказал Кашлев, — с какой стороны атаковать.

— Вы разрежьте, — сказала Барбара, — телятина, фаршированная свиной и голландским сыром.

Принесли еще доппель-корна. Кашлев выпил свой стакан залпом, потом наклонился к Ю. и громким шепотом попросил узнать, где туалет.

— Мимо бара налево, — ответила Барбара.

— Данке, — сказал Кашлев и пошел, спотыкаясь левой ногой о правую. — Я сейчас вернусь, — сказал он Ю.

— Пойдем, — шепнула Барбара Ю. и взяла его за руку.

Они встали, и Барбара на ходу сунула деньги хозяину.

От теплой тьмы, от близости красивой женщины, пахнущей свободой, от выпитого, от того, что избавился от преследующе-

го по пятам отечественного крепостного хамства, Ю. не ощущал тяжести своего тела, и казалось, что тело его рабски осталось сидеть, ожидая возвращения Кашлева из туалета, а убежала только невесомая облачная душа. Еще шаг, еще шаг — и головой пробить тряпку, пропитанную облачной душой без тела своего? Без большой московской квартиры, без Покровителя, без будущей шиллеровской премьеры? Ю. остановился.

— Барбара, — сказал Ю., — помнишь, у Гельдерлина: ночь выплачивает свои сокровища... Und ihre schätze die Nacht rallt... Лунный свет ночь выплачивает, как кассир золото... Ты, Барбара, мое сокровище, которое выплатила мне немецкая ночь...

— Я тебя люблю, — сказала Барбара, длинные ее ресницы затрепетали, и от трепета этих ресниц повеяло прохладным, свежим воздухом задеряжного пространства.

Еще полшага... Но уже бежал сзади, цепляясь за деревья, Кашлев, уже дышал в затылок. Уже тяжелое, рабское тело прочно поглотило облачную душу. Еще все было рядом, но все уже было позади. «„Я тебя люблю“ — что значит эта фраза из немецко-русского разговорника для Барбары? Может, это значит: я хорошо провела с тобой время. Спасибо. Или: я знаю, тебя теперь ждут тяжелые времена, я тебе сочувствую. Нет, не этой скучной фразой хотелось бы мне проститься с Барбарой».

— От имени КГБ я разрешаю вам ее поцеловать, — сказал вдруг Кашлев слова, надолго запомнившиеся, неприятно удивившие и особенно напугавшие, потому что либерализм в палаче пугает еще больше, чем жестокость.

Барбара быстро шагнула к Ю., поцеловала его в щеку и исчезла, растворилась в теплой тьме. В последний раз ощутил Ю. нежно-сладкий запах свободы...

Спустя два дня Ю. уже спал в своей большой московской квартире. Он вылетел в Москву, прежде чем кончились гастроли, сказавшись больным. Кашлев проводил его до аэродрома.

2

После случившегося в Дюссельдорфе Ю. ожидал «ликвидации последствий». Но никаких последствий не было. Наоборот, в кабинете у Покровителя состоялся обнадеживающий

разговор по поводу драмы Шиллера «Димитрий». Большое значение в этих надеждах сыграл успех шиллеровского спектакля Ю. на гастролях в Германии. Вдохновленный и успокоенный, вышел Ю. от Покровителя. Секретарша Покровителя Анна Тимофеевна как бы эхом повторила комплименты Покровителя об успехе спектакля в Германии и попутно дополнила интимным шепотом, что бумаги, посланные в министерство для присвоения почетного звания, почти утверждены, остались небольшие формальности. Появилась вторая секретарша Люся с мороженым, которое она ходила покупать для Покровителя. Проходя в кабинет Покровителя, она улыбнулась Ю. и попросила его задержаться. Вскоре, вернувшись, Люся сообщила, что звонили из Дома дружбы с зарубежными странами. Его, Ю., выдвигают в Общество советско-арабской дружбы. Точнее об этом можно справиться у доцента Попова из театрального института. «Вот оно пришло, но с неожиданной стороны, — подумал Ю., — вот она, плата». Ю. знал, что из себя представляет Дом дружбы с зарубежными странами и тем более Общество советско-арабской дружбы. Знал и кто такой доцент Попов, нынешний секретарь парторганизации театрального института.

Попов, лохматый, с проседью, сутулый мужчина тяжелого веса, похоже, астматик, судя по цвету лица, — был человек влиятельный, со связями в ЦК и Министерстве культуры. В июне, перед самыми гастролями, Ю. присутствовал в театральном институте на вечере солидарности с жертвами израильской агрессии. Не прийти — значило проявить солидарность с Израилем. В своей вступительной речи Попов говорил чуть-чуть жестче, чем писалось на эту же тему в газетах. Вместо «израильский агрессор» он употребил выражение «израильский враг». Более того, Попов даже публично покритиковал некоторых журналистов-международников, которые постоянно в газетах употребляют выражение «арабо-израильский конфликт».

— Конфликт, — сказал Попов, — это равная ответственность сторон, меж тем как налицо преступная политическая уголовщина израильского врага по отношению к честному, трудолюбивому арабскому народу.

Потом на сцену выпорхнула блядюшечка в русском сарафане и кокошнике на пшеничных волосах.

— Выступает сводный хор левого и правого берега реки Иордан, — объявила она сормовским звонким гудочком. — «Ревет та стогнет Днипр широкий». Песня исполняется на арабском языке.

И гортанно заревел, застонал по-арабски Днепр, побратим арабского Иордана. В сводном хоре обоих берегов реки Иордан выступали не только студенты-арабы из разных арабских стран, но также и осетины, азербайджанцы, туркмены. Таков был идейный замысел Попова, который, как Ю. слышал, работая в Совэксспортфильме, участвовал в пятьдесят пятом году в дубляже на арабский язык пропагандистского фильма Геббельса «Еврей Зюсс». Фильм потом был послан в арабские страны. Вот кто таков был доцент Попов.

После арабского хора выступил жидковолосый русак, который читал свои стихи, жестикулируя кулаком, оглушенный собственным криком: «Что ты врешь на иврите про Россию мою...» Поэт раскатисто, напевно рычал в-р-р-р-р-р в умело сопоставленных, близких по звучанию «врешь» и «иврит». И далее — п-р-р-... р-р-р-... Влажный чуб вкосу через лоб падал на бешеный бычий глаз. Вдохновленный продолжительными аплодисментами, поэт сменил сторожевое рычание радостным визгом у сапога хозяина.

— «В семье единой!» — объявил он звонко. — ГБ Украины, ГБ Белоруссии, ГБ Казахстана, эстонцев ГБ. О первом из равных слагаем былины — о русском, советском, родном КГБ...

Вот в какой семье предстояло находиться отныне Ю. в качестве троюродного приемыша доцента Попова...

Как-то Ю. увидел Попова в театре, куда тот зашел, очевидно, по делам общественным.

— Иван Макарович, — сказала Попову, сладко улыбаясь, Анна Тимофеевна, — вам Насер звонил...

«Какой Насер? — в недоумении подумал Ю. — Гамаль Абдель звонил Попову сюда, в театр? Непостижимо. К тому же, слава Богу, Насер уже мертв».

— Да, — подтвердила Люся, — вам Насер Иванович звонил, искал вас.

Оказывается, Насером Попов назвал своего сына, и этот сын-подросток звонил в театр, зачем-то разыскивал отца. Много знал Ю. о Попове. Много, но не все. Не знал Ю., что

у Попова помимо общих были еще и личные причины ненавидеть евреев.

Происходил Попов из очень набожной православной семьи тамбовских мещан. Отец его, Макар Попов, был церковным старостой, сам же Иван обладал хорошим звонким голосом и в детстве пел в церковном хоре. Потом, в начале двадцатых, церковь закрыли, имущество конфисковали. Мать, и прежде не слишком здоровая, кликушествовала по церквям, просила подаяние. Но сам Попов, к тому времени молодой крепкий парень, каким-то образом репрессий избежал, пошел работать на завод в дизель-моторный цех. Работал хорошо, стал ударником труда, комсомольским активистом и даже сам участвовал в антирелигиозной пропаганде, в закрытии церквей и снятии крестов с могил. Увлекался и комсомольским искусством, пел в хоре, рисовал карикатуры. Однажды в городской газете была помещена его карикатура: четыре брюхатые монашки лежат в роддоме, и над каждой кроватью надпись: от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна. Прошлое Попова, казалось, прощено и забыто. Но вдруг Соломону Шнайдеру из комсомольского ансамбля «Легкая кавалерия» за чем-то понадобилось копаться в этом прошлом. На вечере активистов Шнайдер выступил с разоблачительными стихами:

Давно ль Попов с попом в обнимку
Справлял то свадьбу, то поминку.
Теперь Попов попа за шкирку
И в лацкане проделал дырку
Для комсомольского значка... Ха-ха.

И не имело значения, что следующий свой куплет Шнайдер прочел, обращаясь к набожному еврею:

Пейсы сбрей, сними ермолку,
Возьми в жены комсомолку.

Выпад Шнайдера в свой адрес Попов воспринял как доказательство травли евреями русских. После выступления Шнайдера у Попова возникли некоторые трудности, но не надолго. Тогда уже начиналась сталинская, антитроцкистская кампания, в которой ис-

подволю проступали антисемитские мотивы. Попов воспринял эти мотивы с истинно церковной страстью. И действительно, в его юдофобстве чувствовалась какая-то религиозная бескомпромиссность. Когда же внутренние многоликие юдофобские способности совпали с внешними имперскими потребностями на Ближнем Востоке, положение Попова стало особенно прочным.

Вот что надвигалось на Ю., на его жизнь, на его блага, на его удачи, потому что все, чего добился до сих пор Ю., было связано с его способностью балансировать, теперь же от него требовали сделать бескомпромиссный шаг. И, как всегда в ту-пиковой ситуации, Ю. бросился к Покровителю.

Покровитель молча слушал путаные, неубедительные объяснения Ю., из которых сам Ю., слушая себя, мог бы заключить, что это говорит слабый, беспорядочный и неправдивый человек. Пока Ю. таким образом объяснял, почему он не может войти в Общество советско-арабской дружбы, Покровитель пил чай с лимоном, который подала ему Люся. По своему актерскому амплуа он был резонер, хоть начинал свою карьеру как герой-любовник. У него были светло-серебряные волосы поседевшего блондина и в лице нечто львиное, царственное, что-то от бронзовых львов, однако выцветшие глаза были бойкие, подвижные, взгляд осмысленный.

— Но ведь это интернационализм, — сказал Покровитель, когда Ю. кончил наконец говорить. Покровитель сразу усек суть проблемы. — Вам это поможет, — добавил он, — это очень почетно.

И Ю. вдруг подумалось, что если не сам Покровитель выдвинул его кандидатуру в Советско-арабское общество, то по крайней мере он в этом деле принимал участие. Покровитель был уже стар и болен. Поднося стакан чая с лимоном к губам, он морщился, очевидно, побаливал позвоночник. «Этот старый русский интеллигент, старый русский актер все понимает, — подумал Ю., — но он живет согласно обстоятельствам и хочет помочь мне также жить по обстоятельствам. Потому мое нынешнее поведение ему особенно неприятно... Что сказать», — думал Ю., мучительно перебирая аргументы и ничего не находя.

— О людях судят по их поступкам, — сказал Ю., — поэтому лучше отказаться, чем совершить поступок, к которому не готов.

Политическая обстановка в арабском мире сложная, об этом пишут наши газеты. Коммунистические партии во многих арабских странах запрещены. Слышал я также неофициально, что присвоение Насеру Героя Советского Союза было волюнтаризмом.

— Вы должны изложить свои аргументы тем людям, которые вам предложили войти в общество, — сказал Покровитель. Он сделал еще несколько глотков, морщась, допил чай и добавил, укоризненно покачивая головой: — Не очень, не очень...

От Покровителя Ю. вышел еще более встревоженным. Лег он необычно для себя рано, в полночь, но не спалось. В два часа ночи позвонил Авдей Самсонов, Авдюша, лет десять назад популярнейший писатель молодого, атакующего, поколения. Ныне, к семьдесят третьему году, популярность эта увяла, но люди, подобные Авдюше, были по-прежнему известны, с прочными связями, с крупными покровителями и, в отличие от Гершингорна, которого не приняла вахтерша, принимались в достаточно высоких инстанциях. Авдюша только вчера вернулся из Приэльбрусья и теперь хотел зайти к Ю., поговорить о замысле новой пьесы. Ю., сославшись на болезнь, предложил перенести встречу дня на два.

— А что с тобой?

— Разваливаюсь по частям, — сказал Ю., — сердце, печень, желудок... И вообще трудно живется.

— Могу занять тысячу, — сказал Авдюша.

— Нет, у меня не материальные, а психологические трудности.

— Извини, психологию занять не могу. Тем более что я теперь увлечен сатирическим символизмом, а не психологией. Есть интересный замысел о современном советском Дон-Жуане — Иване Донцове, но именно в духе сатирического символизма...

Проговорили до трех. В три Ю. принял освежающий душ и улегся на диване, а не на широкой постели, где он еще не так давно спал со своей третьей женой. На диване лежать было прохладнее, чем на мягкой широкой постели. Сколько на этой широкой постели третьей женой было пролито слез, сколько криков, сколько проклятий. С тех пор он полюбил диван. Но сегодня и на

диване что-то давило в поясницу. Нашарил рукой таблетки от головной боли. Сердито бросил их на полочку, прибитую над диваном, и тотчас же получил с полочки ответ цветочной вазочкой по голове, которую сбил слишком размашистым, неловким движением. Выругался, бросил вазочку в сторону, разбил. Пошел на кухню, взял веник, подобрал осколки. Заснул под утро. Утром ел без аппетита, слюна во рту была какая-то пенистая. Съел немного, а было такое чувство, будто объелся, давило под ребра. Отрыгнул два раза, но пустым воздухом, без запаха съеденной пищи.

Звонить в Дом дружбы с зарубежными странами решил из автомата. День был жаркий, уже с утра шел, потяя. Дошел до Арбатской площади, сел в маленьком скверике, рядом с памятником печальному Гоголю, с полчаса погрузили вместе. Вспомнилось гоголевское: о, Мольер, великий Мольер! Ты, который так обширно и в такой полноте развивал свои характеры... И ты, благородный, пламенный Шиллер, в таком поэтическом свете высказывавший достоинство человека...

Мимо скверика шла знаменитая арбатская сумасшедшая. Ю. не любил сумасшедших и опасался их. Только внутренне уверенные в себе люди радуются, увидев сумасшедшего. Сумасшедшая была седая, лет шестидесяти. На голове ее белая кепка от солнца, на шее стеклянные бусы, на груди комсомольский значок.

— Сталин умер в пятьдесят третьем году, — весело кричала сумасшедшая, — ну и что? А теперь сперва... — она грязно выразилась, — сперва... А потом женятся.

За сумасшедшей бежали дети, смеялись, показывали на нее пальцами. Прохожие вокруг улыбались. Ю. ушел из скверика. За сквериком в тупичке был телефон-автомат, о котором мало кто знал, и он чаще других пустовал. Сейчас телефонная будка также была пуста. Ю. вошел в будку, вынул бумажку, на которой был записан номер, набрал, назвал себя. Ответил любезный голос:

— Мы знаем, Иван Макарович передал нам список новых членов общества.

— Простите, с кем я говорю?

— Моя фамилия Щербань, — ответил любезный голос.

— Товарищ Щербань, я много думал по поводу этого предложения, и я глубоко благодарен людям, оказавшим мне дове-

рие. Но учитывая сложность политической ситуации на Ближнем Востоке и мою политическую неопытность...

— Да или нет, — перебил голос, который, судя по тембру, несомненно принадлежал Щербаню, но вдруг совершенно преобразился, утратил мягкость, любезность и стал жестким, уличным, еще чуть-чуть пожестче, поуличнее — и этим голосом уже можно будет кричать то, что они обычно кричат.

— Да или нет?

— Нет.

Ту-ту-ту-ту...

Ю. повесил издающую частые гудки трубку и вышел из телефонной будки. «Вот и все, — с облегчением подумал он, — механические звуки». Ю. с трепетом ожидал членораздельных обличений, но ему ответили невинными механическими гудками, потому что он впервые публично сказал «нет».

И опять Ю. начал ждать «ликвидации последствий». Прошел день, прошло три дня, прошла неделя, последствий не было. Вдруг среди почты — открытка. Светло-голубое небо над разноцветными в два-три этажа игрушечными домиками, желтые и красные тенты над витринами в нижних этажах этих домиков, заботливо выращенная зелень южных деревьев, аккуратно округлых или аккуратно продолговатых, теплая рябь темно-голубой воды, подступающей к каменной набережной песочного цвета, и вместе с шеренгой белых, явно ручных лебедей у набережной на ряби этой плещется составленное из по-лебединому белых латинских букв название маленького немецкого городка на швейцарской границе, где отдыхает Барбара. «Да, в свободе есть что-то игрушечное, может, поэтому она бывает так уязвима и так непрочна, в то время как в нашей жизни все всерьез». По-русски Барбара говорила, хоть путала слова и понятия, но писать, очевидно, не умела. Открытка была заполнена немецкими округлыми буквами, и Ю. представил себе, как Барбара писала, сидя у окна какого-либо из этих игрушечных домиков, глядя на лебедей и на теплую темно-голубую рябь. «Ночь, ледяная рябь канала, — вспомнил Ю. блоковское, — у нас повсюду ледяная рябь, даже в Крыму... Холодная, старческая кровь...»

Дать прочесть эту открытку кому-либо знающему немецкий язык Ю. не захотел, достаточно уже, что по этим волнующим серд-

це буквам шарил глаз почтового цензора. Ю. взял немецко-русский словарь и с трудом, кое-что читая, кое о чем догадываясь, узнал, что Барбара помнит его, надеется на новую встречу и грустит, что сейчас он не рядом с ней на этом озере. Озеро называлось Бодензее, то есть Нижнее озеро. «Все-таки время не пропало даром, — думал Ю., — даже в тепловатые хрущевские времена такую открытку могли бы не пропустить, и получатель мог бы иметь неприятности. Теперь же время застойное, то есть центровое. Ни шаг влево, ни шаг вправо. Дюссельдорф не имел последствий, и, кажется, не имеет последствий мой отказ участвовать в советско-арабской дружбе. Никаких последствий, кроме личной утомленности, дурного сна и частого покаявания в сердце. Надо бы в отпуск, и если нельзя на Бодензее, то хотя бы в Крым».

В этом году Ю. отпускное время пропустил из-за разнообразных хлопот. Многие приятели или в отпуску, или уже вернулись. Придется ехать одному. Что ж, в этом есть свое преимущество, полная отрешенность где-нибудь подальше, в крымской глуши. И Ю. начал хлопоты. Вскоре через профком театра он уже взял путевку в небольшой крымский дом отдыха. Путевка была с двадцатого сентября. Теперь надо было еще достать хороший билет, чтоб ехать прилично. Но это Ю. предпочел сделать не через профком, а частным образом. Он сначала созвонился, а потом заехал на работу к Вадиму Овручскому, своему приятелю, хореографу известного московского ансамбля. У Овручского каким-то образом были хорошие связи с железной дорогой.

В репетиционном зале пахло смесью парфюмерии и пота. Русокудрый, похожий на Есенина танцор в черной потной майке и черном, туго обтягивающем мускулистые ноги трико стучал каблуками. Черноглазый, с типично семитским обликом Овручский хлопал в ладоши и выкрикивал:

— Опа-опа-опа-опа-опа-опа... Молодцом! Гоп-опа-опа-опа-опа... Молодцом!

Увидев Ю., Овручский сунул ему потную ладонь труженика и автоматической скороговоркой спросил:

— Как дела?

— Двигутся, — дипломатично ответил Ю.

— У одного дела движутся со скоростью света, а у другого — со скоростью того света, — пошутил Овручский. — По-

дожди минут пять. — Он подбежал к другой паре танцоров. — Скомороший перепляс, — выкрикнул весело Овручский. — Егорка и Митяйка... Егорка в костюме барина плетет кренделя. — И Овручский умело пошел вприсядку, выкрикивая: — Эх, есть! Эх, есть! Эх, есть! Эх, есть... Митяйка подыгрывает на балалаечке и подпевает. — Овручский руками изобразил балалаечку и запел: — Так танцует ваша честь! Так танцует ваша честь!

Наконец Овручский вернулся к Ю., тяжело дыша и утирая потное лицо полотенцем.

— Ты едешь двадцатого? — спросил он.

— Нет, девятнадцатого, — ответил Ю., — с двадцатого у меня путевка.

— Ну, не важно. Четырнадцатого сентября позвонишь по телефону... — Он вынул из портфеля блокнот. — Записывай: 221-65-48. Записал? Попросишь 00-52. Андраш Михаил Яковлевич. Он тебе заказал на 169-й поезд. Выходит в 12.50 дня, на месте в 11.00 утра. Десятый вагон, двадцать пятое и двадцать шестое места. Все понятно?

— Все понятно. Спасибо, Вадим. Но мне нужно одно место.

— Как, ты едешь без молодой жены?

— Я развелся.

— Ну, извини, за тобой не уследишь. — И тут же, обернувшись, закричал танцору: — Коля, специфику! Дай специфику! Коленца, коленца... Настя, улыбочку держи, улыбочку... Играй ногами. — И сам Овручский, надев на лицо улыбочку, пошел на играющих ногах. — А я по лугу, а я по лугу, да я по лугу гуляла, да я по лугу... раз, два, три...

Незадолго до отъезда в Крым к Ю. зашел Авдей Самсонов, Авдюша. Принес наброски пьесы «Иван Донцов» о современном советском Дон-Жуане. Сидели на «кухоньке», ели заказанные в ресторане на дом блины с красной икрой, пили водку и шампанское. Авдюша с веселым вдохновением говорил о себе. Называл известные театральные имена.

— Такому-то показывал черновой вариант — завелся, такому-то — загорелся, такому-то — выпросил экземпляр, начал самостоятельно репетировать.

— Гениально, — перелистывая черновик, говорил Ю., — есть легенда о Дон-Жуане Байрона, Мольера, Пушкина... Блок писал, Алексей Толстой писал... Авдей Самсонов — почему бы нет? Скромность в творчестве — не моцартовское чувство. А сколько лет, Авдюша, твоему Ивану?

— Разве это важно, — вдруг насторожился Авдюша.

— Важно... У Пушкина Дон-Жуан молодой, у Мольера старый.

— Мой Иван средних лет, наших лет, вокруг сорока.

— Гениально, — повторял Ю., — не представляю, правда, как у нас в театре отнесутся. Знаешь специфику нашего театра... Традиция, русофильство.

— А это пьеса очень русская, — парировал Авдюша.

Ю. листал рукопись, вычитывал куски.

— Замечательно, — засмеялся Ю. — Вот: «Иван (гневно): Говно!» Гениально, как хрюканье. Я вообще считаю, что некоторые ремарки надо сохранять на сцене... Недавно читали мы здесь пьесу Гершингорна... Знаешь его?

— Знаю, — ответил Авдюша, — талантливый парень. Такой местечковый Шагал с чесночком. Его Олежек очень метко обозвал: Першингорл. — Авдюша засмеялся.

— Какой Олежек?

— Из Сатиры. У меня там мюзикл начинают репетировать. Назывался «Трое на одной тахте». Конечно, название поменяли. Писал тоже в стиле сатирического символизма. Роли выписывал специально на актеров. В роли Заходящего Солнца Аглая Преображенская, по кличке Преображенская.

Посмеялись. «Першингорл, — думал Ю., — как это распространилось в театральной среде? Наверное, я где-то пьяный проболтался. Ах, свинья».

— Дон-Жуан вообще тема символическая, — сказал Ю., — особенно финал, появление фигуры Командора.

— В финале у меня как раз символики не будет. Скорей, бытовая фантастика. Когда Иван завлек молодую девственницу в постель, предвкушая удовольствие, юная девственница вдруг крикнула ангельским голосом: «Крекс, фекс, пекс», — хлопнула в свои маленькие розовые ладошки и превратилась в огромного волосатого мужика, такой кипплинговский образ. В нем

должно быть нечто звериное, искреннее, лесное. Он приходит восстановить справедливость, приходит в постель к Ивану.

— Этот поворот опасен, — осторожно сказал Ю., — могут приписать не только сексуху, педерастию, но еще черт знает что политическое.

Авдюха затихает, сидит, молчит. Постепенно он мрачнеет.

— Ужасное время, — говорит Авдюша, — всюду застои, скука, холодное безразличие, нынешняя молодежь лишена даже любопытства. Выступаешь где-нибудь, вопросов не задают; кажется, нет на свете ничего такого, что могло бы их расшевелить. И над всем царит тупая, обывательская надменность... Тяжело...

Вышли на балкон. Балкон делал свой очередной виток над ночной Москвой.

— В Москве новый роман пошел по рукам, — сказал Авдюша, — называется «Обглоданная кость» с подзаголовком «Собачья жизнь одного человека». Первая часть — «В конуре», вторая часть — «На случке». Я считаю автора яркой восходящей звездой первой величины в новой русской прозе... Не читал?

— Еще не читал, но название гениально — «Обглоданная кость».

Стояли, вцепившись в поручни, смотрели в московскую тьму.

— У меня в Госкино сценарий зарезали, — сказал Авдюша, — там теперь в главке новое начальство. Василий Блинок из Белоруссии.

— Какой Блинок?

— Автор популярной солдатской песни «Портяночки» и романа «Беседы у пулемета». Активист Воениздата.

— Хорошее шампанское, — сказал Ю.

— Да, кружит голову, — ответил Авдюша и наклонился через балконные поручни. — Хорошо бы упасть, — вдруг повторил Авдюша мысль, которая иногда приходила и самому Ю. здесь ночью на балконе, — хорошо бы упасть, но по-горьковски, не убиться, а рассмеяться...

Рассмеялись, потом помолчали.

— Иногда кажется, — сказал Авдюша, — что шестидесятые годы были не десять лет назад, а по крайней мере сто лет прошло с тех пор. Эпоха минула... Как нас тогда ругали. Боже мой, как нас тогда ругали в Кремле. Какое время было счастливое...

Ехал Ю. в Крым в мягком вагоне образца 52-го года, дату он прочел на табличке, привинченной в купе. В вагоне все скрипело, дребезжало, стучало, занавески на окнах были тяжелые и пыльные. Соседи по купе — обычные осколки чужой жизни: женщины, мужчины, пожилые, молодые, капризные от дорожной неустроенности дети, запах крутых яиц и чесночных котлет, проводник с жидко заваренным чаем в лихо заломленной, по-кавалерийски, набекрень железнодорожной форменной фуражке. Едешь один, вокруг ни одного лица, с которым можно нормальным словом обмолвиться, не знаешь, куда себя деть, как сесть. Облокотившись о столик локтями, смотришь в окно — надоедают телеграфные столбы, откинешься, упрешься спиной — внутренняя обстановка в купе надоедает еще больше. А тут еще ноги в носках с верхней полки, свесившись, спрашивают, какая станция и сколько стоим. Отвечать не хочется, делаешь вид, что дремлешь. Но главные мучения предстояли ночью. В вагоне холодно, диван твердый, хоть и оплачен как мягкий, и под головой твердый валик. Выбросил валик на пол — стало чуть полегче, задремал, хоть и не надолго. В шесть утра встал с гудящей головой, со щемящими от бессонной ночи глазами, с першащим горлом. Вспомнилось: Першингорл. Улыбнулся. Ночь позади, север позади, скоро Крым.

Но что такое Крым? Это жаркое сентябрьское солнце, пыль, душное такси, пахнувшая чернилами контора профсоюзного дома отдыха, скрипучая, продавленная множеством тел койка, застланная свежим казенным бельем. И так продолжается неуют до тех пор, пока, следуя указателю «На пляж», по тропке через парк, через запахи южных цветов не приходишь к морю.

Ю. по возможности решил общаться только с морем, однако прошло несколько дней, и он уже был знаком с некоторыми отдыхающими, уже разговаривал с ними Бог знает о чем. В обеденном зале Ю. сидел с директором конторы Туркментекстильторг Чары Тагановичем. Чары Таганович жаловался:

— Крым — золотой сосуд, наполненный говном... Где прухты и овочи? Где? Завтрак — каша, обед — лапша. Дыля шахтеров питание.

Столики в столовой стояли в два ряда, посередине был устный дорожкой проход. Параллельно со столиком Ю. через дорожку у окна под фикусом сидели трое шахтеров из Караганды. Держались они всегда тройкой, приходили тройкой, уходили тройкой, на пляж шли тройкой. И шли всегда в определенном порядке. В центре высокий, жирный, главный, очевидно, среди них авторитет, лицо имел постоянно серьезное; второй, невысокого роста, наоборот, часто улыбался, и лицо у него было точно без кожи, красное, мясное, может, обмороженное; третий был какой-то безликий, Ю. его не помнил, наверное, оттого, что он сидел постоянно к Ю. спиной, тогда как краснолицый сидел анфас, а жирный — в профиль. И разговаривал жирный чаще с краснолицым, чем с безликим, губы серьезно шевелились, точно жирный краснолицему выговаривал или что-то ему объяснял. Ю. никогда к карагандинцам не приближался, никогда не слышал, что они говорят, а если карагандинцы встречались с Ю. в парке на аллее, то проходили мимо, не глядя и не здороваясь. И Ю. сразу понял: эти зоологически бескомпромиссны. Особенно жирный пролетарий, который явно имел на двух других влияние. Ю. тоже старался их сторониться, а однажды, когда случайно оказался недалеко, вдруг испытал томящее ощущение в полости живота, какое случается во время качки при морской болезни или в слишком быстро спускающемся лифте. «По сравнению с этими неподкупными Попов, не говоря уж о Кашлеве, выглядит умеренным», — подумал Ю. И он постарался более к карагандинцам не приближаться даже случайно. Вторым полюсом, которого Ю. сторонился, был лысеющий человек, очень курносый и длиннотылый, в котором, однако, без труда можно было распознать еврея. Звали его Давид Файвылович, так Ю. услышал. Обедал Давид Файвылович за общим столиком с блондином-прибалтом, с которым громко разговаривал на каком-то из прибалтийских языков. Несколько раз Ю. чувствовал на себе взгляд Давида Файвыловича, который смотрел на Ю. издали своими темными глазами, наглыми и грустными. Давид Файвылович явно хотел заговорить с Ю., познакомиться с ним. «Нет, мошенник, тебе это не удастся», — думал Ю., почему-то сразу же мысленно обозвав Давида Файвыловича мошенником, даже не перекинувшись с ним ни единым словом и ничего о нем не зная. Между карагандин-

цами и Файвыловичем Ю. выбрал середину — Чары Тагановича, беседовал с ним на производственные темы.

— Делаем тыкани по плану, девяносто процентов у нас Россия брать должна. Не берут. А наш среднеазиатский рынок мы давно насытили.

— Нужно делать модную ткань, — новаторствовал Ю.

— Модная ткань, — сердился Чары Таганович, — а красители? Где вызвать красители? Без красителей пылан сорву, оштрафуют за нарушение договора... Э, плохо...

К началу октября погода испортилась, море заштормило, на солнце было по-прежнему жарко, но тени холодные, и вечера стали холодные. Отдыхающие одевались потеплее и ходили гулять по парку, а с наступлением сумерек сидели на скамейках на краю обрыва и до одурения смотрели на темнеющее, беспокойное море. Дом отдыха располагался на горе, а чуть ниже, километрах в трех по крутому спуску, по дороге, вдоль которой грохотала по камням горная речка Карасу — Черная Вода, был типично крымский, татарский городок Карасубазар, ныне переименованный в Яблочное. Говорили, что в прежние, татарские времена окрестности городка утопали в прекрасных фруктовых садах, хоть теперь в это трудно было поверить. Повсюду рос только дикий кустарник. Когда погода испортилась и море заштормило, Ю. начал совершать прогулки вдоль Карасу в Яблочное, чтоб скоротать время. В прежние времена, бывая в Крыму, в иных местах Ю. уже встречал несколько небольших речек — Карасу. От однообразного шума воды и от однообразного названия стало скучно и тревожно. Вдруг вспомнилось, что сегодня за завтраком жирный карагандинец, который обычно сидел к Ю. в профиль, повернулся анфас, посмотрел в упор и то ли улыбнулся, то ли оскалился. Такую улыбку иногда можно увидеть на мордах больших тяжелых псов перед броском, перед укусом.

Когда, погуляв по городу, Ю. вернулся к обеду в дом отдыха, первым, кого он увидел, был все тот же жирный шахтер из Караганды. Он стоял на набережной и держал в своих тяжелых кулаках трепещущую от морского ветра газету. Точно газета пыталась вырваться, а он не пускал, как добычу свою, наклонив к ней голову, зубами рвал новости, крайне ему по вкусу пришедшиеся. Каменная шея, каменный загривок был напря-

жен, тоже участвуя в этом жадном поедании новостей. Подбежал краснолицый и крикнул:

— Сейчас передавать будут!

И оба заспешили к дому отдыха. В коридорах было общее движение, хлопали двери, все спешили в комнату, где стоял телевизор.

«Война, — испуганно подумал Ю., — война с Америкой». Ю. ошибся, это была не третья мировая, а очередная локальная война на Ближнем Востоке, война октября 1973 года. Но патристический подъем отдыхающих был так высок, точно речь действительно шла о мировой войне. Последние известия начались необычно: первым номером показали не внутренние правительственные сообщения, не сообщения с заводов и полей, а зарубежные новости. После надписи «Война на Ближнем Востоке» пошли кадры победоносного наступления египетских войск на Синае. Вместо наступления, правда, показывали ликующих египетских солдат, которые маршевым порядком ехали на советских военных грузовиках и, подняв руки кверху, потрясали советскими «калашниковыми». Показывали израильских пленных, изнеможенных, обросших.

— Судить этих жидов надо, судить! — кричал краснолицый.

— Сыколько уже убили? — спрашивал Чары Таганович у жирного карагандинца.

Чувствовалось, что жирный карагандинец становится общим лидером.

— По «Маяку» я слышал: три тысячи раненых и убитых, — ответил карагандинец.

Это уже была не международная политика, не братская помощь, как во Вьетнаме. Это была их война, третья отечественная война. Ю. вспомнилось, как в 1967 году на улице Горького были специально установлены громкоговорители и по этим громкоговорителям торжественно объявлялось, непрерывно повторялось о разрыве дипломатических отношений с Израилем, повторялись угрозы в адрес Израиля. Такого не было при разрыве отношений с Чили, с Пиночетом. Просто, как обычно, напечатали в газете, сообщили в радио- и телеизвестиях. теперь же гремело на всем протяжении улицы Горького, от Белорусского вокзала до Охотного ряда. Потому что разрыв с Пиночетом,

с Чили — внешняя политика, а разрыв с Израилем — политика внутренняя. Чили для них враг внешний, а Израиль для них враг внутренний, ненависть к этому внутреннему врагу — Израилю — была искренняя, вдохновенная, но одновременно напоминающая футбольный энтузиазм, поскольку ненависть к немцам в прошлую войну несла ответные опасности, тут же никаких опасностей не было. Злоба и праздник объединились в погромном удовольствии. Сразу между Ю. и этими людьми — с некоторыми из них он еще недавно мило беседовал — установилась внутренняя напряженная борьба. Борьба велась вокруг телевизора и вокруг газетного киоска, расположенного в конце парка у большой клумбы. Спал Ю. дурно, недолго, замученный тревожными мыслями своими. И каждое раннее утро, около семи, он слышал шаги идущих к газетному киоску карагандинцев. Вначале Ю. тоже заглядывал в газеты, пытаясь прочесть между строк иное, чем то, что там писалось, какой-нибудь намек в этом потоке дикой лжи и подкрашенной политическими терминами злобы. Иногда кое-что удавалось выудить: так, сообщалось, что после начала войны в Израиле установилась атмосфера военной истерии, формируются новые дивизии, начался массовый призыв в армию резервистов. Но в целом ко лжи, глупости и злобе прибавилось злорадство: а мы предупреждали, что это плохо для Израиля кончится. Особенно встревожило требование советских газет о невмешательстве в конфликт ООН, поскольку речь идет о внутреннем, национальном праве арабов освободить свои земли. Это должно решаться не в ООН, не на мирных конференциях, а на поле боя. Некоторые западные либералы в ООН просили перемирия, прекращения огня, а арабы и их друзья из соцлагеря и «третьего мира» прекращение огня отвергали. Начиная с 67-го года весь этот альянс требовал вмешательства ООН для освобождения арабских земель. Либералы их в этом поддерживали. Похоже, ныне они действительно поверили в возможность уничтожить Израиль не поэтапно, через ООН, через конференции и переговоры с либералами, как они уничтожали Южный, некоммунистический Вьетнам, а одним ударом, военными средствами, открытой атакой.

Всю ночь шел дождь, шторм по-орудийному бил о набережную, тошнота подступала к горлу, более всего тревожили

томящие ощущения в полости живота, потому что в минуты сильной опасности, которая надвигалась на Ю. из победных сообщений газет, из телевизионных сообщений, не сердце, а живот становится главным объектом ненависти, так всегда бывает, когда речь идет о зоологии.

Утром Ю. решил не выходить к завтраку, чтоб не видеть победного энтузиазма отдыхающих, да и есть не хотелось. Он лежал и прислушивался к доносящимся извне звукам. И вдруг он услышал то, чего с тревогой ожидал и чего опасался: аплодисменты и крики «ура!». В дверь постучали, это пришла уборщица. Ю. накинул халат, отпер. Надо сказать, что весь персонал, особенно низший, уборщицы и официантки, также участвовал в победном веселье, и, как казалось Ю., к нему начали относиться с насмешливым пренебрежением. Уборщица была ширококостная пожилая баба, которая грубо переставляла стулья, брызгала намоченным в грязном ведре веником и как бы невзначай весело посматривала на Ю.

«Ура» кричали из-за распространившегося в доме отдыха известия о полной победе арабов. Известие это принес Чары Таганович, который на рынке в Яблочном встретил земляка.

— Земляк домой звонил. Ашхабад уже знает, Душанбе знает, Ташкент знает, скоро Москва сообщит. Тель-Авив египетские войска захватил, а Иерусалим — сирийские войска. Еврей бегут к морю спасаться. Америка согласно их спасать. Англия и Франция не согласны.

— Не пускать, — сказал краснолицый карагандист, — пусть ответственность несут.

— Э, пусть уходят, — сказал Чары Таганович, — пусть едут в Америку, пусть освобождают мусульманские земли. Еврей тоже человек, пусть уезжают. Джугут тоже человек... Э, хорошо...

— Разве это люди, — сказал жирный карагандинец, и чувствовалось, что каждое произнесенное им слово увесистое, накопленное и за каждым словом стоит много слов, еще более зоологических, более обнаженных. — Разве это люди? Мразь. Муху, таракана более жалко убить, чем таких... Недаром Гитлер их бил... Жалко, всех не угробил.

Ю. ушел в шумный от дождя, пустой парк, ходил по аллеям, сжав зубы, время от времени он, крепко стиснув, вытянув впе-

ред кулак правой руки, произносил, теряя дыхание: «Ненавижу», а потом тревожно оглядывался, не слышал ли кто. Ю. знал, что и за рубежом, и на Западе есть враги, есть хулиганы, есть антисемиты. Но там антисемит частное лицо и потому возможна самозащита. И в старое время в царской России, при царе, поклоннике «Протоколов сионских мудрецов», антисемит все-таки оставался лицом частным и потому возможна была самозащита, теперь же, в социалистической России, антисемит лицо общественное и за спиной каждого уличного хулигана стоит государство всей своей громадой. Ю. все ходил и ходил по аллеям, повторяя: «Ненавижу». Ему было жарко, болел затылок, видно, поднялось давление. Вдруг подумалось: какое наслаждение было бы лежать там, в песках, и стрелять в набегающих, орущих... Если бы и эти, все вокруг, единой цепью...

Подкашивались ноги. Ю. уселся на мокрую скамью, растирая рукой сердце и живот, поглаживая затылок. Он долго сидел так. «Охамлена жизнь, — думал Ю., — но если охамлена, охулиганена вся современная жизнь, то как же не охаметь, не охулиганиться культуре...» Он снова встал и начал ходить по парку. «Надо уезжать, черт с ним, с Крымом, с отдыхом. Какой это Крым, какой это отдых? Надо в Москву». Но что Москва, думал Ю., не из Москвы ли надвигается все это, не в Москве ли придумываются в разных инстанциях, в том числе в Обществе советско-арабской дружбы, куда он отказался войти. Но теперь, если Израиль действительно погиб, этот камуфляж с Интернационалом, с прогрессивными евреями им больше не понадобится.

Ю. посмотрел на часы и заспешил к дому отдыха. Сейчас должны были передавать последние известия. Ю. покачивало, как на корабле в шторм, сердце его было барабаном, и кто-то словно извне бил по нему: бум-бум-бум. Появился известный, приветливо улыбающийся телевизионный диктор, и аудитория встретила его радостным гулом. Потом, после надписи «Война на Ближнем Востоке», опять понеслись грузовики с египетскими солдатами, поднимающими вверх «калашниковы». Повторяли старые, уже виденные кадры. Ю. вынул платок и вытер со лба испарину. «Нет, еще не конец. Во что-то уперлись, где-то зацепились, раз повторяется».

— Переговоры ведут с Америкой, куда евреев девать, — говорил Чары Таганович, — потому не сообщают. Может, вечером сообщат.

— В Москве салют должен быть по случаю взятия Тель-Авива, — сказал краснолицый. — Я думаю, там наши ребята воюют... Наши хлопцы.

Победное веселье в доме отдыха продолжалось. Вечером в кинозале выступал абхазский ансамбль гагринской филармонии. Длинноносый пожилой абхазец в черном костюме и белых штиблетах пел:

Предположим, я красивый, ай-яй-яй,
Предположим, я ревнивый, ай-яй-яй,
Предположим, я стою, предположим, я курю,
Жду жену и говорю: ай-яй-яй...

И ансамбль из трех абхазцев и молодой женщины-абхазки, возможно, дочери солиста, очень на него похожей, подхватил:

Предположим, я красивый, ай-яй-яй...

Когда песня кончилась, один из хористов спросил у белоштиблетника:

— У тебя шансы есть?

— Есть.

— Дай полкило.

Опять аплодисменты. «Нет, уж лучше ходить по парку», — подумал Ю.

Было ветрено, но дождь утих, и шторм как будто бушевал потише. Неподалеку от входа в парк к 10 подошел человек и сказал:

— Простите, вы тоже из оперы «Аида»?

Это был Давид Файвылович, которого Ю. в своей социальной спесивости совершенно сбросил со счета.

— Я вижу, вы переживаете, — продолжал Давид Файвылович, — я тоже переживаю, но у меня здесь приемник, я слушаю за границу. Слышимость плохая, но можно поймать, особенно вечером. Хотите послушать?

— Хочу, — обрадованно ответил Ю.

Они познакомились. Давид Файвылович сразу представился накоротке: Дава...

Дава жил не в главном корпусе дома отдыха, а в одном из флигелей, неподалеку от спуска к морю.

— Когда хорошая погода, можно сразу в трусах на пляж спускаться, — сказал Дава.

Дава действительно загорел хорошо, лицо и тело шоколадного цвета, тогда как Ю. лишь покраснел. В Даве чувствовалась легкость и цепкость умельца, ремесленника, он действительно был сапожником, точнее, работал в обувном цехе в Литве. Все, что ранее Ю. в Даве не нравилось: его маленький курносый носик, лошадиное лицо, даже темные глаза, которые не переставали смотреть с печальной наглостью, — теперь нравилось, и он внутренне упрекнул себя за то, что из-за своей спеси не сблизился с Давой ранее и в одиночку противостоял этому скопищу зоологических недругов. «Это наша книжная, наша саддукейская, наша раввинская спесь по отношению к своему простолыдину, которую осудил еще Иисус Христос, не она ли причина многих наших бедствий, нашей хилости, нашего отщепенства?»

— Вы тоже были на концерте? — спросил Дава. — Группа какая-то. Вот к нам в Вильнюс приезжал одесский ансамбль Мони Житомирского, выступал в ресторане. Это другое дело. Хотите послушать, я на кассету записал. Время до передачи у нас еще есть.

Он включил кассету, и сочный голос запел с еврейскими завитушками:

Ой, папа, папа, я еврея мама,
Родила я сына от Абрама,
Бьет папаша чайные стаканы,
Стал папаша от известья пьяный.
Ой, азохен вей, ой, азохен вей,
Ой, азохен, ой, азохен, ой, азохен вей.

— Ой, азохен вей, азохен вей, — подпевал Дава, прищелкивая пальцами.

И Ю. тоже вместе с Давой подпевал:

— Ой, азохен вей, азохен вей...

Никогда прежде Ю. не испытывал такого приступа национального чувства, которое было чем-то подобно чувству полового удовольствия. Включили приемник, начали шарить по эфиру, слышимость была плохая, треск, шум, наконец поймали Лондон. Лондон сообщал, что Сирия потеряла много танков и отступает, одна египетская армия окружена, другая прижата к Суэцкому каналу. Ю. обнял Даву и поцеловал его в пахнущий луком рот.

Утром в комнате, где стоял телевизор, как всегда, было тесно. Ждали новых счастливых известий с Ближнего Востока, с фронтов третьей отечественной войны. Однако новостью номер один вдруг оказалась миролюбивая встреча Брежнева с немецким социал-демократом Брандтом.

С возрастом лицо Брежнева все более становилось похоже на мягкий блин, испеченный неряшливой хозяйкой. В одном месте пальцами примяла, в другом ложкой избородила. Не лицо — гоголевская печеная харя. У Брандта же лицо гофмановское, лепное, театральное.

В новелле Гофмана «Из жизни трех друзей» показаны миролюбивые настроения после битвы под Ватерлоо. Трое друзей попивают свой миротворный кофе на открытом воздухе в берлинской ресторации. Также и советское телевидение показало новостью номер один миролюбивые настроения после Синайской битвы. Двое друзей попивают свой миротворный коньячок на террасе роскошной приморской виллы, конфискованной у прежних русских царей и ныне принадлежащей «новым царям», как называют советских руководителей китайские гегемонисты. Но публика, собравшаяся смотреть теленовости, была настроена менее миролюбиво, чем Брежнев и Брандт. Она настроилась на кадры победного шествия египтян и сирийцев с «калашниковыми», на кадры горящего Тель-Авива, в беспорядке лежащих на песке трупов израильских солдат, в страхе бегущих к морю толп еврейских женщин, стариков и детей, которых можно было бы созерцать со смехом и улюлюканьем... А вместо всего этого — гоголевское лицо Брежнева и гофмановское лицо Брандта. Публика как бы единым

ртом издала вздох разочарования. Тем более что события на Ближнем Востоке показали в самом конце передачи, в скромной рубрике «За рубежом». Причем, вместо солдатского победного марша, опять в ООН интеллигенция жестикулировала. Расходились хмурые, с кислыми лицами, как после несостоявшегося погрома. Крови, крови хотелось... И по странному совпадению в тот же день краснолицый карагандинец шлепнулся с горы.

Это была обычная, рутинная смерть, заранее предусмотренная крымской статистикой. В таком-то году на горе было столько-то смертных случаев, в таком-то — столько... Кривая смертности шла то чуть вверх, то чуть вниз, но в целом на постоянном и заранее предусмотренном уровне. Как ни предупреждали отдыхающих — ни на один камень Черной горы надеяться нельзя, — отдыхающие ежегодно надеялись, участвуя в смертной статистике. Гора манила и притягивала. Была она вулканического происхождения, и высоко врезающаяся в небо вершина ее поросла лесом.

На следующий день, которого уже не видел краснолицый карагандинец, была переменная облачность, показывалось солнце. Дава раздобыл где-то напрокат лодку, и поехали осматривать гору с моря, тем более что у подножия горы располагалось несколько красивых бухт. После непогоды и шторма море во многих местах было покрыто кустами морской травы, вырванной с корнем, которую приходилось отталкивать веслами. Иногда объезжали целые холмистые острова такой травы, плавающей на волнах. Но прогулку это не портило, наоборот, разнообразило. Солнце припекало, йодистые запахи плавающих травяных холмов, смешиваясь с запахом моря, прочищали легкие от воздуха, который, казалось, застоялся там за время прошедших волнений. Ю. греб обеими руками, держа рукоять своего весла и стараясь попасть в такт с гребущим Давой. Приплыли в овальную бухту, огражденную несколькими острыми, выступающими из плещущих волн скалами. Ю. зацепил веслом небольшой кустик, поднял из воды длинные побеги, длинные листья и голубенькие цветочки. Почему-то вдруг вспомнилась Барбара, образ которой поблек и удалился во время последних бед и треволнений. И вот сейчас, в тишине овальной бухты, глядя на тонкие мокрые побеги, на голубые цветочки, повисшие над морской волной, Ю. яс-

но увидел Барбару и послышались звуки скрипки, загудела флейта. «Durch die Nacht die mich umfangen Bliket zumir der Töne Licht» — «Сквозь ночь, меня обступившую, глядит на меня свет звуков». Свет звуков — это у Брентано.

— Хорошая трава, — сказал Дава, глядя на мокрые длиннолистные побеги, на голубые цветочки, — в хозяйском государстве эту траву сушат и скоту скармливают. Я помню, так делали в старой Литве. Но лучше всего она годится на набивку мягкой мебели.

— «Von Blumen der Garten und Schläf rigfast», — произнес Ю. вслух из Гельдерлина, потому что, готовясь к Шиллеру, он пытался читать в подлиннике и иных немецких поэтов.

Дава пристально посмотрел на Ю:

— Вы очень хорошо говорите по-немецки?

— Не очень, — ответил Ю.

— А что означает то, что вы сказали?

— И сад, почти усыпанный цветами...

— Ах, это стихи, — сказал Дава разочарованно, — но все-таки если вы знаете немецкие стихи, то должны уметь по-немецки писать.

— Я пишу, — сказал Ю., — но не очень хорошо.

— Все-таки я хотел бы с вами посоветоваться, — сказал Дава, — попросить у вас помощи. Сегодня вечером я хотел бы вам кое-что показать.

Вечером опять пили шампанское и выпили много. Ю. купил две бутылки, и три бутылки купил Дава. Пили за Израиль, за победу, за здоровье родных и близких.

— Закуска дрянная, — говорил Дава, — вот купил в Яблочном симферопольский сыр и чесночную колбасу... Приезжайте ко мне в Литву. Вы бывали в Литве?

— Не долго, — ответил Ю., — но я работал в Прибалтике, в Эстонии.

— Так вы не знаете, что такое прибалтийская закуска. «Индириги огуркай» — огурцы фаршированные или якхине — паштет из печени. Отец мой был набожный, ел только кошерное, и дед набожный, а у меня жена литовка. Помните, блондин сидел со мной за столиком? Это брат моей жены. И недавно вернулся их отец... Приехал, да...

Даву, как и Ю., тоже развезло, говорил он медленно, тяжело, то наклоняясь вперед, то выпрямляясь, точно искал центр тяжести.

— Нас столько убивали, вы, конечно, слышали, как литовцы убивали... детей били лопатами по голове... И вот теперь у меня трое детей... — Дава встал на шатких, непрочных ногах, прошел к чемодану, вынул оттуда портмоне и высыпал несколько фотографий курносого мальчика лет восьми, курносой девочки с косичками, лет десяти, еще одного мальчика, лет четырнадцати-пятнадцати. — Скажу откровенно, главное для меня теперь — семейное гнездо и желудок. Вам, конечно, такое слышать странно, вы человек искусства... Так к чему я это говорю... Не знаю, как вы, но я уж некоторое время думаю о выезде. Жизни здесь нет и не будет. Я вам скажу: если б эти отсюда арабов не поджучивали, арабы давно бы примирились с Израилем. У меня есть брат, Аба, большой шутник, так он прочитал в газете: «Советско-сирийские переговоры». «Перего» он зачеркнул, получилось — «советско-сирийские воры». Мы так смеялись. Мой брат Аба совершенно не похож на меня. Курчавый, толстогубый. Он похож на негра. Мы так и зовем Абу: неигроид... В Крыму тоже были свои евреи: крымиды...

— Караимы, — улыбнулся Ю.

— К чему я все это говорю? К тому, что нам пора отсюда сматываться... А тоска по родине? Так, как поет мой брат Аба: «Я тоскую, зукт эр, по родине, по родной, махт эр, стороне своей...» Я уже выбрал себе страну, куда поеду, новую родину... Это Германия, разумеется, Западная... Страна богатая, вот и вы рассказывали, какая там хорошая жизнь. К тому же немцы нам, евреям, сильно задолжали и осознают это. Говорят, дают нам большие деньги, дают хорошие квартиры. Но у меня положение особое, я хочу поехать в Германию, как возвращенец на родину, у меня для этого все права. Возвращенец на родину — это большие льготы, гражданство, немецкий паспорт и прочее... Скажите, немецкое посольство в Москве находится где-то возле зоопарка?

— Да, где-то там.

— У меня к ним не простой разговор, а документы, — сказал Дава, — поэтому мне нужен человек, который все напишет по-немецки, заявление и прочее. Конечно, не даром...

— Не знаю, смогу ли я написать заявление по-немецки, — сказал Ю. — так хорошо немецкий я не знаю.

— Жаль... Ну, хотя бы посоветовать. — Он вынул из портмоне аккуратно сложенную бумагу, развернул. На бумаге стояла гербовая печать и подпись с завитушкой. — Это копия. Подлинная справка у отца моей жены. Но если немецкому посольству понадобится, я вышлю. — Он протянул бумагу Ю.

Это была копия справки из управления лагерей. В ней значилось, что такой-то отбыл десятилетний срок за службу в литовских отрядах войск СС. Ю. молчал, все время перечитывая справку, потом он поднял глаза на Даву, по-прежнему ничего не говоря.

— Конечно, — сказал Дава, — если б у него была тогда такая голова, как теперь... Он был тогда простой крестьянский парень, и в восемнадцать лет у него уже было трое детей, моя жена и ее брат... Свое он отбыл, но теперь он, как я понимаю, считается немецкий служащий, ветеран, воевавший за Германию, и его дочь, моя жена, имеет все права на немецкие льготы и на немецкое гражданство. И дети мои тоже имеют в Германии все права, и я, конечно, как их отец. А мертвых уже не разбудишь...

Дава еще что-то говорил, но Ю. слышал только глухое буль-буль-буль-буль — как из-под воды. К глазам и горлу Ю. подступила тяжесть, и ему хотелось то ли заплакать, то ли вырвать. Неизвестно, сколько шампанского он выпил — может, бутылку, а может, и две. Он ничего не ел — ни твердый сыр, ни чесночную колбасу, а только пил шампанское, стакан за стаканом. Ни слова не говоря, Ю. встал, налил себе шампанского, выпил один, без Давы, и вышел. От опьянения голова стала тяжелой, а ноги очень легкие, сами несли, чуть ли не скакали по тропе.

Ночь была без луны и звезд, непроглядная, бесконечная, по-адски тяжелая. Страшны такие ночи для одинокого человека в гористой местности у моря. Моря не видно, лишь слышно, как оно шумит далеко внизу, слышна стихия, слышен голос хаоса, для человека неразличимый, но пугающий и угрожающий. «Дегенерат, — думал Ю. о Даве, — дегенерат, дегенерат, дегенерат... Вырожденец... А чем я лучше? Или Овручский, кото-

рый танцует вприсядку... Но есть и хуже нас — те, кто сами участвуют в фараоновом угнетении... Если мы, евреи, просуществоваем еще сто лет в России, среди этой клокочущей, как горячая адская смола, злобы, среди лжи и клеветы, среди ненависти, бесконечной и разнообразной, как хаос, то все превратимся в моральных и физических уродов... Может, в таком качестве мы как раз здесь и нужны. Наш труд, наши идеи, наши открытия — это только побочный продукт, а главное — это наше существование. В книге одного сербского писателя сказано: «...Людям всегда нужны хромые и юродивые, чтоб было на ком вымещать свое скотство»».

Ю. шел, не думая куда, повинувшись лишь легким ногам своим. Сначала они несли его с горы, потом понесли на гору, все выше, выше... Вдруг какой-то камень сорвался и покатился с гудом вниз, далеко-далеко... Одно мгновение, один шаг, полшага — и Ю. покатился бы следом, увеличив ежегодную рутинную статистику смертности на Черной горе. Он откинулся назад, запоздало ухватился руками за ствол дерева. Болело сердце, болел желудок. Боли были схваткообразные: возьмет — отпустит... Но с каждым разом брало сильнее. Томящие ощущения в полости живота превратились в силу, давящую снизу, и хлынуло, потекло само собой. Рвало долго, мучительно, сначала шампанским, запах был прокисший, гнилой, потом горло, рот, губы обожгла нутряная горечь. «Желчь, — подумал Ю., — шампанское с желчью... В евангельские времена вино с желчью, пахучий напиток, обычно давали осужденным на распятие, чтоб их усыпить и сделать их менее чувствительными к мукам и оскорблениям... Богатые либеральные дамы специально благотворительствовали, приносили на место распятия сосуды вина, смешанного с желчью. Одни убивали и издевались, другие успокаивали... Такие, как мой Покровитель, как прочие с человеческим лицом... Но Иисус Христос не принял обманного утешения, он отказался пить. А мы пьем».

Уже рассвело. От рассветного тумана потягивало свежим холодным, но чувствовалось по светлеющему небу, что день сегодня будет теплый и пляжный. «Какой-то средневековый религиозный философ, — думал Ю., — предупреждал: остерегайтесь мыслей своих, ибо мысли ваши слышны на небе. Дохо-

дят ли до неба наши мысли или их перехватывают здесь, как перехватывают письма, отчего мы своих мыслей должны опасаться еще более».

Опьянение не минуло, но после того, как Ю. вырвало шампанским с желчью, голове и животу стало легче, ноги же, наоборот, отяжелели. Ю. сел на скалистый выступ. От ночной тоски лоб был холоден, потен. Ю. вынул платок и стер пот. Какая-то рассветная птица кричала в кустах с однообразным переливом. Послышалось, что она кричит: «Нетрезвый — фью-фью-фью, нетрезвый — фью-фью-фью!»

Море внизу было тихо, манило к себе уставшее тело, звало быстрее окунуться в голубизну, на которой играли блики утреннего света. Воздух вокруг также все более голубел. «Мир должен быть оправдан весь, чтоб можно было жить», — вспомнилось из Бальмонта. «Нетрезвый — фью-фью-фью, нетрезвый — фью-фью-фью!» — без устали кричала птица.

На море, как в степи, горизонт виден далеко, но, наблюдаемый с горы, он кажется вообще в первобытной бесконечности, и над этой бесконечностью всходило доисторическое светило, первобытное, огненное божество, которое обжигало лицо косями своими лучами. Хотелось пить.

Август 1986 года
Западный Берлин

НА ВОКЗАЛЕ

Рассказ

Как на Киевском вокзале раздаются голоса...

Современная народная частушка

1

Жили две семьи в одной квартире. Семья инженера и семья дежурного электромонтера. Инженер жил с женой, а дежурный электромонтер с мужем за общие электроточки. Однажды в праздник муж дежурного электромонтера был на работе, а инженер с женой были в гостях. Вернулись они навеселе, то есть выпивши, и видят — всюду горит свет: на общей кухне, и в туалете, и в ванной, и в коридоре. Начали скандалить. А всегда, если они скандалили навеселе, то есть выпивши, дежурный электромонтер старался в своей комнате отсидеться запершись. Тем более, когда муж на работе. Но в этот раз инженер схитрил и оборвал провода. Дежурный электромонтер, думая, что пробки перегорели, вышел с электрическим фонариком исправить. И у инженера тоже был электрический фонарик, поскольку в нашем Брянске поздно вечером без него не обойтись. И вот, в свете этих электрических фонариков, инженер с женой начали дежурного электромонтера бить. Да не просто бить, а детскими саночками сыночка своего, который в данный момент находился у бабушки. Били они, знаете, били, кричал дежурный электромонтер, кричал, пока в темноте двери туалета не нащупал. Заперся дежурный электромонтер в туалете, а инженер с женой повесили опять саночки на гвоздь и пошли спать. Саночки-то, знаете, детские, а полозья-то кованные железом.

Утром муж электромонтера с работы приходит и не может достучаться к себе в дверь, которую соседи захлопнули, чтоб муж думал, будто его жена спит и не впускает. Тогда начал он

к соседям стучать — не отвечают и не отпирают. Начал стучать в туалет, думая, что соседи умышленно заняли, — не отвечают. Он плечом в дверь — раз, другой, третий. Выбил, смотрит, а там его жена, дежурный электромонтер, лежит возле унитаза мертвая...

Поздним вечером, почти ночью, в ресторане Киевского вокзала Москвы беседовали два случайно оказавшихся за общим столиком пассажира: едущий в Брянск техник по холодной обработке металлов Иванов и едущий в Киев член Союза советских писателей Украины Зацепа. Говорили о разном, но больше о нехорошем. Давно известно: деньги идут к деньгам, а мертвецы к мертвецам. Мертвецам точно так же на кладбище не лежитя мертвым капиталом, как деньгам в банке или сберкассе. И те, и другие все время норовят в живой истории участвовать, чаще чеком, но иногда и наличными. Тем более при очередном свежем вкладе. Дело в том, что Зацепа ехал в Киев не один, а со своим дядей — адмиралом, который числился теперь багажом, поскольку умер, а цинковый гроб в скорый поезд не брали и приходилось ехать ночным, пассажирским, где мягкого вагона вовсе не было, а имелся скрипучий купейный. Впрочем, большим любителем мягких вагонов был Зацепа. Иванову же и купейного не требовалось, поскольку до Брянска он вполне мог и в сидячем перехрапеть.

Иванов был холост, точнее разведен, и теперь берег свою нынешнюю жизнь, которая ему нравилась.

— Жизнь у меня, — говорит, — замечательная: поспал, теперь немножко отдохну. К женщинам у меня теперь, — говорит, — равный всеобщий интерес и равнодушие, как у велосипедного насоса. Не то что раньше, — говорит, — в женатом состоянии. Засыпаешь и думаешь: завтра снова день, снова суп хлебать надо...

В этом вопросе Зацепа с Ивановым соглашался.

— Да, — говорит, — абсолютно два чужих и даже враждебных человека ходят друг перед другом голые... Но если понастоящему разобраться, то наслушаешься разных чужих историй и думаешь: моя жена ведь сравнительно ангел, если учесть, что она тоже женщина... А теперь это происшествие с дядей нас особенно сблизило. У жены, как и у дяди, фамилия

Сорока Не слышали — адмирал Сорока? Чуть за шестьдесят было. А теперь вот предстоит перевезти прах из Москвы на родину... Цинковый гроб стоит шестьсот рублей, — сообщил почему-то Зацепа дополнительно.

Кроме того, как стало известно Иванову, деньги эти еще не были уплачены и лежали у Зацепы в кармане, хоть дядя, в гробу уже, находился в багажном отделении вокзала и его должны были выдать по уплате названной суммы плюс транспортные. Отчего Зацепа затянул так с оплатой, Иванов не понял, а может, и прослушал, поскольку был выпивший, а точнее говоря, пьян. Да и Зацепа наливал себе столько же, и чокались они множество раз с девяти вечера. А сейчас часы показывали без чего-то там двенадцать. То есть полночь близилась. И тут еще деньги, покойник в гробу, жестокий месяц февраль, по-украински и старославянски — лютый. Быть беде. Словно предчувствие беды давило Зацепу слева в ребра. Рыгнуть бы разок. Извинился перед собеседником, пошел в туалет, но на полдороге передумал и повернул в гардероб, где два старичка-гардеробщика стерегли верхнюю одежду, в том числе и добротное, под старую бекашу, пальто Зацепы с воротником из мелкого серого каракуля. Дубленки, полушубки и прочее баловство бедных художников и поношенных кинорежиссеров Зацепа презирал и над ними насмехался, произнося слово «дубленка-а-а» — нараспев, почему-то с еврейским жаргонным акцентом.

Увидав Зацепу, старички-гардеробщики встали, как перед начальством. Оба были уже выпивши, но хотелось еще выпить. Горилки бы украинской или перцовочки. Бутылка горилки с ресторанной наценкой тогда еще стоила шесть рублей. За эту сумму гардеробщики открыли Зацепе заднюю дверь, откуда по короткому коридорчику можно было выйти прямо на улицу к дощатому забору, огораживающему стройплощадку в самом темном углу привокзальной площади. Февраль-лютый сразу взял Зацепу в оборот. Луна была высока, черт-те где, и такая твердая, как давно засохший кусок карпатского сыра, разве что в мышеловку годящегося. Неаппетитная луна. И вот так светила она над площадью неаппетитно.

Помните площадь у Киевского вокзала? Тут недалеко, через мост над железнодорожными путями, вверх на горку — и ста-

рый Арбат, самое уютное и обжитое место Москвы, а оттуда, сквозь Арбатскую площадь, прямо к Кремлю. Тут же по переулочкам два шага — и широкий Кутузовский проспект, где когда-то покойный Брежнев жил, председатель комиссии по организации похорон Хрущева. Этого хоронили заживо, и, уж потом, спустя много лет, покойник умер. Ибо председатель комиссии по организации похорон — высшая должность в государстве. Исторические места эти, как мы видим, не были лишены кладбищенского мистицизма. И в злую февральскую ночь, под карпатской луной, напоминающей о местности, откуда дикое еще славянство распространяться начало, чувство беды первородной, пронесенной через тысячелетия и не изжитой, охватывает душу. Жаль, что председатели комиссий по организации похорон не обладают если не мудростью, то хотя бы любопытством багдадского халифа Гарун аль-Рашида, не переоденутся в простую одежду ширпотреба, которая вполне к лицу их ширпотребовским лицам, и не побродят в одиночестве, без топтунов, хотя бы в окрестностях Кремля, где-нибудь по ночной февральской площади Киевского вокзала, освежаемые ледяным ветерком с Москва-реки. Ведь каждый же из них человек, каждый — будущий покойник, и каждый понять может, что чувство беды бывает так же спасительно, как и чувство боли, если правильное, а значит, горькое лекарство выбрать, физическое и духовное. Побродили бы так, под древней, изначальной своей луной, а потом, переодевшись вновь в свои вельможные одежды, в шелковую пижаму какую-нибудь, в тепле и уюте книжечки бы надежные почитали, которые словами бы разъяснили ночные лунные ощущения о тысячелетней неизжитой беде. «Они (то есть правители славянства) были разъединены не ненавистью — сильные страсти не достигали сюда, не постоянной политикою — следствием непреклонного ума и познания жизни: это был хаос браней за временное, за минутное — браней разрушительных, потому что они мало-помалу извели народный характер, едва начавший принимать отличительную физиогномию при сильных норманнских князьях. Народ приобрел холодное зверство, потому что он резал, сам не зная за что». Вот так Гоголь, наш великий лунный мистик, объясняет источники исторических кошмаров нашей страны, объясняет

плодотворную сторону болезней наших. Но и в болезнях этих иной, желающий быть временным, хватается за временное, чтоб излечиться. И поскольку нет у нас возможностей проследить за высшими, за созревшими, проследим за завязью, за началом, за зерном, которое, если в пригодных условиях разрастается, может дать тот же фрукт или овощ.

Зацепя наш, между прочим, не только член Союза советских писателей Украины, но и автор книги о путешественнике Миклухо-Маклае Николае Николаевиче, книги, которая показывает истоки русско-советского антиколониального интернационализма применительно к папуасам. После этой книги и при поддержке адмирала Сороки, родного дяди по линии жены, появились возможности обрести место в отделе агитпропа республиканского ЦК. На это место, правда, имел виды и сынок Масляника из республиканского Верховного Совета. Но дело как будто решалось в пользу Сороки, тем более что, кроме адмирала Сороки, был еще и Сорока в административном отделе республиканского ЦК, а отец их — Сорока-старший, большевик-пролетарий с киевского революционного завода «Арсенал», участник восстания 18-го года против Петлюры. Крупнокалиберный старик; и действительно имя пулеметное — Максим. «Пролетарий, — говорит, — это высшее международное сословие, и в боях революции я верил, что наступит время, когда английская королева выстирает мне рубашку». А Сорока из административного отдела ЦК слушает деда и усмехается. «Ты, — говорит, — дед наш украинский Мао Цзэдун. У тебя, — говорит, — детская болезнь в коммунизме».

Но семья была дружная и с юмором. Особенно дружеская атмосфера воцарялась, когда адмирал Сорока, ныне покойный, в отпуск приезжал. В адмирале старый Максим души не чаял, любил очень и называл морским казаком.

Украинское морское казачество с давних, еще дореволюционных времен — важный элемент российского военно-морского флота. Голосистые свистуны, потемкинцы, матрос Матюшенко, матрос-партизан Железняк, который на суше, в Петербурге, руководил разгоном Учредительного собрания. Морские широкие клеши — это те же широкие казацкие шаровары. Морской флотский борщ — прямой потомок

борща украинского, главаря и родителя всех борщей, сколько бы их ни набралось. Из-за одного такого черноморского борщика восстание на броненосце «Потемкин» произошло, из-за борщика революция 1905 года на императорский флот перекинулась. В борщ мясо с червячками положили. А для матроса, особенно украинца, — это осквернение святыни. У русского царя ведь тоже привычки не было в Гарун аль-Рашида превращаться. Ему докладывают о политических агитаторах — он и верит. Однако дело-то в потемкинском гнилом борщике.

Недаром хороший и разный поэт Владимир Луговской писал в двадцатых:

И выйдет хозяйка полнеть и добреть,
Сливая народам в манерки и блюда
Матросский наварный борщок октябрей.

Это, однако, не означает, что политическая революция действительно ставит своей главной целью накормить народ. Хотелось бы в такое верить, но упрямые факты подобное не подтверждают. Это означает, что политические лозунги народных революций должны опираться на поварскую книгу. Так вскармливается красное солдатское дворянство. Борщ да каша — пища наша. Не агитаторы, а повара революцию делают, потому что подлинные революции созревают не в головах, а в желудках. И привилегии правящего ныне сословия распространяются не столько на их головы, сколько на их желудки.

Вот возьмем Зацепу, который пока еще только завязь. Если Сороки договорятся с Масляниками и сынок их в украинском республиканском госкино место получит, тогда уж никаких препятствий для Зацепы в украинском республиканском ЦК.

Вот вышел Зацепа в ночь с перепою, почувствовав древнюю, неизжитую славянскую беду. Такое бывает с перепою, и не всегда горькая водка во вред, подобно всякой горечи. Вот глянул он на сохнущую над холодной Москвой карпатскую луну и узнал ее. Мыслил бы дальше, танцевал бы дальше от этой луны, как от нетопленной печки. Нет, к себе мысли поворачивают, во временное, в желудочное давит слева в ребра. Рас-

стегнул брюки, пошел в темноту, через доски, через какие-то кирпичи. Эх, рыгнул. Легче. Еще рыгнул. Четыре раза рыгнул. Полегчало, и мир уже другим кажется. Побрызгал на бетономешалку. Привел в порядок кишечник. С козлиным «бе-е-е» освободился от неусвоенного питания, чуть-чуть испачкав рубашку. «Ничего, — подумал-пошутил, — иногда рванешь рубашку на груди, иногда рванешь на рубашку на груди». Засмехался Зацепа собственной шутке, поскольку в организме у него все уравнилось, хоть опьянение, конечно, не миновало. Опьянение повело Зацепу, повело, наклонило и свалило среди кирпича. Чувствует Зацепа, земля крепко держит. Пошевелиться не может, замерзает, а карпатскому луне-месяцу до этого дела нет: как торчал, так и торчит равнодушным подлецом. Страшно стало, холод по спине, и чихнул два раза. Сосредоточился, собрался. Рывком в атаку, как под огнем. «Вперед... За родину...» Встал. «Простыл, — думает, — пора назад в ресторан. — А луне-месяцу погрозил: — Ну погоди, подлец, я тебя съем».

Пошел Зацепа по коридорчику и вышел к гардеробной вешалке. На прилавке перед старичками-гардеробщиками стояла наполовину уже выпитая бутылка перцовки и рядом суповая тарелка, доверху наполненная картофельным пюре с подливкой. Стояла и тарелка соленых огурцов. Хватало и хлеба. Но жареного сала — несколько кусков, и старик повыше как раз был занят распределением сала поровну. Впрочем, старик-гардеробщик повыше был не так уж и стар, глаза имел военные, оловянные, а плечи — широкие. На этот раз при появлении Зацепы гардеробщики не встали и не выразили почтения. Либо были заняты едой-выпивкой, либо считали, что второй раз клиент не подаст. Подобное Зацепу несколько обидело и обозлило, ибо был он тщеславен и уже воспитывал в себе пусть небольшого, но начальничка. А поведение всякого начальника зависит от поведения лакеев, и по поведению лакеев начальник о себе судит. «Кнут, кнут им все время показывать надо, — сердито подумал Зацепа, — дисциплину укреплять».

В таком боевом настроении Зацепа вернулся к своему столу в ресторане.

Смотрит Зацепа, а техник по холодной обработке металлов Иванов жареную капусту ест с аппетитом.

— Люблю, — говорит, — жареную капусту, у моей матери, — говорит, — помню, часто ели. Приду из школы, а дома вкусно воняет жареной капустой. Эх, детство. Я сам из деревни Сельцо на Брянщине. Когда учился в Брянском техникуме, голодать пришлось. Думал, женюсь — отъемся... Эх, что там... Давайте выпьем... Ух, хорошо пошла... Прямо в ушах сера закипела.

— Хорошо, — говорит Зацепа, — войдите... Антре, мадам... Вы только не подумайте, что я по-французски говорить умею... Я однажды попробовал на дипломатическом приеме, и вместо «бонжур» — «инжир» сказал... Хась-ь-ь... У меня брат дипломат... Знаете, у французов водка, настоянная на вишнях... Я выпил и выступил: «Мир, господа, — говорю, — спасут противоракетные устройства и противозачаточные средства...»

Тут Зацепа обращает внимание на стоящую перед ним закуску.

— Это что? — он брезгливо сунул вилку.

— Официант принес, — сказал Иванов, — я говорил, человек отлучился, подождите ставить. Так разве слушает, татарин... Их, татар, здесь уйма в Москве. Пойдите на сабантуй, возле мечети туча валит. Русскому человеку не пройти. И все с ножами.

— Я им покажу ножи! — крикнул Зацепа, которому стакан водки сразу в голову ударил. — Офцант! Офцант!

— Главное в таком деле резкость, — сказал Иванов, — у меня друг недавно тоже резко кинулся головой вперед и выбил зубы у подоспевшего милиционера.

— Офцант! — уже предельно громко крикнул Зацепа.

Подошел официант, молодой сероглазый парень, на татарина не похожий. Увидав официанта, Зацепа отвернулся от него, словно не замечая, надел очки и, вынув носовой платок, громко высморкался.

— Что такое? — спросил официант.

— Уберите эти продукты в соусе и принесите мне жаркое по-крымски, как я заказывал, поскольку Крым неотъемлемая часть нашей республики. Жемчужина советской Украины.

Официант, видно, был еще не обстрелян, видно, был новенький, и подобное давление на него оказывалось впервые. Он молча взял остывшую тарелку с жарким и ушел.

— Не нравится, — засмеялся Иванов, — не нравится, что их из Крыма выселили... Татарин... Абдулка... У нас в Брянске тоже... Не помню... Кажись, Ала Пердей Абдала Аминыч. Вызывает меня. Я, признаюсь, начальства боюсь. А тут еще не свой, не русский. Смотрит на меня: «Ты сыволоч». — «За что, — говорю, — Абдала Аминыч?» А он не уточняет. «Ты сыволоч». Жутко мне стало. Упечет мусульманин.

— Да, — сказал Зацепа, — черный человек. Вот был я в Индии. По следам Миклухо-Маклая. Потом Таити, Новая Гвинея... Знаешь, живешь среди папуасов. Гостиница люкс, кондишен, салат «Бомбей». А это что? — он снова начинает копать вилкой в принесенном жарком. — Жаркое по-крымски делается из бараньей грудинки с яблоками. А где здесь баранина? Это ж голуби. Они голубей на привокзальной площади ловят и в жаркое, а баранину себе, на бешбармак. Ладно, вареных голубей заberi, а принеси-ка лучше еще бутылку перцовки, сливочного масла и сыра «карпатского».

Официант терпеливо убирает тарелку с жарким и уходит. Ресторан давно опустел, время глухое. Только в дальнем конце какая-то девица пьет со стариком шампанское. У старика на пальце блестит большой перстень. Богемный старик. Вполне может вести дневник и оставлять в нем записи такого рода: «Лежу с голой женщиной. Погода замечательная».

— Вот, — говорит Иванов, — старик, а на молодую силы имеются. Я б этого старика сейчас дзлиннь-дзлиннь по морде, он бы дзынь — и рассыпался.

Ах, что там Иванов. Куда тебе, Иванов. Разве можешь ты, Иванов, вот так, как этот старик, надев красную шелковую рубаху и сидя возле торшера, осторожно перебирать струны старинной гитары и, глядя в зубастенькое, глазастенькое личико, тихо петь-мурлыкать: «Дай мне ручку, каждый пальчик я тебе перецелую...»

Где там Иванов. Куда там Иванов. Но не сдастся Иванов, клокочет.

— Пока мы страдаем на производстве, они в санаториях наслаждаются лечением своей печени... Иной раз я гляжу на них и думаю: эх, тебя бы в мясорубку, а меня на ручку, я б уж тебя перемолол... Вот робок я, жаль... Был у нас на производстве один мужик по фамилии Михрютин. Начальства совершенно не боялся. Я, говорит, не вам, начальникам, служу, а нашим дедам и прадедам. Мудреный мужик. А среди начальников тоже выискался мужик мудреный. Я тебе, говорит, твою мать, послужу... Только, говорит, жопу бумажкой подтирать научился, а уже на законы общества замахивается.

— Нет, так не надо, — говорит Зацепа, почувствовав в этой ненависти Иванова угрозу лично себе, — так совсем можно особачиться... Озвереть до опупения... Ты ко мне приезжай, я тебе рад буду... Пышшш... А то, знаете, товарищ Иванов, на вас посмотрят и скажут: извините, в какой галактике вы родились с такими мыслями? Ты, Иванов, приезжай ко мне в Винницу... Я родом из Винницы. Когда едешь к вокзалу через мост над Южным Бугом, сразу Замостянский район, меня там все знают, я там школу кончал... Фирка Ломоносова, Ваня Пфедер — хорошие были ребята... И край квітучий. Сначала у нас отцветает черемуха... Хотя черемуха и в Бурятии хороша... Ездил я на юбилей добровольного присоединения Бурятии к России... Они там черемуху со сметаной едят. Сахарочек, разумеется... У нас большие начальники на большие юбилеи ездят: Москва, Ленинград, Ташкент... А меня в Бурятию, Удмуртию, Татарстан. На добровольное присоединение... Может, как специалиста по папуасам, легче местные языки усваиваю. Вот — сярчинянь — это по-удмуртски пирожки. А эчпочмак — по-татарски пирожки... Спроси у татарина... Офцант! Порцию эчпочмак... Не понимает, собственный язык забыл... А был я в Монголии... Там в ресторане за первое заплатил — принесли, поел. Спрашиваю у друга-монгола, лауреата премии имени Сухе-Батора, почему, спрашиваю, так? А он отвечает: у нас народ не понимает, если уж поел, зачем деньги платить. И местность для верблюдов приспособленная. Не то что у нас в Виннице. У нас в Виннице сначала отцветает черемуха, потом облетает яблоневый цвет, а уж в завершение цветет сирень. Когда цветет сирень, мне всегда петь хочется...

И тут же в ресторане громко: «Ой ты, Галя, Галя молодая, подманули Галю, забрали с собой».

И так жалостливо, тенором. А Иванов в ответ русским частушечным басом: «Распустила Дуня косы, и за нею все матросы, ой Дуня, Дуня я, Дуня ягодка моя».

Пели хоть и разное, но одновременно, и закончили вместе. Помолчали. Снова выпили.

— Был у меня в ранней молодости друг, — сказал Зацепа, — он ходил в церковь, говел, семь лет ел одну картошечку. Я, конечно, согласно диалектике, в Бога не верю. Но в природе есть все-таки что-то не соответствующее диалектике. Вот когда цветет сирень, то аромат иногда едва уловимый, а иногда сильно кружащий голову. И окраска гроздей бело-нежная, голубая, розовая, густо-лиловая... Вот тогда хочется сказать «Спасибо, Бог». А кого же еще благодарить? Природа и женщины — все это, Иванов, не выполнено, согласно плану, а сотворено... Знаешь, Иванов, какие женщины есть... У нас говорят, наш украинский министр иностранных дел, любитель иностранных тел... Хась-ь-ь. То есть тел иностранок... А я иностранок не люблю. Подойдет к нашему ребенку: мальчик — где ваш папа? Хась-ь-ь... Глупость, обрыдло. Наша женщина — это, Иванов, знаешь?.. Иду я с одной весьма интересной, и вдруг в людном месте, на проспекте Гагарина, у нее трусы упали... Резинка лопнула... Как бы иностранка поступила? Она бы, подобно Мырлин Монро, тут же на проспекте Гагарина целую пачку снотворных таблеток проглотила и умерла бы со стыда. А наша женщина не поступила, а переступила и дальше пошла.

Может, врет Зацепа, слишком фантазирует? А с другой стороны, что в этой ситуации фантастичного, если трусы не импортные, а ширпотребовские и на одной резинке держатся. Лопнула резинка, они и упали.

— Тут, слышу, какой-то сзади кричит: «Дэвушка, тырусы потыряла!»

Ой, врет Зацепа, перегибает. А может, и не врет? Кавказцев повсюду много, после добровольного присоединения Кавказа к России, кавказцев много, и все женщинам в зад смотрят.

— А что в этом плохого? — говорит Зацепа. — Иной раз и сам посмотришь кавказским взглядом, особенно когда яблоч-

ко под юбочкой. Посмотришь, и, согласно Фрейдю, догнать хочется... Ты только, Иванов, не приписывай мне сексуху и аморалку. Я без лирики любить не умею. А когда, Иванов, знаешь, даже у красавицы замечаешь грубые детали из области сантехники... Вот недавно одна загорелая, прекрасная, но когда повернулась, то на жо... на попе четко обозначился оттиск унитаза... Хась-ь-ь... Офцант, иди, дружок, сюда... В субтропиках... э... в субботниках участвуешь. Чем зеленей будут наши города, тем розовой будут наши щеки... Вот возьми, купишь себе рахат-лукум... Это я за двоих... А где же те? Они отдельно были.

Зацепа роется в карманах, вытаскивая отовсюду скомканые пачки денег.

— В пальто оставил, — говорит Зацепа, — память у меня перегруженная. Посидели мы хорошо, поболтали откровенно, и совсем как-то забылось, что дядя умер. Показалось, приеду, и он меня встретит в полной адмиральской. А он здесь, в багажном пакгаузе. В гробу.

Последние минуты, то ли от усталости, то ли от поворота темы, Иванов и Зацепа как-то размякли, водки пили мало и ели пищу не острую, масляную, ибо сыр «карпатский» нежен, сладковат, с чуть кисловатым привкусом.

— Скоро уж и поезд, — сказал Иванов и посмотрел на часы, — хорошо посидели. Вот с той красоткой, с которой старик шампанское пил. Вот пожить бы с ней хотя бы ночи две. Она на Зорю похожа. Из Алупки. Из Алушты. Зоря, Зоря, Зоря, Зоря... — и заело, захрипело. Проснулся через полминуты, опять: — Зоря, Зоря, Зоря, Зоря...

Пьяненький Иванов не замечает, что бубнит уж сам себе под нос, потому что Зацепы за столом нет. Он ушел в гардеробную. Вскоре, однако, Зацепа возвращается опять возбужденный.

— У меня как? — кричит Зацепа. — Со мной не попрыгаешь!.. Я сейчас гардеробщика ударил. Прихожу за пальто, а они мне рожи строят. Мне ведь гроб не выдадут... Пшшшш... Номерка от гардеробной не видел? Я мог его из кармана выложить, когда рылся...

Иванов и Зацепа начинают шарить среди тарелок, вилок, ножей, мятых салфеток.

— Что они мне голову крутят, — совсем накаляется до кипения Зацеп, — сейчас я из них тряпок нарежу, — и, повернувшись, быстро направляется в гардеробную.

Ресторан уж пуст, гасят свет, лишь две лампочки горят, в свете которых официанты убирают со столов грязную посуду.

— В Кисловодск бы мне надо, — бормочет Иванов, — подлечиться. Зимой легче с путевками... Приеду, напишу заявление: прошу разрешить отпуск по состоянию болезни.

Иванов делает какой-то неопределенный жест, скользя пальцами по скатерти, и что-то падает на пол, звякнув. Это номерок из гардеробной.

— Ах ты, — бормочет Иванов, — искал, искал, да не нашел. Надо бы отнести.

Иванов подбирает номерок и нетвердо, на полусогнутых движется в сторону гардероба. Он осторожно заглядывает в гардеробную и видит, что два пьяных гардеробщика бьют пьяного Зацепу. А точнее, уже убили его, потому что еще пять минут назад полный сочной скотской силы, мясной, кровяной Зацеп теперь выглядит детским резиновым надувным паяцем с красной ленточкой вокруг головы. Уж на что пьян был сам Иванов, а сообразил, что не то что вмешиваться, обнаруживать себя опасно. Осторожно, на цыпочках отошел Иванов от гардеробной, положил номерок на край стола, под мятую салфетку, и вышел из ресторана на морозный воздух, благо куртку свою ватную он в гардероб не сдал, чтоб сэкономить на чаевых, ловко свернул ее и спрятал под стол. А в рукав куртки была упрятана ушанка-треух.

Бил Зацепу и убил его гардеробщик покрепче, повыше и помоложе, с оловянными военными глазами, бывший работник МВД. Второй, постарше, помогал и шарил по карманам. Амбарным, чугунным замком старинной конструкции, полупудового веса, выбили глаз и перебили переносицу. Все произошло в пять минут, а может, и менее.

«Ну и что? — скажет добравшийся до этого места читатель из тех, которые развращены молодцеватой бульварной беллетристикой или мудрыми старческими трактатами. — Ну и убили, ну и амбарным замком. Какой за этим далее следует сюжетный поворот или какая выясняется идея?»

Сюжетных поворотов тут, конечно, может быть множество, и повод для размышлений подготовлен, поскольку потомок активистов-комбедовцев убит кулацким замком, наверно когда-то охранявшим нажитое добро. Убит воскресшим замком-подкулачником, попавшим в руки пьяного, разжалованного в гардеробщики чекиста.

Языческая и христианско-языческая литература любит одушевлять и мистифицировать неодушевленные предметы. Мы, однако, в этот раз пойдем противоположным путем, потому что наши одушевленные предметы настолько нечисты мыслью и сердцем, что, кроме как об ампутации души, кроме как о насильственном разъединении тела и души, думать не приходится, если мы не хотим придать их вульгарной жизни не моральную, а хотя бы художественную ценность. Но операция по разъединению души и тела — это уже не христианство, а буддизм, и тут главное не идея, а колорит. То есть не какую идею Зацепа пробуждает, а какую автотень он отбрасывает под лучами теперь уже не языческой, не карпатской, а буддистской луны над ним.

Надели гардеробщики на убитого Зацепа его пальто-бекешу, напялили шапку, приглушенно гикнув, подняли его, как багаж, вынесли темным коридорчиком, озираясь, перебежали с ним в темный, глухой промежуток по привокзальной площади, внесли на пустынную стройплощадку и положили буддистским камушком рядом с другими кирпичами, досками и прочими неодушевленными предметами.

Зря старались, напрасно надеялись. Найдут все, обнаружат следователи-криминалисты. Дядька-адмирал, так и не затребовавший по неоплаченной багажной квитанции, всю привокзальную милицию, не выходя из гроба, на ноги поставит. Найдут свидетеля-официанта из вокзального ресторана, найдут свидетеля Иванова из Брянска, найдут в мусорнике, среди грязных салфеток, номерок от гардеробной. Только шестьсот рублей на дядькин цинковый гроб не обнаружат. Пропил покойный племянничек гроб покойного дядюшки. Однако если не за похищение цинкового гроба в его денежном исчислении, то уж за убийство точно поведут стариков-гардеробщиков и посадят их в «Матросскую тишину». Есть в Москве улица с таким названием, и

на этой улице знаменитая тюрьма. Нет, не в Лефортово. В Лефортово от Семеновской 48-м трамваем. А это Сокольники. Места петровские, потешные, к застенкам привыкшие, еще со времен Преображенской Канцелярии, во дворе которой царь Петр собственноручно стрельцам головы рубил.

И зачастую в те места жены гардеробщиков и прочие их близкие родственники, станут знакомы им здесь трамвайные остановки, пока следствие будет идти и пока суд да приговор. Но не скоро еще все это произойдет. И только утром все начнется, когда темно-багровое, похожее на планету Марс, тяжелое, февральское солнце заменит легкую буддистскую луну. Только тогда пришедшие на стройку работники найдут неодоушвенного Зацепу. Еще час с небольшим тому был он здесь, на стройплощадке, живее всех живых, полнокровно, по-скотски господствовал над землей и небом, пинал ногой камни, блевал, и брызгал, и хохотал. И, даже упав от опьянения и избытка сил на землю, испытал легкий испуг, тут же над этим своим лежачим положением посмеялся и от предупреждения отмахнулся пьяной шуткой. А вот лежит кротко, где положили, и ждет терпеливо, пока поднимут. Лежит Зацепа, босяк-мещанин, ибо если для Горького, Арцыбашева или Верлена алкоголь и буйство были босяцкой формой протеста против тупого мещанского свинца, то ныне главным образом мещанский свинец бражничает и буйствует, а бродяжка-босячок если кое-где и сохранился, то живет тихонько, картошечкой и солью питается. Но, пока не вернулся еще Зацепа к босяцкому мещанству своему, пока не положен он в дубовый гроб стоимостью в двести рублей, пока не стал он мертвецом, а лежит предметом, от камней и древесины неотличимым и одинаково снежком припорошенным, пусть воздаст он убийцам своим добром за зло не по-христиански, а по-буддистски, не при жизни, а после жизни. Ибо сказано в буддистском каноне: «Кто воздаст добром за зло, тот блистает в этом мире, словно луна, которую сокрыло, а потом раскрыло облако».

А в отдел агитации и пропаганды ЦК Украины сынок Масляника будет назначен. Начнет Масляник расти, разбухать, научится сидеть в президиуме, положив руки на стол и сцепив пальцы меж собой борцовским «замком». Теперь его уж так

просто чугунным замком не убьешь, теперь уж охрана за ним по пятам. Глядишь, к концу века член Политбюро, в Москву переехал, на Кутузовский проспект, поскольку Украина — давняя житница руководящих кадров. Здесь их в большом количестве выращивают. Может, так и Масляника до высшей должности докуют — председателя комиссии по организации похорон.

Зацепа, тот книжки писал, а Масляник, говорят, читать любит. Не только Маркса, но и Энгельса, не только Ленина, но и Луначарского, Розу Люксембург, Георгия Валентиновича Плеханова, Льва Толстого, Бориса Пастернака. Говорят, и вовсе такие-растакие книжки у него на столе видели. Одни говорят, для сыских целей, а другие опровергают: нет, действительно интересуется.

Может, все к лучшему? Может, воскресшему кулацкому замку мы должны быть благодарны так же, как ножу убийцы во времена Бориса Годунова, прикончившего в Угличе царевича Дмитрия Ивановича, сына Ивана Грозного от пятой жены. Обнаруживал сынок жестокие наклонности, весь был в папашу, а то еще и похлеще. Конечно, Зацепа не царевич, но опыт последних десятилетий показывает: чтоб до Политбюро добраться, царевичем быть не обязательно. Правда, после убийства царевича Дмитрия один за другим пошли лжедмитрии. Однако, авось минет нас смутное время? Что поделаешь, мы идеалисты. Все надеемся, все верим, все ждем. Но, с другой стороны, как же без идеализма? Россия — не Голландия, где Бенедикт Спиноза создал свой теологический материализм. В России без идеализма жить тяжело, и о России без идеализма рассуждать невозможно. Чтоб это понять человеку постороннего происхождения, не обязательно отправляться в Мордовию, в Бурятию, в Караганду или Могилев. Посидите допьяна переодетым в ширпотреб Гарун аль-Рашидом в ресторане при Киевском вокзале Москвы, и, даже если в этот вечер никого не убьют, все равно вы с нами согласитесь.

Июль 1984 года
Западный Берлин

ФИЛОСОФСКИЙ КРЮЧОК В ГРЕЧНЕВОЙ КАШЕ

Басня в прозе

Говорят, мифологические сюжеты совершенно исчезли из нашей материалистической жизни. Это в принципе справедливо, но иногда для наглядности, что ли, бытовые жизненные факты сами по себе как-то складываются в басню. Ну, например, приемщица прачечной номер сорок семь банно-прачечного комбината во время обеденного перерыва пошла в столовую номер девять райтреста столовых и ресторанов перекусить. Что, казалось бы, может быть более далекого и от мифологии и от философий? Здесь от каждого слова таким реализмом веет, что прочти эту фразу какой-нибудь оголтелый мистик прошлого, хотя б дореволюционный писатель Мережковский, тут же его зубная боль бы и поразила. А между тем это и была завязка той самой басни, которую нам, погрязшим в будничной сутолоке, рассказывает сама жизнь. Тут надо, однако, оговориться — похитить огонь с неба гораздо труднее, чем это кажется на первый взгляд. Иными словами, ко всякому делу требуется предрасположение, и не случайно именно Тося, приемщица прачечной номер сорок семь, дала первородный толчок этой нерукотворной басне. Федор Достоевский, кстати, в свое время верно заметил: «Не люблю, когда при одном лишь общем образовании суются у нас разрешать специальности». Верно-то оно верно, однако добавим, лишь исходя из конкретного случая, что если направление ума предрасположено к размышлению, то приемка чужого грязного белья есть место вредное для работы такого человека, так же как работа в горячем цехе вредна для человека со слабым здоровьем, на психологию влияет. Но это задним уж числом стало понятно.

Теперь же вернемся к реалистическому факту, с которого начали — а именно: приемщица прачечной номер сорок семь Тося направилась в столовую номер девять райтреста столовых и ресторанов закусить. Взяла бульон с крутым яйцом, биточки с гречневой кашей и, разумеется, компот из сухофруктов. Но до компота дело не дошло, ибо все развернулось на биточках, вернее, на гарнире к этим биточкам. Положив вилкой в рот комок каши и собираясь его проглотить, Тося каким-то чудом не произвела этот роковой для себя глоток, а в последнюю секунду поперхнулась, прижала этот комок каши языком и разом ощутила во рту своем нечто враждебное, нечто полное острой ненависти к ее, Тосиной, жизни.

Кашлянув громко, Тося освободилась от опасности, и это нечто с металлическим стуком упало назад в тарелку. То было худшее из всего, что можно было придумать для пищевода в случае заглатывания. То есть рыболовный крючок с тремя остро отточенными кривыми зубьями и одновременно маленький, скользкий и коварный по форме. От такого крючка может спасти только немедленная операция, сделанная светилом хирургии, да и то при условии отсутствия безобразий и бюрократизма в работе «скорой помощи» (Тося знала из газет, что таковые в сфере медицинского обслуживания населения еще встречаются).

Кашель Тоси, хоть и был согласно обстоятельствам чрезвычайно громкий, не привлек к себе внимания обедающих и обслуживающего персонала, и теперь она сидела над тарелкой в одиночестве и совершенно ошеломленная, ибо, как известно, страху часто предшествует удивление, а удивляться было чему, даже если учесть отдельные безобразия в сфере общепита.

Вообще-то в первое мгновение Тосю вполне можно понять. Однако уже во второе она начала совершать ошибку за ошибкой. Разумеется, самое благоразумное, что можно было сделать в подобной ситуации, это завернуть рыболовный крючок в салфетку и, улучив момент, выбросить его куда-нибудь подальше в угол. Затем внимательно прощупать вилкой остаток гречневой каши, доесть ее, запить компотом и немедленно отправиться на свое рабочее место в приемный пункт прачечной номер сорок семь, вдыхая дорогой полной грудью свежий

морозный воздух. Был и другой вариант — потребовать жалобную книгу, после чего явиться на работу с опозданием на полчаса, взмокнувшей, с нервно дрожащими руками, с горлом, охрипшим как после приличного трамвайного скандала, но зато все это на явной реалистической основе и без «ужаса воображения». А ужас этот настолько застрял в скромном рядовом сознании приемщицы прачечной номер сорок семь, что принял совсем уж великие гамлетовские размеры. Поэтому Тося осторожно встала из-за стола, и хоть завернула очищенный от каши крючок в салфетку, но не выбросила его, а аккуратно положила в карманчик своей кофточки, после чего вышла в странной какой-то задумчивости.

Придя к себе в приемный пункт прачечной номер сорок семь, она вынула крючок и, внимательно оглядев его, сказала Глаше — напарнице.

— Вот чуть не проглотила... В гречневой каше был...

— Жалобную книгу взяла? — глянув мельком, сказала напарница, считая наволочки.

— Нет, — сказала Тося, — зачем?

— То есть как зачем? — считая пододеяльники, сказала Глаша.

— Странно как-то все, — сказала Тося, — случайно языком удержала... А иначе б увезли на «скорой помощи». Лежала бы сейчас, в эту минуту, на операционном столе... А я ведь физической боли не переношу... Мне про нее и подумать страшно...

— Так радоваться должна, — сказала Глаша, считая кальсоны. — Радоваться, что все обошлось...

— Где ж там обошлось, — разглядывая крючок, говорила Тося. — Если человек с момента своего появления не в состоянии найти смысл жизни... Почитала б ты, Глаша, стихи поэта Лермонтова или книги классиков, тогда бы поняла, что жизнь смысла не имеет.

— Выходила б ты замуж быстрее, — сказала Глаша, считая полотенца.

— Да при чем тут замужество, — сказала Тося. — Если человеческой личности вроде бы как не существует...

— Это как же? — удивилась Глаша. — Что это ты, рехнулась, что ли?..

— А так, — сказала Тося. — После смерти своей человек опять является, но как животное любое... Собака или лягушка. Вот глотнула бы я этот крючок, а «скорая помощь» бы вовремя не подоспела или оперировал бы меня неумелый хирург, практикант из студентов, и, может, через полгода я у нашей дворняжки родилась бы или у какой-нибудь подзаборной бродячей кошки...

— Да тьфу на тебя! — только и успела сказать Глаша, ибо в это мгновение в разговор вмешалось новое лицо.

Сунулось в окошко приемного пункта и говорит:

— Это, говорит, нехорошо, — это у вас, гражданка, не материалистическое мировоззрение...

— А вы, — говорит Глаша, — гражданин, не в свое дело мешайтесь, а лучше спорите пуговицы с кальсон, согласно правилам приема белья от населения.

— Ах так, — говорит, — так давайте жалобную книгу.

— За что же жалобную давать? — говорит Глаша. — Здесь прачечная, а не агитпункт...

— А зато, — говорит «лицо», — что к вам сюда помимо прочих клиентов незрелая молодежь белье носит... Наслушается вашей фразеологии и в свою очередь начнет сомневаться в существующей реальности...

Чувствует Глаша, что у «лица» в таких делах опыт, и потихоньку на попятный.

— Да вы поймите, гражданин, — говорит. — Вы ведь сути не знаете... Моя напарница если и неправильно выразилась, так исключительно под влиянием душевного волнения и страха. В столовой номер девять безобразия творятся... В котел с гречневой кашей рыболовные крючки бросают... Чудом не подавилась...

— Ах вот как, — говорит «лицо», и уши свои трет от возмущения, — если любая ерунда, какой-то там рыболовный крючок в гречневой каше подобное смятение в мировоззрении произвести может, что уж говорить о более серьезных испытаниях...

— Это верно, — говорит Глаша, понимая, что ее ход дал осечку, — это безусловно... Но в принципе, дайте уж я сама вам пуговицы с кальсон срежу...

— Нет, — говорит «лицо», — я, — говорит, — свою жизнь честно прожил и напрасны ваши надежды на возможность подкупа и на беспринципный компромисс с моей стороны... Вы сперва мне жалобную книгу дайте... А пуговицы от кальсон я уж сам как-нибудь срежу... Пальцами от кальсон пуговицы оторву вместе с мясом... А не осилю, так назад белье понесу, невзирая на мороз, на мой пенсионный возраст и на мою сердечную недостаточность.

Ситуация складывалась скандальная, а тут еще Тося масла в огонь подлила.

— Глаша, — говорит Тося, пребывая в гамлетовской задумчивости, — дай-ка ты ему жалобную книгу...

— Да ты что, — приблизившись, быстрым шепотом заговорила Глаша, — премии хочешь лишиться?.. Лишние деньги у тебя?

— Так ведь бессмысленно все, — с сострадальческим изломом бровей говорит Тося и задумчиво по-гамлетовски головой качает, — жизнь смысла не имеет... Как сказано у Лермонтова: упал поэт, невольник чести, — и прямо после этих слов Тося достает жалобную книгу приемного пункта прачечной номер сорок семь и протягивает ее «лицу».

Однако, несмотря на то, что этого-то он и добивался, факт предоставления жалобной книги без дальнейшего ее утаивания оскорбил его почему-то особенно.

— Во-первых, — говорит, — не упал поэт, а погиб поэт... Бережней надо относиться к культурному наследию... А во вторых, — говорит, — как же это жизнь смысла не имеет? А прогресс? А созидательный труд? А акты творчества?.. Ну ничего, — говорит, — я вам сейчас впаяю... Развели здесь духовные шатания, понимаешь...

И «впаял», но как-то странно от волнения и возмущения, должно быть. И вот в жалобной книге приемного пункта прачечной номер сорок семь рядом с жалобой на ошибочно накрахмаленное исподнее появились следующие строки, причем озаглавленные: «Система или отдельные перегибы. Вскрыть до конца существо можно лишь, проанализировав конкретно. Для того чтобы завуалировать типичное мелкобуржуазная идеология цепляется за всякого рода утопиче-

ские предположения...» Эти строки «лицо» написалo одним махом, но затем заскучало почему-то и, недовершив мысль, принялось отрывать пальцами пуговицы от кальсон, согласно правилам приема белья от населения. Однако и здесь не окончив дела, оно торопливо собрало белье назад в корзинку и так и не сдав его, вышло на улицу из приемного пункта номер сорок семь.

— Что это такое он написал? — перечитывая, встревоженно сказала Глаша. — Надо же было тебе связываться... Попадется на глаза начальству, целый квартал премию получать не будем.

— А какая разница, — продолжает Тося свой «гамлетизм» и, вынув рыболовный крючок из кармана, вновь его разглядывает. — Жизнь есть омут... И, судя по сегодняшнему со мной случаю в столовой, человечество рано или поздно вернется к идее Бога...

— Да что ты трепешься? — говорит Глаша, оглядываясь. — Хорошо хоть тот гражданин, который кальсоны с пуговицами приносил, не слышит... И действительно, ты черт знает под каким влиянием находишься...

Тося же посмотрела этак кротко на подругу и вздохнула:

— Ах, Глаша, ничего ты в событиях вселенной не понимаешь.

А события далее действительно приняли следующий полифонический характер, который Тося и Глаша уже со стороны наблюдали, то есть из окошка приемного пункта номер сорок семь.

День, кстати говоря, выдался замечательный. Хоть и морозный, но в меру, да и к тому же сухой, солнечный. Вполне естественно, что в такой день старушка Софья Павловна, причем старушка со стажем, преклонных лет, но крепкая еще и опрятная, собралась навестить внука своего, замечательного розовощекого младенца Климентия. «Дай, — думает, — навещу, а заодно и прогуляюсь». Но по дороге, зайдя в булочную купить гостинец, как-то рассеялась, что в ее годы объяснимо и позволительно, и, выйдя из булочной, пошла не туда, или, иными словами говоря — заблудилась. Ей бы надо мимо столовой номер девять, а она, наоборот, пошла мимо приемного пункта

номер сорок семь и далее поворотила в сторону веселой снежной горки, с которой съезжала детвора. Очевидно, вид счастливой, забавляющейся детворы инстинктивно привлек к себе добрую старушку. Но, постояв некоторое время и порадовавшись жизни, она все-таки опомнилась, что «мол, пора к внучку моему, Климушке». А куда идти не знает, хоть название улицы помнит и адрес помнит. Даже растерялась немного Софья Павловна и забеспокоилась. Но тут, по счастью, с горки съехал на лыжах Витя Морковкин, пятиклассник. Съехал и совсем рядом со старушечкой Софьей Павловной затормозил, даже ее немного снежком обдал.

— Ах ты, озорник, — засмеялась Софья Павловна и спрашивает: — А как мне, милоч, туды-то и туды-то пройти? — И в точности адрес называет.

Витя тотчас же все старушке объяснил, а для наглядности поднял лыжную палку, чтоб направление пути указать. И надо же такому явлению действительности случиться, а именно, «лицо» нам уже знакомое, выйдя из прачечной номер сорок семь в состоянии, правда, крайне возмущенном и полемическом, на эту самую лыжную палку почти что глазом напоролось, да так напоролось, что было на «скорой помощи» немедленно отправлено в больницу, где ему сделали успешную, великолепную по исполнению хирургическую операцию. Что же касается Тоси, наблюдавшей за всем этим из окна, то она еще несколько месяцев находилась на неверных мистических философских позициях.

И это невзирая на то, что ни разу более ей во время обеда не попадались ни в гречневой каше, ни в картофеле мятом с жиром, ни в макаронах по-флотски, ни в иных гарнирах к пище, а тем более в самой пище рыболовных крючков, битого стекла или других опасных для пищевода предметов.

Мораль

Собираясь осмыслить действительность в наш многосложный век всеобщей грамотности и усиления потока информации, помните, что жизнь не прощает ошибок разных степеней, качеств и направлений, условно говоря, при варианте «икс» она рано или поздно подбросит вам в гречневую кашу философско-рыболовный крючок, а при варианте «игрек» она обязательно нанесет вам справедливый удар лыжной палкой в глаз.

1969

Содержание

- 7** Чок-Чок
(Философско-эротический роман)

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

- 131** Куча
188 Муха у капли чая
239 Шампанское с желчью
278 На вокзале
294 Философский крючок в гречневой каше
(Басня в прозе)

В издательстве О·Г·И
готовятся к печати в серии |О·Г·И·ПРОЗА|

В. Аристов
Предсказания очевидца

Н. Горланова
Светлая проза

Л. Усыскин
Медицинская сестра Анжела

А. Левкин
Мозгва

А. Грабарь
Хорошее настроение

Литературно-художественное издание

Фридрих Наумович Горенштейн
Шампанское с желчью
Роман; повести и рассказы

Редактор серии В. Кукушкин
Ведущий редактор Т. Королева
Выпускающий редактор Е. Савина
Художник А. Ирбит



Объединенное гуманитарное издательство
103051, Москва, ул. Петровка, 26, стр. 8
Факс: (095) 924-5761, тел.: (095) 744-3170
e-mail: info@ogi.ru

Заказать книги ОГИ можно:
тел. (095) 744-3171, 215-0101, e-mail: info@ogi.ru, astpub@aha.ru

Оптовые продажи:
тел. (095) 744-3171, 215-0101, e-mail: info@ogi.ru, astpub@aha.ru

За пределами России наши книги можно купить:
www.esterum.com

Книга издана при техническом содействии ООО «Издательство АСТ»

Издательская группа АСТ
129085, Москва, Звездный бульвар, д. 21, 7 этаж
Отдел продаж: тел. (095) 215-0101, факс (095) 215-5110
e-mail: astpub@aha.ru
<http://www.ast.ru>

Подписано в печать 02.03.2004. Формат 84×108 1/32.
Гарнитура OfficinaSerif.
Объем 9,5 печ. л. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Тираж 5000 экз.
Заказ № 4282

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ООО «Типография ИПО профсоюзов Профиздат».
109044, Москва. Крутицкий вал, 18.



Фридрих Горенштейн (1932—2002) — русский писатель и сценарист, автор романов «Искушение», «Псалом», «Место», множества повестей и рассказов; по его сценариям поставлено пять фильмов, в том числе таких, как «Раба любви» и «Комедия ошибок».

В сборник «Шампанское с желчью» вошли затерянные в периодике рассказы и повести писателя, а также пронзительный и светлый роман о любви «Чок-Чок».

ISBN 5-94282-137-2



9 785942 821371